

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

1-2 (430)

2011

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Владимир Шапко. Бич. *Повесть* **3**

Янис Грантс. Череп. *Рассказ* **44**

Сергей Дигол. Когда она замолчала. *Рассказ* **53**

Алексей Колобродов. «Русская криминальная кухня» *и др. рассказы* **82**

ПОЭЗИЯ

Светлана Михеева. «Забор» *и др.* **35**

Ната Сучкова. Птенчик. **39**

Борис Херсонский. «Живый в помощи Вышнего...» *и др.* **66**

Марина Палей. Собрать собрата **70**

Рафаэль Шустерович. Легче воздуха **75**

Игорь Сорокин. Стихиянваря **99**

ДЕБЮТ

Александр Костарёв. «Если будет тоннель...» *и др. стихотворения* **102**

ПУТЕШЕСТВИЕ

Светлана Коф. В Иерусалиме секса нет **105**

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР

Б. Агеев. Геноцид в центре большого города **124**

КРИТИКА

Вадим Ярмолинец. Одесский узел Шкловского **163**

Александр Кузьменков. Награждение непричастных **178**

Алексей Колобродов. Чародеи и ученики. *О литературном свойстве Виктора Пелевина и Дмитрия Быкова, ананасной воде, ловцах сверхчеловеков и вострубивших дудках* **180**

КИНООБОЗРЕНИЕ

Иван Козлов. И видеть сны? Быть может! **189**

© «Волга», 2011

Владимир ШАПКО

БИЧ

Повесть

Луньков не спал. Час, наверное, уже. А может быть, и все два. Но стоило только подумать, что надо встать, – внутри всё охватывалось мелконькой дрожью. Как охватывается разом листва на деревце от внезапно налетевшего ветерка... Казалось ему, что он не лежит, уткнув лицо в холодную сальную обивку дивана, а – висит. Давно висит в некоем пространстве. Которое рассыпается и рассыпается у него в голове. И в котором время стоит, не движется, меркнет.

Он пошевелил языком, язык был как сухая вехотка. С жалобным тоненьким стоном начал поворачиваться. Диван, как неотъемлемая его часть, как нутро его, тут же взнялся весь и застенал еще жалобней, плаксивей. Набрякшие веки тряслись, боялись выронить глаза. Луньков слепо шарил внизу возле дивана графин. Запрокинувшись, пил тухловатую воду. Голова тряслась, зубы колотились о стекло, вода сливалась по подбородку на шею, на грудь. Словно разучившись, долго ставил графин на пол. Рука хваталась и хваталась. Откинулся, наконец, на спину, шамкая смоченным ртом, зализывая соленую губу. И снова – как висел. Вне времени, вне ярящихся на соседней стройке самосвалов и грузовиков, вне людских голосов оттуда же, вне жизни.

И, как почти каждое утро, заскрежетал в замке ключ. И в Лунькове вновь все затрепетало, затряслось. Он крепко вдавился, словно вжмурился в диван. И слушал только пыльные, вздрагивающие пружины его.

А Кошелев уже ходил по комнате, совался во все углы, распинывал бутылки. Будто упорно искал что-то на полу. Мелкое, давно утерянное, но не забытое им. Ругался.

– Эй, Заварзин! – грубо тряхнули Лунькова. – Заварзин! Охрана чертова! Вставай! Опять жрал всю ночь...А может, письма свои писал, а? Заварзин? Ха-ха-ха!

Луньков, колотясь с головы до пяток, еще скидывал ноги с дивана, поспешно садился, а прыгающий взгляд его уже выхватывал валяющийся на столе стакан с пролитой и подсохшей буро-чернильной лужей, резкое серебро килек, перемешанное на тарелке, и, как трубу, высокую темную бутылку из-под портвейна...Тетради на столе не было...

Расстегнувшимся болтливым рукавом рубахи Луньков вытирал со лба пот. Как прикрывался грязным этим обтрёпанным рукавом. А Кошелев все ржал:

– Что-о! Испугался! Сразу вскочил! А-а! Ха-ха-ха! Да ладно: шутю, шутю, как говорится... Сегодня же день расплаты. А, Заварзин? Шестнадцатое. Забыл?

– Мне бы умыться, Роман Авдеевич... Извините.

– Умойся, умойся. Обожду.

С гадливостью Кошелев поширкал грязной тряпкой засохшую винную лужу. Наки-

---

Владимир Шапко родился в 1938 году. Окончил Уфимское музыкальное училище. Печатался в журналах «Уральский следопыт», «День и Ночь», альмана-хе «Енисей». С 1997 года – постоянный автор «Волги» (повести и рассказы «Настоящая московская лимита», «Берегите запретную зонку», «Всё началось с собаки Джек», «Единые с летней природой, или Поле для одуванчиков», «Время стариков»). Живет и работает в Усть-Каменогорске.

нул на нее газету. Только после этого разложил свои бумаги. Протирая платком очки, смотрел на размывшийся в ведомости список фамилий, так же размыто слушал шум воды из коридора, наизнанку выворачивающегося там над раковиной в кашле Заварзина... «Ханурик! Сдохнет тут еще чего доброго...»

Полотенце было уже чернее сапога. Луньков посмотрел и вытер им только руки. Кинул в угол на мешок с театральным тряпьем. Стал искать пуговицу на обшлаге рубахи. Поверх очков Кошелев внимательно наблюдал. Пуговицы не было. Тогда Луньков застегнул две пуговицы на груди. Сел к столу. Кошелев с хохотком крутнул головой: ну алкаш! Пододвинул ведомость, ручку. Ручка сразу начала скакать в руке Лунькова.

– Эко тебя! – наморщился Кошелев. – Да погоди! Не расписывайся!.. На, глотни сперва...

Минут через пять, глотнув из плоской посудины Кошелева, которая, как валидол, всегда была при нем, особенно когда он приходил *за росписями*, Луньков уже шарил вялой рукой окурок в пустой консервной банке. Пьяно разглядывал фамилии в ведомости:

– Конуров...Шишин...Свирьков... Так, понятно. Новые души. Только что из реанимации. Я – Заварзин. Я по вашим корочкам гениальнейший машинист сцены. Со мной все ясно. А эти? Кем они бы могли быть в миру?.. Конуров... Конечно, народным. Народным артистом. С такой фамилией-то? Непременно. Да и аванс у него однако!.. Шишин... Трудно сказать. Что-нибудь такое: ши-ши-ши – по коридорам. Каждому – на ушко. Свирьков... Свирьков только гримером мог бы быть... Эдаким гримеришкой... Эдаким ма-ахоньким лысым пьяницей...

– Ну хватит! Расписывайся!

Но Луньков не торопился. Окурок попал в руку сигаретный, сильно замятый, задавленный. Луньков его принялся углубленно расправлять...

– Да на вот! На! – сунул пачку Кошелев.

– Вы же не курите! – деланно удивился Луньков. – А тут, смотрите-ка, опять «Стюардесса»! Чудеса-а...

Кошелев скрипнул зубами.

– Ну, вот что, сволота, будешь расписываться или не будешь?

Луньков сразу потух, взял ручку. Следя за протрезвевшим его, злым лицом, за уверенной, злой ручкой, Кошелев подумал: кончать надо с ним, много знает, гад, слишком много...

Выхватил ведомость.

– Вот так-то!.. А это гонорарчик вам, товарищ Заварзин! Ровно четыре рублика.

Кошелев комкал рублевки и – по одной, жеваными – кидал на стол. Одну, вторую, третью, четвертую. За каждую душу отдельно. Три плюс вы, товарищ Заварзин. Четыре мертвых души. У нас как в аптеке!

Луньков не смотрел на него.

У порога Кошелев «вспомнил»:

– Да-а, а как с корочками быть?.. Ну-ка верни, уважаемый, корочки-то... Всё забываю...

Луньков сразу вскочил, умоляюще шагнул к Кошелеву:

– Ну зачем вы так! Роман Авдеевич! – Как женщина ломал руки: – Я же... и не пошутил даже. Нет! Так просто сказал. Так! Мне ведь в Щекотихе без них – нельзя. Вы же знаете. А там дрова опять пришли. Опять работа. Да и здесь. Ведь сторожу. Ничего не пропало. И не пропадет, не пропадет! Поверьте!.. Не надо, Роман Авдеевич. Прошу вас... Не надо...

– Смотри... – глянул понизу Кошелев – как перерезал Лунькова. – Знай, с кем шутишь... З-заварзин!..

Хлопнула дверь. Замерев, Луньков слушал бухающую поступь с крыльца. Сердце выпукло возникало за грудиной и пряталось. Выталкивалось и снова пропадало.

***

В белесом куцем плащишке и тирольке он появился на крыльце впритык *к одиннадцати.* Пока шарился длинным ключом в мешковине двери, морщась смотрел в небо на сеющий дождик. Затем перевел взгляд на мертвый остов театра, где из черных оконных провалов выкрутился когда-то страшной силы пожар... К театру недавно кинули разудалый забор, за забором сновали люди, дергался, стряхивая песок, самосвал, с разбортованного грузовика скидывали длинные свежие белые доски, высоко подносил бадейки с раствором кран, и всё видящей, всё запоминающей хозяйкой пыжилась возле бытовки сторожиха... А во дворе, где стоял Луньков, сто пы сизой фанеры давно размокли и както фордыбачились. Валялось везде содранное с крыш театра обгорелое кровельное железо. Высокий навал из уцелевших оконных рам и дверей опасно разъехался. И все это мокло сейчас, продолжало гнить, ржаветь. И было непонятно, для чего оно сохраняется здесь... Забор тоже был старый – осклизлый, унылый.

Луньков поднимал-поддергивал вороток плаща, сутулился, пробираясь к калитке.

– Эй, сосед! Погоди-ка!

К забору торопилась сторожиха. Запыхавшаяся, с чайником.

Поздоровалась, попросила набрать водички. У нас-то трубы уже пообдирали. Набери, сделай милость.

Луньков сходил, набрал. Когда протягивал полный чайник, качнуло от забора так, что чуть не опрокинулся, оступившись прямо в лужу. Отряхивал брюки, плащ. Избегал глаз сторожихи. А та не уходила, разглядывала его.

– Что-то я тебя не припомню, парень. Ты из какого отряда?

– Я не от вашей... системы... По совместительству...

– А-а... Ну-ну... Уж в случае с водичкой-то, к тебе теперь я...

– Пожалуйста.

Под цепким взглядом женщины Луньков старался лужи обходить деликатно как-то, порядочно, что ли. Однако словно бы тащил за собой только меркнущее дыхание своих слов: не от вашей я системы, по совместительству...

Тихо прикрыл за собой калитку. Зачем я с ней откровенно так?.. Уныло пошел. Все потухло.

***

Через час сидел у стола, свесив с него вялую руку. Смотрел в окно за забор, где все так же дергался с задранным кузовом самосвал, где все той же, всевидящей кубышкой напыживалась сторожиха... Крепко зажмуриваясь, пил из стакана. Слепым ртом ловил словно бы подвешенную кем-то кильку. Жевал, морщился, икал, удерживал лезущее назад вино, наливаясь кровью и тут же бледнея. Отирал слезы... Высокими изломанными буквами надергивал в тетради высокие изломанные слова:

...и жизнь моя теперешняя, Люба, – это сплошная ирреальность. Бред, морок. Глухая черная повязка на приговоренном, за которой уже – только сжавшийся на острие иглы весь мир... Прости, прости мне эту пошлую метафору, но она все время теперь во мне. Ползает, давит, душит. Прости...

Раскинувшись, он полулежал на диване, точно сломанный в груди. Зрачки его были пусто расширены. Иногда суживались. Он смотрел на портвейные три бутылки на столе. На фоне короткого сжатого заката высокие черные эти бутылки с коротенькими горлышками стали казаться ему трубами. Гигантскими газовыми трубами. Он качнул себя к столу. Упершись в столешницу руками, дико разглядывал бутылки. Во внезапном, сумасшедшем прозрении прошептал: «Гигантские легальные винокурни...» «А?!» – обернувшись, громко спросил у кого-то. Его мотнуло от стола и с маху кинуло назад, на

диван, затылком в стену. С перекосившимся от боли лицом он медленно сползал, сдирая со стены известку. Так же медленно полз по спинке дивана. Словно не отпускал боль. Словно забирался с ней в себя. Как в конуру. Легонько постанывал. Кувыркнулся на бок, охватив голову. Затих.

***

– Эй, Заварзин! – трясли, опять дергали Лунькова на другое утро. – Заварзин! Мать твоя чекушка! Давно одиннадцать! Пора!.. Да Заварзин!..

Луньков быстро сел. Кошелев-младший бегал. У окна стояла женщина. Курила. Длинная и тощая. Равнодушная ко всему. Отрешенно смотрела вдаль. Как индеец через века.

«Скальп чертов!» – бухая сердцем, торопливо застегивался Луньков. Гришка Кошелев бегал, ширкался ладошками. «Времечко, времечко, Заварзин! Поторопись!» Приобнял, повел, насадил на Лунькова шляпку, вытолкнул на крыльцо. Луньков судорожно искал рукой рукав пиджака. Рука попадала в рукав плаща. Скинул все на крыльцо. В шляпке, с незаправленной фалдой рубахи по колено. Нелепый, дикий. Тяжело дышал... Сзади резко высунулся Гришка. Уже в майке, волосатенький. «Вечером – чтоб дома! Как штык! Понял? Будешь нужен!» И захлопнулся, скрежетнув ключом. «Гад! » – плюнул в отчаянии Луньков.

Часа через два он в неуверенности топтался на крыльце, не решаясь сунуть ключ в замок. Сжимались в ненависти зубы. Мутно, как из лужи, всплывала и всплывала недавняя картина: длинно лежащая Скальп с бесконечно длинной голой ногой на спинке дивана и закинувшаяся, самозабвенно храпящая башка Гришки, прикрытая синюшной грудью Скальпа как шляпой...

Луньков сбежал с крыльца, заметался по дворику. «Мерзавцы! Похотливые мерзавцы!.. Господи, куда-а?» Решительно направился к окну. Грубо застучал в стекло. Упрямо ждал. В комнате не шевелились. «Сейчас я вас, сейчас!» Забежал и заколотился с ключом в замке. Распахнул дверь...

Сразу ослаб. Качался в дверях, хватаясь за косяки. Войдя, стаскивал плащ. Не мог кинуть его ни на свой диван, ни на диван возле окна. Бросил на мешки с театральным тряпьем. Присел, наконец, к столу, вытирая со лба пот.

Глаза непонимающе натыкались на три мятые синюшные конфетные обертки на середине стола. И лицо Лунькова начало вытягиваться: «Так это в перерывах, значит. В трех перерывах. Скальп съедала по одной конфете...» Он сглотнул. И затрясся в полусумасшедшем, тихоньком смехе. И захохотал. И дергался, захлебывался, давился в хохоте. «В перерывах! Ха-ха-ха! Сорванные розы любви! Брошенные на стол! Синюшные розы Скальпа! Ха-ах-хах-хах!..»

...Вот, Люба я все пишу тебе эти письма, над которыми потешаются Кошелевы. Письма к тебе – к бывшей моей жене. Единственному даже сейчас родному для меня человеку. Да, да! Прости... Я не сумасшедший, я знаю, что ни одно из них я не вложу в конверт, не надпишу на нем адрес. Но сидит во мне, Люба, вера (а может, уже мания?), что однажды, когда-нибудь я напишу тебе, наконец, одно, е д и н с т в е н н о е письмо – и оно все перевернет в моей жизни. Прости за высокие слова – подвигнет к чему-то. Очень важному для меня, единственному, может быть. И отступить тогда назад будет уже нельзя. Только вперед тогда, только вперед. Понимаешь? Может, все это чушь, бред, что так все будет, но я верю, верю. Кроме этой надежды – ничего у меня нет...

Луньков встал, подошел к окну. Смотрел на спящее в мо роси предвечернее небо, на мокнущий по дворику разброс.

...Вот смотрю я сейчас в окно. Опять сочит дождь. Вроде бы на дворе промозгло, хо-

лодно, а под водосточной трубой, на краю бочки, полной воды, вовсю купается, разносит брызги пухленький воробей. И, знаешь, представляется мне, что глядят на него сейчас с крыши другие воробьи, тужатся от холода и чирикают меж собой: ну не дурак ли этот воробей? В такую погоду!.. А он и знать не желает, что промозгло, сыро, что осень давно висит кругом, ему – дожди еще теплые... И поддает водой, и разносит!.. Ну не молодчага ли воробей?..

Невольно Луньков обернулся. Словно поделиться радостью с кем-нибудь... Сразу погас. Медленно вернулся к пустоте. Собирал на столе всё: тетрадь, ручку, два обгрызанных карандаша, обрывки газет, исписанные им. Запрятывал все в мешки с театральным тряпьем.

***

Он вскользнул как-то в комнату. Новый персонаж. Шофер Роберт. Словно за ним гнались, искали. Постоял, вслушиваясь. Остро кадыкастый, как голодный. Будто просто на стул, накинул на Лунькова спецовку. Прошел, открыл дверь в коридор. Опять замер, высоко задрав руку к выключателю...

Луньков торопливо вдевался в спецовку, с удивлением следил, как Роберт рыскал по коридору и зачем-то часто-часто и как-то вверх дергал стеклянные ручки на дверях закрытых гримерных. То ли открыть пытался, то ли испытывал, крепко ли они прибиты. Пустил для чего-то сильную струю из крана в раковину. Закрыл. Нырнул в дальнюю комнату. Слева. Открытую. Где навалены были старые декорации. И быстро-быстро полез там по ним, треща и проваливаясь, к единственному в комнате, почти под потолком, окошку.

Вернулся, наконец, обратно в комнату, сшибая пыль с брюк и пиджака. И вновь вдруг замер, голодно вслушиваясь. То ли к себе, то ли к чему-то внешнему, за стенами... Наконец, словно отбросив решение недавшейся задачки на потом, как-то злопамятно, радостно просветлел: погоди же-е! И пошел к двери, на ходу скороговоркой лая будто только для себя одного «пошли-пошли-пошли!» и выдергивая из заднего кармана ключи от машины как оружие. И все это – точно в пустой комнате, точно и нет никакого Лунькова в ней. «Артист! » – метнулся за ним Луньков.

Подперев свет, как хиленький душ, в кабине грузовика застывши сидел Кошелев-старший. Словно терпеливо смывал перед дорогой давно намыленное, неотвязчивое... Луньков усмехнулся: «Понятно. Встреча в верхах предстоит. – Прикрывал калитку, закладывал вертушок. – Встреча на высшем уровне. Потому сегодня – сам!»

Грузовик летел по широкому оврагу вниз к огонькам Нижегородки. Будто с фонариками, по холмам скакали домишки. Справа, слева.

Но внизу, на месте, в окнах дома на бугре было темно. Из кабины вглядывались. Неожиданно взнялась зарница, и привязанной стрекозой затрепетала над крышей антенна. Грузовик подал вперед и, круто разворачиваясь, полез к дому задом, кидая Лунькова от одного борта к другому. Немые сразу пошли раскрываться ворота.

В глубине двора, под переноской в низком гараже, забитом мешками и ящиками, угрюмо ждал хозяин. Свет вылоснил только лысину, лица – не было; толстые руки закруглены – как для драки.

Так же угрюмо пошел к нему Кошелев. Обнялись, как ударились. Сильно хлопали друг друга по спинам. От ударов икали. Роберт рыскал по гаражу...

Оврагом наверх машина тащилась с натужным высоким воем. Для передышки хватала другие скорости, взревывала, снова натужно выла. Отделяясь от горячего зудения мотора, из кабины вылетали обрывки слов, возгласы, смех. «Довольны. По-

шабашили. Кто кого только на этот раз надул?» Лунькова болтало на тугих мешках с цементом. За шиворот к потной спине уже лез озноб. Луньков садился, охватывался руками. Покачивался – как думы свои покачивал...

...Люба, он имя его всегда выговаривает так: «Робэрт»...А «Робэрт» его: «Афдéч! Афдéч!» Понимай: Авдеич. Как сглатывает в нетерпении. Голодный, обжигаясь... «Афдеч! Афдеч! У меня теща не каблúрована. В Песчанке. Каблúруй! Афдеч! Пять сотен и сверху!..» Или:«Афдеч! Афдеч! Люстры у Фрола! С висюльками!» И рванули на грузовике к Фролову на базу. Завхоз и шофер погорелого театра. Два друга. Не разлей вода. Даже два «свояка» теперь. Ты понимаешь, о чем я?.. Понимаешь – «свояка»?

Луньков стал подхохатывать.

...И «свояками» я их сделал, я. Я жене Кошелева Роберта подсунул. Невольно, конечно, но я, Люба, прости... Но не для тебя это, не для тебя... Но невозможно же вспоминать об этом!

Луньков хохотал, охватывал голову руками. Как плакал, рыдал.

Удивленно из кабины постучали. К решетчатому окошку сунулся Роберт: ты чего, ты чего, Заварзин?.. Увидев вытянутое лицо с раскрытым ртом, Луньков совсем зашелся смехом, катаясь по мешкам.

Но быстро прошло в нем всё. Иссякло. Вернулся озноб. Луньков нахохлился, зажался. Смотрел, как обмирали тонущие вдали огоньки Нижегородки. Воспоминание, от которого так смешно было минуту назад, уже смятое, словно выпотрошенное, теперь только болталось с грузовиком, саднило. Отчаяние зашло в Лунькова, и одного только хотелось: закрыть глаза, зажать уши и не вспоминать, не думать...

***

Полтора месяца назад, в начале августа, Кошелев впервые повез Лунькова к себе на дачу. «В сад», как он сказал. Нужно было выкорчевать два пня, оставшихся от спиленных недавно берез.

Ехали загородным автобусом. Потом шли лесом. Кошелев пыхтел, отирал пот, крепко поминая сына Гришку, который под каким-то предлогом отбрыкался и не повез на дачу. Луньков задирал голову, видел перелетающих птиц, запинался о корневища деревьев, отовсюду наползших на песчаную дорогу. Замерев от восторга, следил за стукотливым дятлом... Снова торопился за Кошелевым. Лицо Лунькова раскраснелось, глаза тихо радовались.

Но когда за лесом вышли на поле в овсах, озираясь по бескрайней, знойной его тоске, безысходности, – сжало горло Лунькову каким-то предчувствием. Словно знал уже, что будет у него впереди. Шел. Мучаясь, смотрел за поле. На взгор. Где к высокому звонкому сосняку, как к храму, уже полз, басурманином множился дачный поселок.

Кошелева дача влезла прямо в сосны. Был это обыкновенный с виду дом – одноэтажный, небольшой. (Правда, непонятно было: деревянный он или кирпичный?) Какая-то приземистая крыша, две трубы из кирпича, побелённые, подкоптившиеся по бокам... Внизу – штакетниковая невысокая городьба... Но, глядя на широкие окна в самодовольном покойном тюле, Луньков сразу подумал, что внутри наверняка и вместительно, и просторно... и богато.

– Генриетта, вот это тот самый Заварзин, – с удовольствием подчеркнув два «т» в имени жены, сказал Кошелев. Как коня, похлопал Лунькова по горбу.

За штакетником на низкой скамеечке стояло железное корыто, полное воды и огурцов. Над ним колыхалась крупная женщина с задирающимся сзади платьем.

– Ага, – только и сказала она, мельком взглянув на Лунькова. И снова стала сгребать и раскидывать. Гонялись, страстно сталкиваясь в корыте, крутые волны. По загорелой до черноты сильной руке ёрзала слетевшая с плеча резко белая лямка лифа.

– Моет... для засолки... – довольно смотрел на мощные, высоко загорелые, молодые ляжки жены Кошелев.

Ввел, наконец, Лунькова во дворик.

Обогнули дом, шли вдоль длинной веранды, туго заполненной солнцем. Остановились перед высоким сараем. Через открытую половину широкой двери в темноватом прохладном провале угадывался у стен «товар», прикрытый брезентом. «И гараж, и склад», – подумал Луньков.

Кошелев сам выбрал, вынес две лопаты. Штыковую воткнул перед Луньковым в мягкую траву, совковую – вручил. Вынес топор. Но подумал и приставил его к сараю. Выволок и бросил лом.

Сада, как такового, почти не было. Был больше огород. С тремя теплицами, где как лес стояли помидорные кусты с краснеющими плодами. Со смородиной и малиной вдоль штакетника, с широко разбросанной зеленью грядок, где ерошилась морковь, закоренелыми лысыми пьяницами валялись огурцы, черепно высох мак, желтел, вылинивал укроп. И опрятный вишневый кусток с горстками взвешенных налитых ягод – стоял восклицательным знаком всему.

Неподалеку от будки летнего душа с высоко взнесенным ржавым баком вышли, наконец, к двум пням, выкорчевать которые доверили Лунькову.

День был высокий, синий, ветреный. Гуляли, бегали, как освободившиеся аэростатики, чадливенькие облачка... Откинувшись руками на прохладную горку земли, под корни пня вытянув ноги, по пояс раздетый, белый, блаженно щурился Луньков вверх, на солнце, которое, словно легкие, беловато-сизые одежды, подхватывало на себя охвостья туч. Подхватывало и отпускало... Поводя носом и закрывая глаза, Луньков ловил запахи, прилетающие от спелого сосняка за домом...

Вдруг почувствовал, что на него смотрит женщина. Жена Кошелева. Сразу схватил лопату. «Очень интересно она цепляет прищепки на бельё – глядит на меня, а прищепки словно сами собой взлетают и цепляются на веревку... Генриетта... Хм... Это уже закономерность какая-то у Кошелева. *Робэрт... Генриет-та...* Интересно: на сколько лет она моложе Кошелева? На двадцать? На двадцать пять?»

Под взглядом женщины Луньков казался себе сильным, мускулистым, ловким. Он поддевал ломом, резко дергал пень вверх. Тот не поддавался. А женщина стояла – и он еще дергал. Еще. Распрямлялся. Как атлет, вдыхал побольше воздуха и выдыхал медленно, тряся руками. Освобождая мускулатуру. Снова накидывался. Теперь уже с лопатой. Подрывал и подрывал. Однако пни сидели крепко. Тогда, как только женщина с тазом ушла, стал потихоньку подрубать корни. Лопатой. Не выкапывать, как указал Кошелев, а подсекать, рубить. И к обеду выворотил, наконец, один из пней. И только через час – другой.

Курил, сидя на краю ямы. Смотрел на закинувшиеся мохнатые пни. Судя по мощным корневищам, по толщине этих пней, спиленные березы были большими, зрелыми. Но не на тот огород попали они... Вернее, сам огород влез сюда. И свел их.

Пришел Кошелев. На пни тоже уставился. После обеда расположенный. Ковырял в зубах спичкой. Сплюнул. Лунькова похвалил. Ямы... (сплюнул) ...велел закопать. Уходя сказал:

– Ты это, Заварзин... Мы уже пообедали. Как закончишь, зайди в дом. Генриетта там. Покормит тебя. На веранде, я ей сказал. А я к соседу схожу... Ополоснись, если хочешь. Вон, в душе. Правда, вода, наверно, холодная.

Вода обожгла. Но чуть погодя Луньков уже задирал лицо и с наслаждением слеп под мягко режущими струйками.

Кто-то зашел в будку. Луньков подумал, что Кошелев. Но спросил: «Кто там?» С намыленной головой и лицом. Сзади молчали. Луньков торопливо стал смывать мыло.

Обернулся... Бесстыже, отчаянно к нему выкатывались глаза женщины! Генриетты! Большая грудь в сарафанных цветочках тяжело вздымалась, напяленный накладной рыжий парик съехал – рогато торчал! Луньков быстро прикрыл пах, отвернулся, зажался. Щелкнула задвижка на двери. «Что вы делаете!» – «Тихо ты! Молчи!» Схватила за руку. Прислушалась. Точно приглашая и его, Лунькова, в заговор, в игру. И неуклюже, грузно повалилась на решетку внизу, дернув Лунькова на себя.

Из мокрого большого елозящего тела Луньков панически вырывался. Как вырываются из трясины. Закидывая голову и чуть ли не вопя.

Его сбросили: «Урод! »

Один, он валялся на деревянной решетке. По вытаращенным глазам хлестала вода, промывая их до дикости вареных яиц...

Он вскочил, бросился к скамейке с одеждой. Быстро стал одеваться. Выглянул... Короткими перебежками, как заяц, перебегал к даче, не зная, с какой стороны обогнуть ее, чтобы юркнуть к калитке. На веранде никого не было.

Вдруг увидел Генриетту. В сарае. Торопливо, зло, она сдергивала с себя сырой сарафан. Вверх! Обнажив незагоревшие, как воздух, ягодицы!.. Луньков зажмурился, кинулся вдоль дома, упал на траву, вскочил, сиганул мимо калитки через штакетник.

Он скользил вдоль дач. Дачи подбоченивались. Дачи скалились мансардным стеклом. Он отворачивался к соснам. И стволы рябили. Обхватывая голову, Луньков торопился дальше. С ходу налетел на ведро воды возле крупного старика в пижаме, отдыхающего на тропе. Старика обдало по ногам водой. Луньков подхватил-поставил ведро. Быстро улыбнулся старику. Уходя. И старик потрясал вслед кулачищами и хлопался ртом как калошей: «А-бар-мо-от!..»

Через три дня Кошелев сказал:

– Съездишь, Заварзин, завтра на дачу. Генриетте поможешь. Новую полку ей там надо поставить... В погребе...

Луньков вздрогнул: да что это она! Да ей же в морге только работать! Вслух поспешно проговорил:

– Невозможно, Роман Авдеевич – фобия!

– Чего это еще?

– Боязнь замкнутого пространства... У меня... Могу заметаться там... В погребе... Банки побью...

Кошелев с подозрением смотрел: шутка, что ли? Брезгливо скривился:

– Э-э, интеллигент... «Фобия»... Как орден какой. Тьфу!

Озаботился. Недовольный, хмурый.

– Робэрта, что ли послать?

– Вот, вот! Роберт в самый раз!..

Кошелев опять с подозрением прищурился.

– ...И полки сделает, и ни одной банки не разобьет, – поспешно успокоил его Луньков, мечась взглядом. Боялся только одного – не засмеяться, не захохотать ему в рожу...

А тогда, после дачи, уже в сторожке, боясь до конца осознать все то гадкое, непереносимое, что сотворили с ним на даче, сидел Луньков у стола словно с одним только засаженным в него окриком – «А-абармо-от!» Набегали и набегали в красные глаза легкие слезы алкоголика. Луньков пригибал голову к плечу, отирался рукавом рубахи. Снова застывал. С высокими – как у слепого – глазами...

...Есть люди, Люба, одинокие люди, которые вечерами, когда едят какую-нибудь жалкую свою еду – сырок ли, кефир ли там какой, булочку с чаем – то они словно винятся перед кем-то за то, что едят...Они ведь одни, Люба, одни! Никто их не видит!.. И вот

– винятся. Поверь, жалкое, тяжелое это зрелище... И я созна́юсь тебе, Люба: к таким людям теперь принадлежу и я, Игорь Луньков. Твой муж, твой бывший муж... Они виноваты уже в том, что живут! Люба! Они заедают чужой век!.. Ох, прости, Люба, меня, прости. Тяжело мне сегодня, прости...

***

...Машина шла уже в городе. Улетали назад сутулые фонари. Высоко зависали ройные остывающие многоэтажки. Луньков болтался на мешках, подтягивал коленки к груди, зажимал руками дрожь. Из кабины все вылетала голодная скороговорка Роберта, самодовольно, баском, похохатывал Кошелев.

Чтобы как-то забыть унижение, заглушить непроходящую боль, Луньков зло бормотал: «Да-а, дядя, не повезло тебе с твоей Генриеттой. Все ты рассчитал в своей жизни. Все продумал, наперед вычислил. А вот с женой – промашка вышла. Хотя и с именем подходящим для тебя – *Генриет-та!..* То в летний душ ее неодолимо тянет, то – уже в погреб!.. Ты, наверное, дядя, сам над погребом-то стоял? Спрашивал: как у вас там дела? Робэрт? Может, подать чего?.. Гордись, дядя, женой, гордись! »

Протащившись с очередным мешком по коридору до костюмерной, свернув в раскрытую дверь, Луньков с облегчением сбрасывал мешок на пол. Взрывалась пыль... Луньков выпадал обратно в коридор, покачиваясь, шел, смахивал пот. Но с крыльца торопился, а к калитке уже бежал. Крючкастой сильной лапой, – за ухо – выдергивал Роберт очередной мешок на край кузова. Брезгливо накидывал его на Лунькова, отряхивая ладонь о ладонь. И Луньков, пригнувшись, как таракан, семенил ногами к крыльцу, вскарабкивался на него, за освещенной комнатой пропадал в коридоре.

Двое у машины ждали: Кошелев угрюмо, сунув руки в карманы плаща, Роберт – озираясь по проулку, нервно похохатывая:

– А, Афдеч?.. Ха-ха!.. Никого? Да? Афдеч? Ха-ха! – Будто еще напряжение в Кошелева нагнетал. Дополнительно. Нарочно.

И дождался:

– Таскай!

– Так Афдеч! Спецовки нет!

– Мешок возьми. На голову!.. Учить тебя? Живо!

Чертыхаясь, шофер побежал в театр за мешком. А Кошелев словно выдохнул, наконец, все скопившееся. Недовольно уже, даже требовательно смотрел в сторону клуба на углу. Откуда должны были вот-вот повалить зрители. После фильма. Не сидят, понимаешь, дома. Черт бы их задрал!

Дверь костюмерной закрывал сам. Подергал стеклянную ручку. Проверяюще. Как Роберт.

Десятки Роберту выпускал на ходу. Двумя пальцами. Как визитки. Роберт хватал, мгновенно совал в карман. Еще хотел, еще. Чтоб так же! так же! Афдеч!.. Кошелев приостановился: «Меру знай!»

Для Лунькова рубль валялся на столе. Жевком. «Такса, Заварзин! Твоя!»

***

Пригнувшись с тяжелыми сырыми кругляками, по гулким мосткам с баржи поторапливались, бежали люди. На берегу скидывали дрова. В накинутых на головы мешках, как монахи, неприкаянные, вековечные, шли к барже. По одному ступали на другие, жиденькие, сходни, и дождь, постегивая их, осторожно заводил на высокий борт – и они пропадали где-то внутри баржи.

В первой же носке Луньков второпях сбил себе бок. После мостков, беря с дровами

на подъем, он припадал на ногу, старался как-то ужимать бок, защищать...

– Что кряхтишь, Заварзин?

Рядом вверх лез Кукушкин. Кривоногий, приземистый, сильный. Весь – будто из железа.

– ...Скажи спасибо, что не береза. Когда березовый кругляк пойдет – не так закряхтим.

Но уходя с Луньковым к воде, удивленно воскликнул:

– Да ты, парень, бок ссадил! Ну-ка, дай сюда! – Он стал выдергивать из петли заплечника у Лунькова палку. Луньков послушно дергался. – Интеллигенция... Это палка, по твоему? (Отшвырнутая палка запрыгала по гольцу.) На вот мою. Да брезентухой оберни.

– А ты?

– А у меня еще есть. – Кукушкин хитро подмигнул: – Вон – на судне...

На «судне», нагруженный кругляками до неба, Кукушкин кричал:

– Мужики! Вот бы на туристов-то! Такие рюкзачки! А? Со всего Союза согнать, каждому на горб – и айда. Да в гору! Да бего-о-ом! – И он сбегал по мосткам. И так же шустро мельтеша ножками – бежал «в гору». Возле складывающих дрова женщин в изнеможении падал. Артель ржала: «Ну, Кукушкин! Ну, балалайка!»

Луньков сидел на сухом подтоварном настиле, в столб упершись спиной. Над рекой опять ходили, черно копились тучи, но вода шла тихо, вымытая до стеклянной глади предыдущим дождем, и только осторожно ласкала тупорылую баржу с круто выпущенной из ноздри толстой якорной цепью. Луньков курил, смотрел. Думал о своем, нерадостном.

Застыл на пятках Кукушкин. Остриженный, круглоголовый. Проникшись тихим настроением Лунькова, старался из бутылки запускать в себя без глохтов, тихо. Вроде бы вполне серьезно – жаловался: «Ну, выпил в тот раз. Ну как? – заусило. Да сильно. Побежал в гастроном. Просыпаюсь – отрезви-и-итель. (Он широко повел рукой с бутылкой. Словно очертил ею весь мир.) И я в нем, значит. Да прямо посередине. Посреди раскиданных алкашей лежу... Вот так, Заварзин, бывает. И не алкаш, ни-ни, честный – и хватают... – Он отхлебнул. – Что скажешь, Заварзин? – И, видя, что Луньков уже дергается, мотает у колен головой, в поддержку ему, в одобрение очень частенько смеялся: – Хахахахахахахахаха!.. А то еще! Еще было! Заварзин! А, Заварзин? Хахахахахахахахахахахаха!»

Луньков уже гнулся, давился смехом. Но Кукушкину мало: «А это когда судили меня, судили! Слышь, слышь, Заварзин! В 72-ом! Обвинитель. Еврей. Рыжий. Распахивает так на меня рукой. Перед судом. И с сокрушением так говорит: «Ну какая у него жизнь? Каждый день пёт, пёт. Домой приходит – пяный... Жену бёт, бёт и бёт... А с утра опять пяный!..» А, Заварзин? Хахахахахахахахаха!»

И оба они заходились в хохоте. А глянув друг на друга, сваливались с настила на песок и начинали уползать по нему, дрыгая ногами.

И сквозь слезы, смех, хохот этот дикий казалось им, что всё-то они друг про друга знают и давно знали. Что судьбы их одинаковы и неразличимы как жабы. Что квакают они им, а потом глотают, и всё до конца заглотить не могут. И смешно было от этого – непереносимо.

Потом им закричали с баржи, и они шли к воде. Отряхивали с себя песок, прятали друг от друга глаза.

Словно тоже отобедав, упал дождь. И выплясывал лихо русского на высоких черных горбах уже бегущих по мосткам людей...

***

В притемненном уюте ночной комнаты, у настольной лампы возле окна готовил уроки мальчишка лет девяти. Он каждый вечер так для учебы располагался. Прилежный, старательный.

Луньков смотрел на него через проулок, и снова у него пощипывало глаза... Растроганный, открыл калитку.

Однако в темноте сторожки – вздрогнул. С забившимся сердцем протыкался на цыпочках к двери в коридор и приложился ухом. Как из-под земли сквозняк вытянул в щель невнятный, но сразу узнанный голос Кошелева. Потом забубнил Гришка. Сын его... Луньков опустился на стул.

Нужно было к крану с водой. Освежиться, смыть пот, постирать майку, рубашку. Решился пойти минут через десять.

В коридоре невольно остановился у полуоткрытой двери в одну из гримерных.

В тесной комнатенке, высоко и сильно освещенной большой лампой, у распахнутых трехстворчатых зеркал, пригнув головы, сидели Кошелевы. Отец и сын. Тихо, монотонно, точно псалмы, отец считывал цифры, беря их через очки из клеенчатой тетрадки, что раскрыто лежала на столе. Сын же не очень умело цифры эти в калькулятор – вдавливал. Осваивал, получалось, новую оргтехнику... С висящей гроздью ключей на тумбочке у стены стоял небольшой сейф...

Вздрогнули оба. Разом. И... словно размножились мгновенно в зеркалах. Десятки там стало Кошелевых. Казалось, сотни! В анфас, в профиль! в очках, без очков! с раскрытыми ртами! в испуге привставших! в испуге откинувшихся!..

– Чего тебе?! – выкрикнул Гришка.

– Ничего... Извините. Добрый вечер.

Луньков пошел дальше, к крану. А в комнатенке, как пыль в перепуге – взнялось всё: «Х-ха! А? «Добрый вечер»! А? Сколько я тебе говорил! А? Отец? Не боишься?» – «Честный...Интеллигент...» – подрагивал баском, приходил в себя Кошелев-старший. «Ну-ну. Смотри. Я тебя давно предупреждаю: не место тут всему. Не место!» – «Не каркай!»

...Люба, как всё же могут быть похожи, до отвращения похожи близкие, но некрасивые люди. Отец и сын... Оба в щеках, как лепёхах. Бровастые, низколобые. Бобрики у обоих – как скребки. А по уму, Люба!.. Один, как говорится, «мы академиев не кончали!». Другой – вышел уже на интеллект троллейбусного парня, дорвавшегося-таки до микрофона: «В салоне работают две касс-с-сы! Дружненько раскошелимся, дружненько! Не стесняемся! Не смущаемся! Па-апрошу!..» Гос-по-ди-и!..

Моясь, Луньков лез головой под кран, глушил все холодом.

***

Прикрывшись углом дома от уличного фонаря, неслышным вором ходила по комнате и вязала черные мешки темень. Луньков лежал на диване, руками охватив затылок, и глаза его, точно взвешенные в темноте, опять мучились, не могли уйти из этой комнаты, не могли ничего забыть...

Кошелев-старший заявился тогда поздним вечером. Совсем не ожидаемый Луньковым. Заявился пьяным. Его точно втолкнули в сторожку и захлопнули дверь. Не замечая вскочившего Лунькова, он покачивался. Положение свое обдумывал. Сопел. Без шляпы, с исцарапанной щекой, в мокром распахнутом плаще, под которым были только майка и пижамные штаны... В тапочках... Начал ловить рукой и выдернул из кармана плаща бутылку. Уже с дивана, мотнув ею, приказал: «Открыть!» Налитые полстакана водки заглотил враз. Долго осваивал ее в себе. Потом сразу как-то внутренне оживился и забормотал: «Ах ты, стерва! Вот так стерва! Ну молоде-ец!..»

Чтобы не молчать, чтобы снять как-то неудобство свое перед пьяным, Луньков спро-

сил, что же все-таки случилось.

– А тебе зачем? – вскинулся Кошелев. – Твое какое дело?! – И прищурился: – Смеешься?..

– Да ведь я... я хотел...

– Смотри-и!.. Ты на себя глаза разуй!

И брезгливо морщился, глядя на склоненную голову Лунькова, на его белеющее темя. Сквозь зачесанные реденькие черные волоски... Будто просто сплюнул:

– Червь книжный белый!..

И сидел со сцепленными на животе пальцами. И все возвращал обиженно взгляд к Лунькову. Как к тле какой-то. Которую бы и размазать, да руку лень отцепить.

Начал похохатывать. Как-то издалека:

– Ты посмотри – в чьё ты одет. Брюки – мои, пиджак задрипанный – Гришкин, кеды – и те Генкины. Генриетты. С да-а-ачи, ха-ха-ха! Шляпчонку вон бывшую мою еще надень, интеллигент! Хах-хах-хах!

От смеха он прямо заходился, наливаясь кровью.

Луньков метался взглядом. Вскочил, схватил бутылку, трясущейся рукой наплескал в стакан, выпил, снова сел.

– Во! Во! – тыкал в него пальцем Кошелев. И с разъехавшихся мокрых губ его студенисто вызуживалось: – Алыка-аш! – И снова разевал пасть и, хохоча, зажмуривался: – Ха! Ха! Ха!

Оборвал все резко. Будто и не смеялся. Сидел, угрюмо варил свое. С низкой стрижкой – обрезанный как кувшин. Выкинул руку со стаканом: «Налить!» Выпил. И от выпитого – снова словно вышагнул из себя мрачного. Откинулся на диван перед Луньковым, свесив руку с пустым стаканом со спинки:

– Вот смотрю я на тебя, Заварзин, – ну какой ты бич? Ты в стае должен быть, в вашей стае, а ты – один. А?. . Насолил ты, видно, чем-то своим, ох, насоли-ил... Откололся. Сбежал...Отщепенец ты, Заварзин. Этот... как его? диссидент... Бутылки ты не собираешь – брезгуешь, десятики возле гастрономов не клянчишь – гордый, а на работу – так хоть среди ночи разбуди. Какой же ты бич, Заварзин?.. Хотя ты-то и есть натуральный *бывший интеллигентный человек* – бич. Но не бич, нет – не бич... Думаешь, случайно я тебя в Щекотихе приметил? Любого мог взять из кодлы тамошней, а взял – тебя. Мне Гришка: смотри, отец, смотри-и... А я ему: червонец оброню – не тронет. Как пёс слюной изойдет – не тронет. Честный. А? Заварзин? Верно я говорю? Н-ну!..

В отчаянии Луньков ждал, когда Кошелев опьянеет, когда упадет. Но тот и не думал падать. Потребовал закуску. Кильки с тарелки запускал в разверстую пасть горстками. Закидываясь. Жрал прямо с головами. Отбросил пустую тарелку. Отирал пальцы об обивку дивана. Опять пил. И вновь словно только трезвел от водки:

– Хочешь, я расскажу про тебя? Про тебя – тебе, Заварзин?.. Ну, первое дело – жена скурвилась... Точно! Н-ну!.. Ей бы в морду да из дому вон – так ты сам на край земли бежишь... А дальше просто: хлебнул воли, по горло хлебнул, назад? – а ходу-то и нету. – Кошелев прищурился: – Где паспорт пропил, Заварзин? Расскажи. Поделись. Н-ну!

– Я же вам говорил. Украли...

– Э-э! Мели знай! Водка тебя сгубила. Водка. Вот эта самая... Вот я – уважаю ее. Часто уважаю. И на ногах. В уме. А почему? А потому – корень у меня другой, Заварзин. Корень. Корень хозяина, крепыша. И всегда так будет: есть дубы, и есть всякий сор вокруг них, который на дрова стригут. Понял?.. У тебя жрать – нечего, а журнальчики вон, полный угол – покупаешь. Два института, поди, кончил... И посмотри теперь: кто – ты, а кто – я! Н-ну!..

Луньков сидел, лицо его пылало, в глаза набегали слезы.

Вдруг голова Кошелева опустилась, шумно засопела – и рот разъехался жабой... И

с тоской уже думал Луньков, что придется спать с дремучим этим человеком в одной комнате, что завтра нужно будет идти звонить, потом ехать к нему домой за одеждой, говорить, видеть его Генриетту...что протрезвившись, не простит Кошелев ему, что предстал перед ним, Луньковым, в таком свинском виде...Что сравнялся словно бы с ним в падении...

Голова Кошелева вдруг вскинулась, он поводил бессмысленно глазами, просипел: «Гришку...» – и снова как разъехался книзу.

Луньков пошел звонить. Потом потихоньку ходил на крыльце, не решаясь вернуться в комнату. О висящую над проулком тарелку с лампочкой убивался и убивался мотылек... Прилежный мальчишка в окне через дорогу готовил еще уроки...

Гришка приехал на своих «Жигулях». Кругом обошел машину. Кинулся, потряс задок. Только после этого пошел к крыльцу.

Увидев отца – в замявшемся плаще, в тапочках, с пучком царапин по щеке... беспомощно полулежащего, точно придавленного животом, – Гришка в сердцах воскликнул:

– Ну, отец, драть тебя некому!.. Когда ты ее погонишь?

– Но-но! – сразу очнулся Кошелев. Посопел. Пообещал зло: – Вот запишу всё на нее, попрыгаете тогда... Н-ну!

– Да не пугай – пуганые... Ну-ка, Заварзин!..

Они подхватили под руки сразу одубевшую тушу. Потащили.

Возле машины Кошелев вдруг перестал качаться. Трезво, въедливо прищурился опять:

– Так чем ты насолил бичам своим, а? Заварзин? – И замотал указательным пальцем: – Кошелева захотел провести? Шаль-ли-ишь! – Но снова как оступился в пьяный газ: – Смотри!.. Будь верным! И я подумаю насчет тебя. Я все могу! Знай!.. Верным будь!.. – Полез в машину: – Вези, Гришка!

Уже на ходу опустил стекло. Стал развевать по проулку за собой песню:

Э ды на побывку ы-еде-ет мол-лодой мор-ряк!

Гришка сразу затормозил. Придавив певца, зло закрутил стекло назад. Дальше поехал. С немым удивлением певец поворачивался к водителю. Скрылись за углом.

В ту ночь Луньков долго не мог уснуть. Ворочался, перекидывался на бок, вновь замирал на спине, таращась в темень... Потом, как не раз бывало с ним, в полусне ли, в полуяви словно лежал-задыхался под бесконечной, красно сплывающей над ним речкой, не в силах ни вынырнуть из нее, ни закричать...

И вышел в темноту степи далекий костер. И Лунькова сразу повели к нему, крепко держа за руки. И вставала против красного разгара высоко полынь, и раскачивалась она с землей, и ломалась, будто падала на колени. И неузнаваемые, словно из других веков, из многодавних тысячелетий, кинув руки к земле – шли в закинувшийся этот разгар костра, стаптывая хрусткую сухую полынь, бичи.

На освещенной поляне перед костром Лунькову заломили руки, за волосы вывернули голову: смотри! Тут же, будто прямо из ревущего костра выполз по пояс голый Борода и стал совать к огню отобранный у Лунькова паспорт. Всё ближе, ближе подносил, выкрикивая: «Что, Луньков, хотел, чтоб справедливо? Хотел, чтоб братство было? Вот тебе «братство!» Вот тебе «справедливо!» Размахивал уже схватившейся огнем картонкой: – «Горишь, Луньков! Гори-ишь! Нет больше Лунькова! Не-ет!»

Мотыльком полетел в костер догорающий паспорт Лунькова. И сразу же Борода стал выметать из костра много белого жару. Длинной палкой. (Луньков завырывался, его сильно ударили.) Выкидываемые угли притихали, но тут же зло оживлялись, сбиваемые палкой в кучу. Обезображенное, оплавленное лицо бывшего пожарника было

сосредоточенно.

И был истошный крик:

– Крести-и-и-и-ить!

Лунькова ударили под колени, сломали к земле. Тащили к углям, выламывали руки, пинали, сдирали штаны...

– Сажай его, гада-а-а-а! – визжал Борода. – Крести-и-и-и-и!..

– Не-е-е-ет! – закричал Луньков и выметнулся из сторожки не помня как.

Ветер гонял по двору дождь. За забором на столбе болталась лампа под колпаком... Луньков хватал и хватал ртом налетающую мокрядь.

Утром, измученный, тащился он к проспекту и все складывал спасительные для себя строчки:

...Сегодня ночью я опять вспомнил старое, кошмарное, жуткое. Но о нем я никогда не смогу тебе написать. Такое нельзя рассказывать нормальному человеку. Женщине. Любимой. Такое слушают только равнодушные. В судах, в психиатричках. Любимым это – нельзя... Но как могут растоптать человека! Люба! За то... за то, что он еще человек... за то... что он... Ох, прости, Люба, прости, что не о том я сегодня. И слезы вот уже опять рядом. И выпить бы. И пиво вон из гастронома несут... Но хватит, хватит. Попил. Хватит. Только к работе теперь, Люба, только к работе. В Щекотиху. К баржам...

Луньков заторопился к отходящему автобусу. Влип в переполненное его нутро.

***

Уже неделю Луньков работал в Щекотихе. Не пил. Утром, как по будильнику, вскакивал, быстро умывался. Сходя с крыльца, видел, что с пустым чайником торопится сторожиха, слышал ее паническое «сосед! сосед!», сам бежал к забору, выхватывал чайник, набирал ей воды. Перекинувшись несколькими словами, спешил к калитке. И дальше проулком к автобусам.

Баржи с дровами шли и шли. К каждой по утрам толкалось немало новых людей, но бригадир, пробираясь в толпе к сходням, всегда сам говорил Лунькову: «Ты – в бригаде». И это радовало Лунькова. Как радовало и то, что дровам, работе нет конца.

Мускульная упорная работа алкоголь из организма выгнала. Луньков уже не задыхался, не обливался десятью потами – подсох, окреп, бежал с дровами по мосткам с упругостью стальной пружинки. Кукушкин еле поспевал за ним. Не мог отдышаться, скидывая дрова у штабелей. «Ну, ты даешь, Игорёк!» Луньков смеялся. А ты, Ваня, не пей!..»

В обед Кукушкин опять тарахтел, что тебе коробок со спичками. На жизнь свою смотрел, как только что проснувшийся и высунувшийся из-за деревянной решетки кроватки младенец. «...Просыпаюсь – а они уже на разложенном диване. Играют. Мне быстро бутылку кинули, заглотил, просыпаюсь – Машка одна. Улыбается... Присни-илось... А? Заварзин? – И он смеялся. Как всегда торопливенько. Словно уже летя с горящей крыши. Полыхайчиком: – Хахахахахахахахаха!.. А это еще, дальше, Заварзин! Ночью... Иду – он стоит. Машкин хахаль! Я ему р-раз! Он стоит. Только мотнулся. Что такое? Я ему раз! раз! Опять стоит! Оказывается – в дупель пьяный...А-амба-ал...Тут – мне – Машка – бутылку – кинула: просыпа-аюсь – на полу я уже. На цементном: с нар слетел. Камера! При-исни-илось... А? – И опять летящим полыхайчиком: – Хахахахахахахахаха!

Луньков лежал на подтоварнике, на настиле, смеялся вместе с Кукушкиным. Но постепенно голосок того куда-то сдвинулся, тарахтел словно бы в стороне, и Луньков, охватив затылок, уже мечтательно щурился на обессиленную после дождя простоквашу неба.

...Люба, какое счастье вновь обрести себя. Ощутить всего себя. Ощутить каждый мускул, мышцу. Чувствовать всю крепость, свежесть своего тела... Ведь я забыл уже, что

мне только тридцать... И все это – работа. Работа в радость, в очищение...

Как никогда, он верил в эти дни, что скоро все изменится у него, круто повернется. Даже приходя после Щекотихи вечерами в сторожку, приходя всегда усталым, голодным, разворачивая бумагу с какой-нибудь едой: жареной камбалой ли там, ливером ли каким, хлебом, – он брезгливо смахивал на пол... опять эти синюшные конфетные обертки. И... жаловался жене. Жаловался уже как человек, который вот пришел домой, пришел после тяжелой работы, а тут...опять эти бумажки!.. И почти ежедневно кидаются они на его стол! До каких пор? Будет ли покой рабочему человеку?

...Люба, поверишь? Ведь у него двое детей. Дво-е. Девочка-школьница, а мальчик ходит в детский сад. Молодая жена. Молодая!.. И – эта Скальп. Этот индеец в юбке... Как понять таких людей? Что это – любовь? Скотство?.. Ведь работают вместе. Он – прорабишка, она – бухгалтер. Замужем. Тоже, наверное, дети есть. И как вот это всё... совмещается?.. Да-а, людишки... Или еще один экземпляр. Роберт... Тоже – совершенно непонятен. Впервые встречаю человека, у которого теща, понимаешь? теща! не сходит с языка. Не жена – теща! «Афдеч, тещу каблируй! Афдеч – мешок гречки для тещи! Афдеч – теще тёсу! Теще – цветной!» И вот телевизор теще цветной везет, тёс и гречку. И «каблировщика» в придачу... Да что там за теща такая! Что за любовь такая к теще? Где у него жена? Жена? Есть ли она?.. И еще: «Ох и ручечки, ох и ручечки, Заварзин!» И мечется, дергает стеклянные эти ручки на дверях гримерных... И ведь дня не проходит! Как это понимать? Ненормальный?.. «Ох и ручечки, Заварзин, ох и ручечки!» Да оторви ты их, раз жизни без них нет!.. Прости, Люба, раздражен я сегодня. Тут приходишь с работы – а тебе... опять «розы любви» на столе... Да еще синюшные! Прости!..

После ужина Луньков выходил на крыльцо. Окинув себя плащиком, садился на ступеньку. Доставал сигареты... Задувало в сизом холоде одиноко тлеющие сентябрьские звездочки. В ночном окне через проулок из притемненного уюта комнаты к прилежному мальчишке склонялась женщина в прохладном ласковом халате. Тенью к сыну присаживалась. Свет лампы, замерев в высоких, взбитых ко сну волосах, освещал чистое лицо матери... Сын быстро охватывал мать руками. Всю-всю!.. И снова старательно продолжал выводить в тетрадке...

***

В то утро привычно уже Луньков спешил к остановке. Кисеи дождя умывали кучерявые, как русские праздники, наличники деревянных домов. Сплывала чистая вода с промытых до щербатин тротуаров. Кипело всё на дороге.

Сами собой складывались строчки писем к жене:

...У нас еще теплые дожди, Люба. Словно очищающие землю. Врачующие ее. Даже грязи вокруг как-то не замечаешь. Только теплый дождь и теплая парная осень по деревьям и земле... Удивительная осень в этом городе, удивительная...

Сойдя с автобуса на конечной, пошел по вымытому булыжнику под уклон, к тонущей в дожде реке. Слева, прямо от дороги, лезла по горе деревянная промокшая Щекотиха.

С неба сильно прибавило – дождь ударил с длинным косым промельком. Шумок поднялся в ржавеньких яблоневых садах. А Луньков шел, мок, улыбался.

Возле раскрытых железных ворот в товарный двор нахохливался под дождем Кукушкин. В явно с чужого плеча великом пиджаке, в сатиновых, послевоенных, наверное, еще шароварках, как в давно спустивших гондолках; драповая тяжелая кепка самовыразилась каким-то... хоботом... Увидел Лунькова, заспешил навстречу. Не поздоровавшись даже, быстро повел его, ничего не понимающего, от товарного обратно.

– Слушай, Игорь! Не ходи туда. Облава. Милиция. Дружинники. Без документов – налево, как говорится. Конец квартала – недобрали...

Торопливо шли.

– Но как же так? – бормотал Луньков. – Ведь я ему платил. Ведь семь рублей из десятки... Ведь он обещал!

– Кто? Бригадир-то? Он наобещает. Он с вас, бедолаг, шерстку-то и стрижет... Да и участковый в деле...

Остановились. Ждали чего-то, горбясь под дождем. Кукушкин, словно боясь обидеть, осторожно стал «объяснять»:

– Все дело в паспорте, Игорь. В паспорте. И тут уж – никуда. Я вот и пропойца – а паспорт, прописка. Да и здесь, на товарном, в штате. Грузчик...Так что, ноги в руки – и айда, Игорёк. Мой совет...

К Лунькову подступили слезы.

– Спасибо, Ваня, спасибо. – Неожиданно для себя сказал: – Век... век не забуду! – И от этих не своих слов заплакал.

– Ну что ты, Игорёк. Не надо. Зачем? Подожмет – приходи. Скоро хозяева со всей Щекотихи хлынут – знай дровишки развози! И никаких ведомостей. А потом – пилить, колоть... А? Приходи!

– Спасибо, спасибо тебе, – все бормотал, всхлипывал Луньков.

Кукушкин смотрел на уходящего к щекотихинской горе Лунькова. Потом зачем-то снял тяжелую мокрую нелепую свою кепку. Непонимающе разглядывал ее... Как убитую птицу, перекинул через забор.

Стриженый, круглоголовый, избиваемый дождем, пошел назад, к раскрытым воротам.

Луньков не совсем отчетливо помнил, как вернулся в город... как почему-то опять очутился на той же остановке, от которой полчаса назад поехал в Щекотиху... Дождь прошел. К канализационной решетке, скручиваясь в жгуты, летела грязная вода. В тихие лужи на тротуаре втыкались одиночные капли.

Подошел автобус. Машинально Луньков двинулся к нему. Но у раскрытой двери стал. Потирал лоб, словно не мог вспомнить что-то...

Лунькова отшиб в сторону толстый мужчина с красной папкой, неуклюже, бегемотом, полез в дверь.

Луньков пошел прочь. Посмеивался, хитро поглядывал на встречных сумасшедшенькими глазами.

...Люба, – он влез. Он с красной папкой. Понимаешь? Он успел. А твой поезд, Заварзин, ушел. Давно ушел. А наш поезд летит! Мы в поезде!.. А? И везде пресловутый поезд... А надо ли? Люба? Поезд-то, может, давно под откос летит... Но несутся, колготят, радуются. С трибунами, графинами, бумагами. Орут песню: мы в поезде! наш паровоз, вперед лети!..

Мы же все флюгерки! Люба! Искренние, трепетненькие флюгерки! Только бы дунуло откуда чуть – и подхватились радостно в пустопорожнем ветерке: мы все летим! В коммуне остановка!.. Вторичны мы. За нас всё решают. Мы ждем только. Головками вертим. Улавливаем дуновеньица. Ветерки. Чтобы преданненько затрепетать...

А сколько на земле работы, просто дел, а не пустопорожней этой трепотни. Вон, в Щекотихе... И там нельзя, оказывается, мне. Зато все: «В поезд! В поезд!» – вытаращив глаза...«Уйдет! Ухо-о-о-одит!» Эх, Люба...

Через два часа он сидел на небольшой театральной площади, на скамейке, перед странной архитектуры зданием. Полупровалившемуся к тому же в овраг. Здание имело название: «Институт культуры». Стилизованные светильники были при нем – как пажи при пьяной голове Шекспира в шляпе... Луньков замороженно смотрел...

...И не то страшно, Люба, что в жизни моей теперешней начнут копаться чужие равнодушные люди. Копаться, как в грязном белье. Что полетят запросы на бывшую работу, в паспортный стол, к тебе... Начнутся всякие очные ставки, опознания... Заполыхает ти-

хонькое злорадство сослуживцев, знакомых. («А вы слышали: Луньков-то – вот это да-а...») Обрадуется твой чертов Михалев... (Да что мне до них! И стыда у меня перед ними нет. Как их в моей жизни и не было.) И не страшно, Люба, что – посадят. Просто посадят в конце концов. (Не зря же время милиционеры потратят, возясь со мной?) Страшен стыд твой за меня. За мужа такого...Стыд перед собой, перед сослуживцами, соседями... Перед гадом Михалевым... Вот это для меня страшнее смерти...

Девица в больших прозрачных очках шариковой ручкой «посадила» Лунькова в планчик зрительного зала крестиком. Потом медленно стала надписывать ему билет на сеанс. Рядом с девицей отложена была сиреневая книга. Луньков, постукивая пальцами возле коробочки в кассу, прочел буквы вверх ногами: «Ж. П. Сартр. Слова».

Уже подавал билет на входе... и повернул назад, быстро вернулся к кассе. Заглядывая словно бы за стекло, пытался что-то понять в планчике на столе перед девицей. И уже понимал, уже открывал в нем неожиданную, проступившую закономерность – ни один крестик не соприкасался с другим. Каждый был отдельно. Каждый в крохотном, но отдельном пространстве. Раскиданы были они. Все раскиданы. Как на карточке спортлото!..

Девица оторвалась от книги, и глаза ее, сильно увеличенные линзами очков, как-то очень бережно стали покачиваться за стеклами. Как в физиологическом прозрачном растворе... Луньков быстро улыбнулся ей. Отошел.

«Так-так-так, – бормотал, лихорадочно соображая. – Значит, чем больше теперь в кучу, тем дальше друг от друга. Даже в кинотеатре!.. »

Как и ожидал, – человек двадцать мужчин и женщин были раскиданы по всему залу. Как фигуры шахматные по демонстрационной доске. И над ними свет промелькивал – словно руки. Словно руки шахматиста, спрятавшегося в будке!.. Луньков вертел головой, не мог успокоиться...

***

Лишь к вечеру Луньков брел своей улицей к сторожке. Окна домов, так радовавшие его утром, уже не казались праздничными – облезшая зеленая и белая краска на резьбе окон высохла, шершавилась, стекла зачернели, стали тайными. Да и деревья вдоль дороги без дождя поблекли, висели тряпками.

...«Да он же ленту на магнитофон поставить не умеет! Магнитофонную ленту! Включить магнитофон не знает где! Как!..» Дескать – недотепа. Что с него взять?.. Это ты, Люба, – обо мне. Гостям... А те в хохот: ну не козел ли этот Луньков! И где только произрастал?

Ну конечно, когда твой Михалев, взгромоздясь, наконец, на индивидуальный стульчак в баре, стал смаковать с в о й к а л ь в а д о с... то сразу, с верхотуры-то, и зрить стал шире, и вникать глыбже... Он обрел свободу. Полную. Внутричерепномозговую! Как на Западе... Ну просто же всё, граждане, единоличный каждому унитаз в баре, да чтобы повыше он был, под потолком, свой кальвадос – и свобода. Вот так, Луньков!.. Или: четверо молодцов насилуют, избивают гитары на эстраде, а тысяча у ног их – как одуревший планктон... А? Свобода же, братцы! Раскованность полная! Па́да-ба́да-ти́ба-да́да-та-а!.. А ты, Луньков, козел. Не дорос до нас. Пада-бада! А наш ударный магнитофонный экс-гибиционизм? Луньков? Тиба-дада! Бывало, выставишься в окне с магнитофоном – и вся округа от тебя балдеет! Таба-дада! Слабо тебе?.. Козе-ол...

Эх, Люба, ущербно это всё, жалко. Ведь убери от такого «меломана», что называется, объект, людей убери (скажем, отправят вдруг всех на картошку...весь город!), и тут же вырубит свой магнитофон. Тут же вырубится!.. Голову можно на отсечение дать! В полном смущении утихнет... У него же слуха на музыку нет. Вот в чем его беда. Подлинного

слуха. Извращено всё... Но зато: пада-бада-тиба-дада-та-а! Да круглые сутки чтоб!

Ну а я?.. Куда уж мне. Вырос я (как ты считала и не раз подчеркивала) «в полнейшей ни-ще-те». И мать у меня была – матерью-одиночкой. И родила меня в свои сорок два года («Ужас!»). И так называемого отца я в глаза не видел. И на магнитофонах я не играл – не было у меня их просто, как и телевизоров. Всё верно. Но не нужны они нам были. Понимаешь? Не нужны. Мы читали. Книги. И тем счастливы были... А вся ваша барабанная маскультурка тарабанькалась мимо нас. Для нас ее просто не было. Не существовало...

Признаюсь, Люба, тебе еще в одном своем «тяжком» грехе: долгое время я избегал смотреть телевизор («Ну и козел, Луньков. Вот козе-ол...»).

В классе восьмом еще я как-то возвращался поздно вечером домой из школы. Тоже осень была. И вот вошел уже в свой двор – и остановился как вкопанный: весь двухэтажный развеселый коммунальный дом наш – как замер: из всех окон вверх закинулись сизые отсветы. Из всех, до единого... «Ты будешь говорить?! Отвечай?!» – вдруг проорали все окна разом. И опять только сизое из них, как из поддувал...

Я ближе подошел – увидел всю семью Кононовых. За окном, в первом этаже...Они как затонули в этом мертвом свете. Затонули как в денатурате. Неподвижно, нереально, навечно. И сам Кононов, и жена его, и бабка, и трое кононят впереди на стульчиках... И тут меня, что называется, «пронзило»: да ведь сейчас, в эту самую минуту, в эту самую секунду, тысячи, сотни тысяч, миллионы Кононовых и кононят... по деревням, селам, по городам, по всему Союзу, вот так же сидят и мерцают в этом денатурате, заполнившем комнаты... В одно время, в одну минуту, в секунду! Понимаешь?.. И мне стало страшно... И я избегал этой мертвечины. Долго избегал. Не признаваясь себе – боялся. Как боятся некоторые люди – с детства боятся – попов, церкви, нереальной атрибутики внутри нее, всяких там обрядов, отпеваний, служб... Понимаешь, боялся, что она, мертвечина эта, проникнет в меня. Напитает, отравит. Сделает вот таким же мерцающим болваном...

Надо представить только это, Люба... Суррогат, стереотипы, конформизм – на небывалом потоке. На сверхконвейере. Представить только надо...

Конечно, скажешь: чокнутый, шизмен. Но сейчас, во время родной нашей, всемирной нашей бомбы, каждый ходит, наверное, по краю своего безумия. Каждый ждет, нутром ждет – эту висящую над ним, готовую вот в следующий миг сорваться, всемирную, последнюю свою секунду... Вот таковы, так сказать, этюды обыденной нашей жизни... Но трясется, пляшет, воет ваша маскультурка. А заодно «спасается», на перепуганного Бога, как на заложника, насадив хипповый, весь в бубенцах, пиджак... Грустно это всё, Люба...

***

У калитки стоял грузовик. Роберт сидел на крыльце сторожки. Курил.

– Где болтаешься? Час жду...

Поехали в Песчанку.

Холодильник Луньков втащил в частный дом, в комнату, тесно заставленную мебелью. Опуская его на подхват Роберту, вяло подумал: «И здесь склад. Мебельный...»

– С японским агрегатом, мама, с японским! Бар будет теперь, бар! – лаял Роберт теще, закатывая холодильник в простенок между сервантом и еще сервантом.

Личика засуетившейся как ветерок тещи Луньков разглядеть не смог. Да все и так ясно. Чего тут еще! Налетая на шифоньеры (два, три ли их тут!), вышел.

Когда вернулись в город, Роберт остановился у гастронома. Видя, что Луньков взялся за ручку, чтобы выйти, придержал: «Погоди...» Вытянул сигарету, пачку подал Лунькову. Прикурили от одной спички. Роберт устало облокотился на руль и неожиданно раздумчиво, без обычной своей чечетки, заговорил: «Жаль мне тебя, парень. Честное слово, жаль. Ведь халупу-то твою скоро ломать начнут. Крышу снимать. Внутри все пе-

ределывать. Надстраивать два этажа... Нужда в тебе отпадет. Куда пойдешь? (Луньков напряженно молчал.) Кошелев тебе не говорил, конечно. И не скажет. Зачем? Выкинет в последний момент. И «заварзин» твой кончится. А тут – зима, мороз... Куда?. . Да-а, худо твое дело. Худо. Нарочно, как говорится, не придумаешь...(Луньков все не поднимал глаз, забыв про сигарету.) Документы тебе надо, парень. Настоящие документы. Для этого деньги нужны. И не малые. А вот где их взять?.. Тут думать надо, парень. Крепко думать... – Роберт сделал несколько затяжек, повернулся: – Что молчишь? (Луньков не мог сказать ни слова.) Да-а, жаль мне тебя, парень, жаль. Недогадливый ты. На вот. Опохмелись...»

Машина рванула с места. Луньков постоял. Потом пошел к гастроному. Робертовых денег было на три портвейна. Но что-то удержало Лунькова, и он не свернул к винному отделу, где уже перед семью, поглядывая на милиционера, осторожненько подавливались мужички. Купил только батон и два плавленых сырка.

Ночью не мог спать. Он понял слова Роберта. Понял намек. «Ведь он убьет меня, если я помешаю. Убьет! – металось в голове. – Вот тебе и «ручечки стеклянные», вот тебе и страстное дерганье их почти каждый день. Он уже знает, где сейф Кошелевых. Он вычислил его! »

И – как жаром обдало: «Да ведь он... ведь он дал на три бутылки. На три! Значит – чтобы я был вверх ногами, а он в это время... Да он же сегодня придет. Сейчас!»

Луньков сел... И сразу же в двери царапнулся ключ. У Лунькова все внутри оборвалось: дверь же закрыта! закрыта! там ключ! (чуть не кричал) ключ! Ключ оставлен в замке!.. И тогда дверь потянули и пошевелили так, что задергался крюк в петле.

Отчаянно Луньков вспорхнул в темноте. Замер... Вытянул руки вперед, покачиваясь всем туловищем, как болванчик, прокрался к окну. Чтоб высмотреть, высмотреть!.. Тут же назад отпрыгнул – ведомый светом уличного фонаря, таким же болванчиком, точно свершая вдохновенную китайскую церемонию, к окну приседал, кланялся с вытянутыми руками Роберт... В кепке голова остановилась, застыла прямо у стекла. В профиль. С открытым ртом слушала. Сглотнулся, улетел вверх кадык... Вдруг Роберт повернулся – и точно в упор глянул на распростершегося, сразу как под потолок подвесившегося Лунькова.

«Но ведь там дальше окно есть! Окно! Со стеклом! – маялся Луньков. – Ведь он там может влезть в окно! Зачем же он сюда лезет?!» Луньков все ждал чего-то, не верил, надеялся. И сердце бухалось, лезло к горлу...

Из коридора костюмерных прилетел далекий хруст стекла. «Точно! В окно полез!»

Луньков заметался. Искал чего бы в руку!.. Выхватил из-под стола портвейную бутылку.

Сунулся в коридор. Резко выдохнул. Словно освободился от себя. И воздушно пропрыгал по темноте... Подкрался к выпавшему из раскрытой двери сизому свету. Заглянул...

За высоким навалом декораций, в окошке под потолком, ворочалась, черно запечатывая всё, тяжелая тень. По стеклу чем-то скребли. Стамеской или ножом. Уже отгибали гвозди!

Безбоязненно как-то Луньков вошел в костюмерную. С разведенными в стороны руками. Как бы спрашивая у кого-то: да что же это такое? И про бутылку в правой руке забыл... А стамеска уже пела на высоких тонах, деловито счищая замазку. И непроизвольно Луньков вдруг стал подпевать. Стамеске. Старался в лад. Мучился, как пёс, зажмуривался, кипел слезами.

Стамеска остановилась. Словно бы недоумевая, вслушиваясь. Луньков тоже оборвал. Оба ждали. Один снаружи, на окне, другой – внутри, внизу, в черноте бутафорской... И Луньков не выдержал – запел. Уже один. Забирал голосом выше, выше... «Заварзин! Заварзин! – забубнил было Роберт, прилипая к стеклу, пытаясь разглядеть. – Это я! Я! Роберт!» Но под вой этот к нему уже летела... к нему уже кувыркалась длинная портвейная бутылка.

И отбросило его от окошка, и взорвалось всё с неожиданностью и грохотом гранаты.

Луньков кинулся назад по коридору, в сторожку. Дрожа, высматривал Роберта в окно. Протрещало что-то во дворе стройки. Еще какой-то шумок возник и пропал за дальним забором. И всё. Тихо стало. И не было будто ничего, и не было никакого Роберта. Вот да-а...

Во дворе стройки вдруг забесновался трельчатый свисток. Возле темной бытовки. «Милиция, – похолодел Луньков. – Уже примчались!» Снова. Еще сильней. Тут же что-то упало в самой бытовке. Внутри. И свист оборвался...«Сосе-ед! » – явственно вылетело из темной форточки бытовки... И с новой силой засвистело. «Сосе-ед!»

Луньков ломался, гнулся, заходился в хохоте. Падал на стол. Как припадочного, его подбрасывало на диване. А к нему все летело и летело из раскрытой форточки бытовки: «Сосе-ед!» И снова посвистывало. «Соседушка-а-а!»

Потом в бытовке он долго отпаивал старуху чаем. Сам долго не мог прийти в себя.

Рано утром, после звонка Лунькова, Кошелевы примчались на своих «Жигулях». Метались по коридору, зачем-то открывали все двери гримерных, распахивали бутафорскую, лезли по наваленным декорациям к выбитому окошку, проваливались, орали на Лунькова и снова бегали.

Сильно тужась, семеня ножками, сами потащили сейфик, накинув на него тряпку. Кричали Лунькову, чтобы открыл калитку. Потом чтоб держал дверцу машины. Гришка один, взяв сейф на пузо, задвинулся с ним и упал на заднее сиденье. Лежал на сейфике раком. Как баба. Тяжело дышал.

В проулке показался грузовик. В кабине – настороженный Роберт. Кошелевы кинули тряпку на сейф, захлопнули дверцу машины.

– Ты чего заявился?! Кто тебя звал?!

– Так за реквизитом, Афдеч! Вот – по списку. Сам вчера дал...

– Ну забирай и уматывайся! – орал Кошелев. – Чего стал?!

Роберт остро прищурился на Кошелева, отер перебинтованной рукой губы. Пошел к крыльцу. Выходя обратно с какими-то алюминиевыми трубками, вроде не замечая Лунькова, который хмуро стоял у дорожки, процедил сквозь зубы: «Прихлопнуть бы тебя, сволота, да сам скоро подохнешь».

Кошелевы ждали. Пока он уедет. Старший оберегал в кабине сейфик, точно ребенка. Потом резко развернулись и рванули в другую сторону.

***

Луньков запил. Два дня и две ночи пропивал он и подлые деньги Роберта, и свои – горбом заработанные в Щекотихе.

Первые полдня, казалось, только и делал, что лихорадочно бегал к гастроному и обратно – портвейные бутылки в сторожке на столе копились, точно на конце конвейера. Быстро опоражнивались. Требовали новых, более мутных, тяжелых.

Потом, вопреки всегдашней своей, за мышиные годы натренированной осторожности, пошел болтаться по городу. Пьяный.

В кассе совсем другого кинотеатра совсем другой девице – испуганной, вскочившей, – разоблачающе грозил пальцем: «А-а! Сартра читаешь! А сама что делаешь? А сама? Почему – вразброс сажаешь, а? Почему – вразброс? И-ишь ты-ы!..»

В большой толпе на остановке метался среди шарахающихся от него людей. В закинувшейся на затылок шляпке, распаренный, как ангел. «Мы вместе! Товарищи!» Хватал их за руки, за плечи, словно пересчитывал. «Мы вместе, вместе, товарищи! Спасибо вам! Спасибо! Мы вместе! Я теперь спокоен! Спасибо вам! Абсолютно спокоен!.. Я...»

Счастливый, плача, уходил от толпы, оборачивался, вздергивал по-ротфронтовски

кулак, снова шел, всхлипывал, шептал что-то... Как его не избили в тот день, как не замела милиция – одному создателю известно.

Другим же днем, весь отравленный, красно поддутый винными парами – висел в сторожке на стуле. (Дым от забытой сигареты словно торопился напитать, еще больше отравить безвольную, свисшую руку.) Ударенный подряд двумя стаканами портвейна, почти не слыша себя в образовавшемся красном гуле, он однако пытался писать в тетради и давал вдобавок «звуковое письмо»:

...И вообще ты, Люба... дрянь... Эта... как ее? Любка! Вот... Стерва... И плюю я на тебя с самой верхней колокольни. И не спорь! Я знаю! Точка! Вот так!.. И на Михалева твоего плюю! М-ми халев... И с такой вот... б-белогвардейской фамилией он – мужчина. А я, я, Луньков-советский – нет... Да-а-а... Да его же не видать, он же микроскопичен, скоклив, как мушка, как блоха, которую надо – ногтем, ногтем! Вот так! Так!.. И ты – его подруга. Его подстилка. Его Скальп. Не спорь! Я сказал! Точка! Вот так!.. А я – разрюмился тут, сопли распустил по всей тетради. Не спорь, я сказал!.. Я, между прочим, в СМУ теперь, Любовь Ивановна. Скрывал. Дурак. Начальник объекта. Не спорь! Я знаю! И ежемесячно – 260 – пожалуйте в кассу, Игорь Петрович. Вот так! И любок таких, как ты, у меня – сотни. Полный объект. По всем этажам. Бегают, снуют, понимаешь... Любую малярку беру, прораба Гришку со Скальпом беру – и ко мне. А они на каблучках обе. Идут-цокают впереди. Тощие. Как ковбойские седла... Дома забавляемся... Вот так! И не спорь! Я знаю!..»

Еще пил. Раскачивался на стуле, выкрикивал. Шариковая ручка в его руке, как сама по себе, дергалась в тетради. Потом вздрагивала, рывками везлась по бумаге, чиркнула и упала с рукой со стола. Луньков обвис на стуле, как после пытки.

А в комнате через дорогу, с болью прижав к себе притихшего сына, покачивалась мать. Словно вдруг испугалась чего-то. Тоскующе смотрела в темень за окном...

***

Очнулся на третий день к вечеру.

Стоял, смотрел на опрокинутую, влипшую в разлитое вино бутылку... С испугом не понимал шизического, начерканного в тетради... Полнясь алкоголическими своими слезами, медленно сдирал, комкал страницы.

Однако это не помешало ему через несколько минут нахватать по всей сторожке в мешок бутылок и помчаться сдавать.

И только в тесном дворе, перед обшарпанной хибаркой с висящим уже замком, опомнился он. Сидел на пустом ящике, отворачиваясь от липнущих отовсюду окон, неверной судорожной рукой отирал платком пот... С тихим стекольным кляком рассыпал бутылки по траве с боку хибарки. Подумав, бросил туда же и мешок.

Выходя со двора, увидел, как какая-то старуха уже ползала на коленях, собирала его бутылки в сумку. Торопилась, озиралась по сторонам. Как собака, первая набежавшая на объедки, хватающая их... Луньков отвернулся. Задирая голову, словно потеряв зрение, пошел.

...Когда я встречаю, Люба, старых опустившихся людей, которым уже н а п л е в а т ь, когда я вижу какого-нибудь старика, отрешенно бредущего в своих ботах «прощай молодость», я вспоминаю свою мать... Нет, она не бродила в последние годы свои в драной обуви и с драными хозяйственными сумками. Прожила жизнь достойно, на пенсии держалась стойко. Но я вовек не забуду, Люба, как она... как она танцевала на нашей с тобой свадьбе. Танцевала, прискакивала в вальсе по моде 20-30-х годов. И эта прискочка её была страшной... Она в н е её была. Вне состояния ее на этой свадьбе. Безвольно помнило эту прискочку только старенькое ее тельце. Которое алчно охватывал какой-то рассклеротившийся старикашка из вашей родни...

Господи, кто мог понять ее тогда, в расшурованной уже, уже о б я з а н н о й проку-

ролесить свадьбе?.. Её – седенькую, в каком-то своем креп-жоржетике, точно в мешочке... танцующую как в бреду, с закинутыми... с распятыми! словно глазами, в которых прыгало с нелепой этой прискочкой только одно: «у меня нет больше сына! нет больше! нет больше! нет!.. » Гос-по-ди-и-и!..

А ты смеялась, Люба, глядя на нее. Хихикала. С наивностью недалекой простушки. Подталкивала меня локтем... О-о-о! Каково ей было на этой свадьбе! Ей, – родившей сына в сорок два года! Родившей в долгих муках, с операциями, с большой кровью! Ей – теряющей сейчас его, свое единственное оправдание на этом свете, свою мечту, надежду!.. Ведь она сердцем чувствовала, что сын ее не в свои сани сел. Сердцем! Знала, з н а л а у ж е т о г д а, чем всё кончится!..

«Скучно на этом свете, господа», – сказал русский наш большой писатель... Нет, Люба. «Грустно... больно на этом свете» – надо бы сказать... Очень больно, Люба...

Луньков шел, сморкался, вытирал глаза. Остановился на углу. Куда идти – не знал... Как часто бывало после запоев, подступил внезапный сильный голод. Пустой желудок ссохся, как грушка. Пылал. Луньков сглатывал и сглатывал слюну. От слабости обдавало потом, кружилась голова.

И дальше уже только голод толкал его с одной улицы на другую. От одной забегаловки к другой, к столовым, к кафе... Но за окнами везде стояли или сидели люди. Много людей. И по малой опытности Лунькову казалось, что *осуществить это* там нельзя. Не получится.

Старался не смотреть на столики, проходя мимо бесконечного, казалось, ресторана. Везде за ними колготили, насыщались, радовались люди. Мужчины, женщины. Поторапливались озабоченно официантки с подносами, обкормленными едой. Сытые философные бармены болтали коктейли... И опять на пути возникали столовые, где к раздаточным в нетерпении теснились люди. Все с железными подносами. Как с откованными, по меньшей мере, индульгенциями в рай.

Уже в сумерках остановился перед крошечной закусочной, запрятанной в тяжелое здание в центре города. И нырнул туда. А там, он помнил, было два зальца: налево – что-то вроде буфета, там полуфабрикаты, всегда очередь, и направо – как бы столовая: с раздаточной, с горячим, с пятком высоких мраморных столиков... Луньков шмыгнул направо.

В углу у окна ели две полные женщины с одинаковыми, наверное, только из парикмахерской, прическами. На раздаче суетилась повариха. Она была к Лунькову спиной.

Луньков быстро подошел к ближнему столику. Слил с двух тарелок в третью, пустую. Торопливо начал хлебать...

– Нет, ты посмотри, а? – как ударили слова от окна. – Ты посмотри!.. Да сколько же их, паразитов? Вот только тебе рассказывала про такого! И вот... В шляпе... Нет это невозможно!

Послышался даже звяк брошенной ложки. В тарелку.

Луньков застыл, дожидаясь новых слов, продолжения, (ну же! ну! давайте же! давайте!), дико смотрел в стену, вымазанную краской точно сизым салом... Сглатывал, сглатывал подкатывающую тошноту...

По улице бежал, удергивал за собой рвоту, распугивая прохожих, пока не припал к урне...

Сидел в чахлом раскидавшемся сквере. Весь промок и растопырился напротив через аллею свилеватый клен, уже оббитый осенью. Такой же одинокий, голый, над ним загнулся и зяб фонарь.

Поза Лунькова была вольной, отдыхающей: нога кинута на ногу, со спины скамьи свисала рука. Но торопящиеся две девчонки на каблучках и в плащиках... как спотк-

нулись об него. Каблучки растерянно постукали и остановились... «Смотри, – плачет... Может, подойдем? А?» – «Что ты – пьяный!» – И девчонки заторопились дальше.

Кистью руки Луньков отер щеки, глаза. Поднялся. Пошел, как разучившийся ходить старик, – дрожа, шарясь мозглыми ногами. Свистели дырявые кеды на холодном мокром асфальте. Луньков запахивал полы плащишки, зажимал озноб.

...А помнишь, Люба, как мы с тобой были в ЗАГСе? Нашу с тобой регистрацию? Как от волнения, а может, просто от неловкости, я выронил кольцо? Когда нужно было уже одеть его тебе?.. Как скакнуло оно и покатилось по залу, по паркету, к двери, и все немо смотрели, а я бежал и бежал за ним и никак не мог подхватить?.. Как смеялись потом все в буфете. («Что, если б закатилось под стол с распорядительницей? А жених ползает под столом, ищет?») И твой отец уверял всех, что к счастью это, к счастью!.. И как потом он вздергивал почти пустой бокал: «ваше здоровье! ваше здоровье! будьте здоровы!» И рука его, облитая шампанским, была как замороженная. А он всё вздергивал бокал. И смеялся, и всхлипывал. А мать твоя все пыталась вытереть эту морозистую паутину с его рукава платком... Да-а, Люба. Его бокал, как он вскидывал им, его замороженную ужасом руку я тоже не забуду никогда... И к счастью всё у нас было, Люба, к счастью. Во имя светлой памяти родителей наших – только к счастью...

***

Мальчишка сидел у настольной лампы и готовил уроки... И глядя сейчас на склоненную голову, на беззащитную худую шейку, видя, как мальчишка откидывается от тетрадки в затененное тихое счастье свое и любуется написанным... Луньков с болью опять ощутил, что и он, теперешний Луньков, был когда-то Игорем Луньковым, Игорёшкой, Игорьком, был таким же худеньким мальчишкой, с маленьким своим, нетребовательным, тихим счастьем...

...Господи, Люба, ведь каждый пьяница был ребенком. Нельзя без боли подумать об этом. Осознать без боли его незнание еще... Доверчивое, раскрытое всем... И не забыть никогда этого своего далекого, теплящегося в ночи счастья... Ведь до окончания дней будет глодать вина перед этим далеким мальчишкой, доверчивые глаза которого в беспутстве своем ты подло обманул, предал, пропил...

Луньков набычивал голову, опять вытирал кистью руки слезы.

Поднимался уже на крыльцо, доставал ключ... и остановился – пыльная мешковина во все стекло окна задохнулась электрическим светом... «Господи, сколько же можно! Ведь хватит на сегодня, хватит!» ...В тоске маялся на крыльце, не заходил...

Кошелевы сидели на диване. Который у окна. Сидели развалившись. Как после бани, свекольные оба, налитые. На столе стояли водочные две бутылки – одна уже пустая, другая пустая наполовину. Валялись желтые огрызки огурцов, полкольца не сожранной еще колбасы.

«Обделали дельце. Обмывают». Тихо Луньков сказал: «Добрый вечер». Повернулся к ним спиной. Вытирал ноги о половичок. Снимал, вешал плащ, шляпку. Прошел к своему дивану, приглаживая волосы. Хотел взять журнал и уйти в коридор костюмерных...

– А-а! – словно только сейчас увидев его, воскликнул Гришка. – А вот и автор долгожданный! А вот и сам писатель!

Напрягшись, выдернул из-за спины своей толстую тетрадь Лунькова в коричневой истершейся обложке.

– А вот и сам роман гениального автора! А вот сейчас и почитаем...

Луньков кинулся отнять. Гришка резко пхнул его ногой. Искал, листая. И вскинул руку с тетрадью:

– Вот это! Вот – гениальное!.. «У нас еще теплые дожди, Люба. Светлые, грустные. Очищающие словно землю. Душу. Даже грязи вокруг как-то не замечаешь... Только теп-

лый дождь и теплая парная осень по деревьям и земле... Удивительная осень в этом городе. У-удивительная!» А? Ха-ха-ха! Или вот. Вот еще! Гимн труду... «Люба, какое это счастье вновь обрести себя! Ощутить всего себя! Ощутить каждый свой мускул! Мышцу! И все это, Люба – ра-бо-та. Работа в радость, Люба, в очищение...» А-ах-хах-хах-хах!

Как пойманный, Луньков метался по комнате. Весь дрожал, дергался лицом. «Да сколько же можно измываться над человеком? Где предел издевательствам над человеком? Где предел всемирному этому садизму?» Казалось, он забыл про хрюкающих над тетрадкой Кошелевых. Но подскочил к ним, застенал:

– Ну зачем вам это? Зачем? Вам?! Отдайте! Прошу!..

Сел. Прямой. Отвернул голову. Как залубенел, плача.

– О-ох-хох-хох-хох! А вот еще, еще! Торжественное! Клятва!.. «Люба. Ты – единственное, что осталось у меня на земле! Тоска моя по тебе, любовь моя к тебе – бес-предель-ны!» ...И-их-хих-хих-хих!

Луньков вскочил. Лицо его перекосилось. Луньков оскалил зубы:

– Ненавижу!.. Слышите?!

И – как плюнул:

– Опившиеся клопы!

– Что, что ты сказал? – легко взнялся к нему Гришка. – Ну-ка, повтори...

– Опившиеся... щекастые... похотливые клопы!.. Ненавижу!

От пощечины Луньков подскокнул. Защищаясь, выкинул вперед руки в нелепой боксерской стойке. Прятал, прятал в них голову. «Бейте, бейте, гады!» – Кулаки дрожали, вскидывались, вскидывались...

Гришка раздернул руки Лунькова и с раскачкой, резко ударил снизу вверх. В лицо. Лунькова ослепило, откинуло на мешки с тряпьем. Он сполз на пол. Гришка наскочил, с размаху ударил ногой. По ребрам. Еще раз. Под дых. Еще... Луньков сгибался, дергался. Без воздуха. Синий...

– Ну хватит, хватит! Убьешь, – оттащил Гришку Кошелев.

Но Луньков полз к ним, икал красной пеной, сипел: «Нена...ви...жу... слышите?.. нена...ви...жу...»

– Убери его! – попятился Гришка. Слезливо выкрикнул: – Убью ведь!

– Ну-ну, – приобнял, как маленького успокаивал сына отец. – Послезавтра ведомость подпишет – и к чертовой матери!

Они быстро рассовали по карманам водку, огурцы, колбасу, сдернули свет и вышли.

Луньков вздрагивал, затихал на полу. «Ненави... ижу...ненави... ижу...сво... олочи...»

***

Высоко полыхающая раковина словно заглатывала и заглатывала кидаемые Луньковым тетрадные исписанные листы. Потом пущенная из крана струя воды прибивала черный хлопьевый пепел, вгоняя его в дырки раковины.

Стоял у окна перед недвижным сизым утром, забыто правя в стакане бритвочку.

Перед сколотым зеркалом, установив его на подоконник, брился. Промыв в банке станок, сложил в коробочку, опустил в карман пиджака. Уже одетым, выходя, наткнулся взглядом на журналы в углу на полу. Вернулся, начал собирать.

Ключ Луньков бросил на крыльцо. Открыто. За калиткой перешел с журналами через дорогу, оставил их на завалинке. У окна. Мальчишке. Мальчишка вскочил из-за стола. Во все глаза смотрел на Лунькова, словно в растерянности узнавая... Луньков стоял... «Прощай, мальчишка». Пошел.

И сторожиха тоже немо смотрела, забыв про всегдашний свой чайник в руке, как он проходил проулком, как затем свернул за угол дома и пропал...

Около пяти под дождем он долго ходил возле главпочтамта. Никак не мог решиться.

Ринулся, наконец, к двери. Дергал ее. Дергал. Не ту половину. Да где же тут! Ворвался, наконец, внутрь. Метнулся дальше, к стеклам:

– Девушка, вот мелочь, вот! Конверт дайте, конверт! Скорей!..

– Здесь только четыре копейки. Еще две надо.

– Я занесу, занесу, девушка! Пожалуйста. Скорей... И бумаги, бумаги какой-нибудь!

Луньков отошел к столам. Сел... И... в единый дух написал: «Люба, я в городе Т...ске. Если есть желание – напиши. На главпочтамт. Заварзину В. Т. (Это для меня будет.) Жду. Очень жду. Игорь». Запечатал всё. Притиснул конверт к столу. Словно чтобы ничего не выскочило из него обратно. Надписав адрес, широкими шагами пошел к щели в стене с надписью «для междугородних». Сунул конверт. Отступал от стены к выходу, зачем-то отирая о грудь руки, тряс ими. Как будто стряхивал воду. Или кровь.

На улице не знал – куда теперь? что? как?. .

Медленно пошел. Не замечая, забредал в большие лужи, в самый бой дождя, посмеиваясь, выпрыгивал обратно, дальше шел, улыбался встречным людям под зонтами, сам звездился в дожде как ангел...

...Люба, что же теперь будет? Как я рад и как мне страшно почему-то. Ведь нет теперь пути назад. Вот уж воистину все произошло с неотвратимостью письма, написанного в прокуратуру и... и брошенного в почтовый ящик... Всё. Теперь всё пойдет вне меня, неотвратимо. Словно на небеса я написал. И ты там – прокурор. И ты решишь теперь, решишь. Люба, как я рад, счастлив. Господи! И жутковато мне, и радостно...

У центральной гостиницы увидел большой красный автобус до аэропорта – и сразу как ударило: съездить! узнать! И уже побежал было к нему, фыркающему гарью, но вспомнил про рубль, который надо платить в этом автобусе. А рубля-то и не было. И доморощенные вылупились по окнам иностранцами. «Вот так, товарищи, – подмигнул им Луньков. – В кармане мир-дрюжба...»

Через полчаса он болтался на задней площадке обычного, рейсового, полупустого, тоже трясущегося в аэропорт. Улыбался хмурящейся, глаза уводящей кондукторше, взгроможденной высоко на сидение у дверей. Предупреждая ее «позыв», обезоруживающе признался:

– Да, у меня нет билета. Вы угадали. И денег нет. Ни копейки. Но какой сегодня день у меня! Какой счастливый день!..

Его подкидывало на ямках, он смеялся, отворачивался к окну, махал рукой и ею же смахивал слезы... К редким про́синям между тучами с мольбой тянулись пролетающие тополя... Кондукторша крепче ухватилась за штангу: «Ненормальный! Из дурдома!»

...Я теперь все время, Люба, так: то ли смеюсь, то ли плачу. Сам не пойму. И с памятью стало странно: из института почти ничего не помню. Всё абракадабру какую-то... Ну не забавна ли жизнь моя? Люба! Ха-ха-ха!.. – громко засмеялся Луньков. Кондукторша опасно напряглась. Луньков разом оборвал. Но слова к жене неудержимо понеслись дальше, и он, точно подхваченный ими, только испуганно прыскал, однако тут же честно выказывал большие глаза кондукторше.

...Люба, я вообще часто помню то, о чем навсегда бы забыть. К примеру: мы с тобой идем по лесу, на дачу, к Тиуновым, с рюкзаками, устали уже... Проходим дачным поселком. Какой-то парень кричит тебе: «Красивая! А ну помоги!» Помнишь? И ты подошла... и присела к нему. (Удерживала там какой-то брусок, в который парень начал забивать гвозди.) Я глаза вытаращил: поразила готовность твоя, с которой ты присела...

Луньков смеялся, сжимала глаза боль.

Кинулся я помочь...«Отвали! Она подержит!» Каково! И ты держала, все так же послушно присевшая. С лица парня слетали ухмылки. А я метался вокруг. Все хотел поднять тебя. Поставить как-то...Чтобы не сидела ты, чтоб не сидела!.. Потом я бежал рядом с тобой, заглядывал к тебе, к твоему лицу, всё пытался понять твою эту... готовность...

Бежал и заглядывал. Как дурак, у которого увели жену. Ну не забавно ли? Хах-хах-хах-хах!..

Забыв про кондукторшу, Луньков опять громко смеялся. Как лаял.

Кондукторша побурела:

– Тебя высадить?! (С сидений начали выворачиваться головы.) Вон КПП! Живо остановлю!.. Не к добру смеешься, парень...

– Знаю, знаю – не к добру, – поднимал, сдаваясь, руки Луньков. – Знаю. Извините, забылся.

Он отвернулся к окну, схватился за поручень. Пролетела высвеченная башня КПП, внизу, в шлеме – остолоповый гаишник.

И к побитому уборкой полю в кукурузных будыльях сразу начал отовсюду наползать предночный сизый туман. Морок.

***

Когда он высмотрел в высоком расписании свой город с прямым рейсом к нему по вторникам, четвергам и субботам, когда оказалось, что лету до него всего полтора часа – сдвинулся в сторону, пораженный. *Господи, Люба, всего полтора часа... Три года разлуки... и полтора часа...* Прошел к «справочному». За стеклом сидящая в форменном кителе девушка выдала ему прямо в ухо. Из репродуктора: «Пятьдесят два рубля, пятьдесят копеек!» Цена билета была внушительной. *Но все равно, Люба, все равно – только самолетом! Ведь полтора часа. Всего полтора часа. Я буду возить дрова с Кукушкиным. Пилить, колоть. Неделю, две, месяц. День и ночь буду работать, Люба, но я заработаю эти деньги, заработаю!.. И на одежду ведь надо приличную... Нельзя же так к тебе... Но ведь только подумать, Люба: полтора часа, всего полтора часа!..*

Луньков ходил вдоль касс, вдоль очередей, завязших в багаже, меж шныряющих туда-сюда людей, на него налетали, сталкивали в сторону, он улыбался извинительно.

Его остановил милиционер. И тут он довольно удачно назвал точный номер рейса. «Ночной рейс, товарищ милиционер. Из Новосибирска. Ночной. Встречаю». Суетливо заглядывал в нахмуренное южное лицо с усами, разглядывающее его липового «заварзина». Уже как заклинанием частил: «Какой день у меня, товарищ милиционер! Какой день! Ведь три года не виделись! Три года!» Неслушающейся рукой заталкивал удостоверение обратно в карман. Во внутренний. Пошел, наконец. Малодушно оглядывался. Не спуская с него глаз, милиционер уже объединился с другим милиционером. Своим двойником. Таким же молодым, усатым, южным...

Однако проходили в это время две подсобницы с кухни. Призывно смеясь, покачивали не без кокетства пустым алюминиевым бачком... Лица милиционеров сразу сделались лунными. Подобравшись как коты, милиционеры мягко пошли следом, на ходу правя усы...

Луньков жадно курил на воздухе возле стеклянных дверей в аэровокзал. Тут же ходили еще какие-то люди. Все темные. Каждый сам по себе. Ударяясь о свет из вокзала, вертелись резко, механистично. Подобно отстрелянным мишеням. И так же механически из иллюминированной хибарки в углу площади била музыка:

«Астанависься, сеньора! Астанависься, сеньор!..»

***

Уже после двенадцати, пригнувшись, точно разглядывая свои кеды, Луньков покачивался в кресле на втором этаже аэровокзала среди соловеющих от ожидания и бессонницы людей.

...И все дело, наверное, Люба, в том, что не было у нас с тобой детей. Ребенка. Нашего ребенка... Ты не хотела. А остальное всё – следствие... Перед живым созданием – родным,

маленьким, нашим, я думаю, просто не возникло бы у нас всех тех взаимных преувеличенных ожиданий, претензий, обид. Всего того, стражденького эгоизма любви между мужчиной и женщиной, который и растолкнул нас в конце концов... Перед маленькой этой жизнью, созданной нами, пестуемой нами... перед доверчивыми ее глазами всё было бы это, наверно, глупо, мелко... и пошло...

Как нередко бывает после задержек по метеоусловиям, после того, как проплакались наконец слезливые аэропорты, начали объявлять рейсы. Подряд. Один за другим. И словно дождавшись какой-никакой успокоенности после возникшей взбаламученности людской, к освободившемуся ряду напротив Лунькова зашаркали два древненьких старичка. Годами оба оголенные. Уже как птенцы. Один выше маленько, другой пониже немножко. По-стариковски растопыривались, топтались, долго усаживались. И помогала им, ласково оберегая, пожилая женщина. Полная. Уселись, наконец. И женщина – рядом. Старичок, который поменьше, сразу же со смешками, бесшабашно как-то забормотал. Веселенький приплюснутый носик его был как отметка. Как царская медалька.

«...Хех-хех! Ну, мы ей и отписали, так и так, Машка, бросай халупу свою – и к нам вали! У нас норма-ально, *жизинь*, хех-хех, кормят три раза, мясное даже бывает, по субботам баня, хех-хех, этот... как его?.. телевизор... один на всех, в общем – живи не хочу! Х-хех! Приезжай! А она, оказывается, окочуркалась, хех-хех. Пока письма-то ходили, она и того – каюк. Хе-хех. Бесполезно всё оказалось. Без толку. Х-хех. Да ты не грусти, земляк, – видя, что слушающий «земляк» опустил голову, подбодрил его веселенький, – привы-ыкнешь! Хех-хех! – Похлопал по плечу: – У нас норма-ально! *Жизинь*! Лес кругом, овраги... свалка рядом... воронья – тыщщи, хех-хех! Верно я говорю, Семеновна? – выглянул к сопровождающей. «Да помолчал бы ты, Никиша! Вечно пугаешь новеньких. Вы не слушайте его, товарищ Сокол. Он наговорит...»Товарищ Сокол еще ниже опустил свислый свой нос. А Никиша все балагурил: «Ты не боись, товарищ Сокол! Хе-хех! С такой фамилией-то?Да все перепелки наши твои! Кхе-ех! У нас их тьма! Так и пурхают, так и пурхают, песочком за собой посыпая! Хех! Пользуйся! Все твои! Уступа-аю! Х-хеех! А, Семеновна?.. Х-хее-еехxx-хех!» – «Да будет тебе, Никиша», – изо всех сил старалась сохранить серьезность, но уже фыркала, отворачивалась сопровождающая.

Луньков смотрел, умилялся. Но когда Сокол, наслушавшись всего от Никиши, с отчаянья ли, с тоски ли обреченно вывоpотил из газеты курицу... жареную, золотистую... Луньков встал, сразу выбрался из рядов. Вцепился в перила. Завис над нижним этажом. Пустой желудок уже не жал – спазматически дергался. Как неуправляемый, чужой. Измученно Луньков тянулся взглядом к буфету слева. Пытался вспомнить, сколько суток не ел.

Буфет просвечивал сквозь декор из загогулистого железа, струящегося с потолка и увешанного горшочками с плетями цветов; в сторону зала вообще все было открыто, и из буфета, казалось, зримо выкатывались волны кофе...

Теряя волю, он уже подвигался и подвигался к буфету, к терпкому запаху кофе.

...Люба, прости, последний раз. Клянусь... Последний раз... Не могу...

Ухватил с пустого кресла брошенную газету. Стал у крайнего чистого столика, прикрываясь газетой, «читая».

Кроме озабоченной буфетчицы, которая все время подтирала тряпкой текучий кофейный агрегат, в центре стояла и ела только одна какая-то девица. («Это хорошо! это хорошо!» – опять как в закусочной несколько дней назад залихорадилось у Лунькова.)

В обширном, косоплечем каком-то пиджаке, в коротких наплывных брючонках, застегнутых у колен... с украшениями на ушах, как с яхтами... была эта девица как-то неуместна еще, преждевременна, что ли. Как рождественская елка летом... И ноги в оранжевых гольфиках при ней – как новогодние свечки... Зато остальное всё – для турбазы: через плечо сумка «вильгельм тель», берет на голове – лихо-косо. («Это хорошо!

Хорошо! На турбазу летит! На турбазу! Женихов стрелять! Это хорошо!»)

Девица подносила куриное крылышко к своему лицу – и близорукий взгляд ее как-то замирал во вместительных очках. Словно слушал себя. Берег... И как растение распускался. И девица брала от крылышка зубками кусочек. Где-то видел Луньков все это, видел. Этот плавающий взгляд, эти очки... (В кинотеатре видел, в кассе, когда покупал на фильм билет.) «Да ладно! ладно! потом! потом!»Он выглядывал из-за газетки, сосредоточивался на з а д а ч к е.

Рядом с буфетом какой-то мужчина в форменном плаще летчика и фуражке гнулся с трубкой в кабине междугороднего телефона-автомата: «Ты слышишь, что я сказал!.. Да где?! Где?! Какая подруга до сих пор! У вас четвертый час ночи! Какая?!» Он вслушивался в ответ, потом снова точно лез в трубку: «Слушай, Верка: ты ее сестра, родная сестра, ладно – согласен... но если... если ее не будет... слышишь... если ее не будет через полчаса дома!..» Снова слушал. Опять прямой, длинный. Точно подперев в кабине упрямство свое, слепоту. И вновь кричал, сгибаясь: «Ты запомнила, что я сказал?! Повторить?..»

...вот, Люба, тоже драма... Как у нас когда-то. Уже назрела...

Луньков хмурился. Не знал, куда смотреть. И не заметил, как этот мужчина в лётном плаще вышел из будки. Как стоял он, тупо уставясь в потухшее стекло кабины. Как возник потом в буфете, и буфетчица отвешивала ему яблок... И Луньков вздрогнул, когда мужчина этот с тарелкой яблок вдруг встал за его столик. Именно за его, Лунькова. Хотя кругом было полно свободных...

Луньков сразу прикрылся газетой. Не выглядывал из-за нее. Что-то резко щелкнуло. Заскрипело очищаемое яблоко.

Луньков ожидал увидеть боль, страдание, растерянность хотя бы, но лицо мужчины было сужено и зло, как нож, который он сжимал в руке, которым механически, не глядя, чистил яблоки одно за другим. Чистил и вгрызался в них. Вверх-вниз ходили большие уши. Как черепаха, грозилась стронуться и поползти большая форменная фуражка...

...Вот, Люба, вряд ли он понимает, что́ сейчас очищает и ест... Давно я заметил – у многих так. При большом волнении начинают что попало есть. Жрать...

В буфет вошел солдатик. В кительке он, со значками, в глаженых брючках, аккуратненький, чистенький. Как луна – улыбающееся лицо. Ненец или якут. В руке чемоданчик... Взял у буфетчицы кусочек курицы в гофрированной тарелочке, хлеб и два стакана кофе. Все это перенес к дальнему столику. Не забыл и свой чемоданчик – задвинул его под столик... Снял, поставил рядом с собой фуражку и, окинув взглядом все высокое стекло, за которым как штора висела ночь, осознанно, в отличие от летчика, не торопясь начал есть.

Вдруг мужчина в лётном бросил нож на стол и двинул к телефонной будке. И почти сразу со вспыхнувшим светом послышалось опять влезающее в трубку: «Верка, ты запомнила, что я сказал?!»

Нож был красивый, богатый. С множеством назначений. С раскрытым большим главным лезвием в яблочной жижице, с массивной красивой костяной ручкой. «Дорогой», – подумал Луньков. Хотел погладить... словно на морской раковине белые пупырышки на ручке... и появился хозяин. Но пошел дальше!

– Товарищ! товарищ! Вы оставили! – Луньков поспешно вытер лезвие, протянул мужчине нож. Ручкой вперед: – Дорогая вещь...

С какой-то брезгливой злобой мужчина вырвал у Лунькова нож, защелкнул лезвие, кинул в карман плаща.

Через минуту он стоял со стаканом кофе за столиком с низеньким якутом. Сам длинный, сумрачный, непримиримый. «Да что он лезет-то к людям! Сколько угодно свободных столиков...»

А якут уже пил кофе. Блаженно, растроганно. Как любимый свой чай. Большими глубокими глотками. Как бы приговаривая при этом: хараша-а... Выпил оба стакана.

Смотрел на них, поикивал от сытости, думая, видимо: а не выпить ли третий?

***

Когда девица, утомившись борьбой с крылышком, отошла наконец от столика и стала выводить помадой что-то очень томное (на губах)... когда Луньков, боясь, как бы не убрали гофрированную тарелочку с объедками, сразу сдвинулся к ним и начал жадно доедать... якут словно ударился о него глазами – с растерянной улыбкой смотрел, раскрыв рот... Луньков стал давиться, кашлять. Хватал газету, закрывался, продолжая толкать, толкать объедки в рот...

Якут тут же подошел к буфету, сунул деньги, взял тарелочку с курицей, хлеб и, показывая все это Лунькову, поставил на соседний столик. Как зверьку, который не возьмет с человеческих рук... Все так же не сводя глаз с растерявшегося Лунькова, улыбался ему, кивал ободряюще головой. Потом пригнулся, левой рукой взял чемоданчик, а правой шарил на столе фуражку... И столкнул вдруг фуражкой стакан с кофе. Прямо на мужчину в лётном. Его стакан. Ему на живот. На белую рубашку!.. Забыв Лунькова, бросил всё, кинулся с платком вытирать рубашку. Мужчина ошарашенно пялился себе на живот... Вдруг с маху, снизу вверх, ударил по круглому усердному лицу. Якут, как-то медленно запрокидываясь, увозя ботинки, повалился и ударился головой о низкие батареи. В лётном прыгнул к нему. Пнул. Раз. Еще раз... Солдатик скорчился, зажался...

Всё это произошло мгновенно, молчком. На глазах у всех... В перекрестье вытянувшихся отовсюду взглядов – мужчина замер. Как клубок, в спицы схваченный... Но раскинул словно всё, расшвырнул. Пошел уверенно к лестнице. Длинный, в форме. Но лестницу мыла уборщица. Возила палкой с мокрой тряпкой. Везде было влажно, чисто... И в лётном пошел к другой лестнице. Чтобы уже там спуститься на первый этаж. И разинувший рот Луньков не мог даже понять сначала, осмыслить эту его чудовищную воспитанность, эту его чудовищную д е л и к а т н о с т ь с уборщицей...

...Как же так, Люба? После всего, что он только что сотворил... Это же невероятно...

Луньков подбежал к якуту, помог подняться, усаживал к стеклу, на батарею. «Сейчас, сейчас, паренек! Он ответит! Не уходи! Никуда не уходи!» Метался, выкрикивал сидящим людям: «И вы, вы, пожалуйста, не уходите! Сейчас я, сейчас!» Кинулся вдоль всего этажа. Той же дорогой, к той же лестнице, куда полминуты назад играючи спустилась наглая, плюющая на всё фуражка.

***

Внизу было полно народу. На объявленные рейсы все еще шла регистрация. Везде к стойкам, к весам стояли очереди. С чемоданами, с сумками, с коробками, мешками... С натугой вышел откуда-то турист. За спиной – гора Кара-Дага. Увешенная вся альпенштоками, веревками и котлами. Турист качался, явно падал...

На него набежал Луньков... Кинулся, подхватил. Помогал. Сбросили. Уже не слыша прохрипевшего «друг!», дальше, дальше продвигался. Снова побежал, высматривал, искал длинного в лётном.

Увидел его возле раскрытого киоска с газетами и журналами. Вместе с другим уже летчиком. Плотным, невысокого роста. Выбирали газеты. Длинный, посмеиваясь, похлопывал плотного по плечу. Корешил. Взяли газеты и... дальше пошли. К выходу из аэровокзала!

Луньков догнал. Шел сзади. Как-то глупо в ногу с ними. Мучительно зачем-то пытался определить – кто старше из них? По званию? У плотного полоски на погонах шире как-то были. Луньков стал трогать его за рукав:

– Товарищ, товарищ! . .

Плотный остановился. Обернулся. И мгновенно чем-то сроднился с Кошелевыми...

...Глаза, глаза у них одинаковые, Люба, глаза, нагло заголенные, в рыжих веках... Так

один же монетный двор, Люба! Одной чеканки медяшки!..

– Товарищ, простите, товарищ. Вы ведь начальник вот этого... товарища? То есть я хотел сказать – вот его? Так ведь? Верно я сказал?

– Ну, допустим. Дальше что?

– Сейчас...вот только несколько минут назад он...вот он...вон там, наверху, на втором этаже...Он избил, он чуть не убил человека! Вот только что...Сейчас!

Начальник быстро глянул на кореша. «Кореш» нахмурился.

– Да не видишь – бич. Пьяный... Иди проспись, огрызок!

И они пошли дальше.

– Нет, постой, гад! Постой, не уйдешь! – Луньков начал хвататься за длинного, бессвязно выкрикивать: – Товарищи, товарищи! Сюда! Сюда!..

Сразу придвинулся один гражданин. Еще несколько зевак. И в очереди все повернулись...

– Ну ладно, – буркнул плотный. – Не ори. Пойдем. Разберемся...

Все двинулись наверх.

***

При виде, казалось, отовсюду нахлынувших людей во главе с безумным Луньковым солдатик-якут испуганно остановился на середине буфета. Зачем-то поставил на пол чемоданчик. Снял фуражку... Мял ее, опустив свою лунообразную стриженую голову. Начал отворачиваться, всхлипывать. Как прощения у людей просил, каялся. Раздутую верхнюю губу его трясло, скашивало набок...

– Вот... этого паренька... – глотал слова Луньков. – Из-за стакана кофе...нечаянно пролитого им...Нечаянно!.. – Луньков с ненавистью глянул на длинного в лётном: – Вот этот... л-летчик... вот он!

– Ну ты-ы! – выдвинулся длинный.

– Погоди, – остановил его начальник. К Лунькову повернулся. Сытый. Насмешливый: – А кто видел это? – И уже с ухмылками вел взгляд по лицам людей. И люди почему-то опускали, уводили глаза. Прятали. – Так кто?

– Да все видели, – с улыбкой изумился Луньков. – Вот видели. Вон там сидят, видели. Вон, буфетчица...

Плотный подошел к буфету.

– Вы видели... что-нибудь?.. – с нажимом и вежливо спросил у буфетчицы.

И та от пронзающей этой вежливости, экипированной к тому же в аэрофлотскую форму, смутилась и поспешно забормотала:

– Ничего я не видела! Повздорили тут, но там и не летчик был, ничего я не видела!

У нее вдруг сам собой зашипел, закашлял агрегат, она начала приседать, выключать там чего-то, подтирать. Прикрывалась им, пряталась.

Начальник повернулся к Лунькову: вопрос исчерпан, уважаемый!

У Лунькова сжались глаза: да это же заговор...

Бросился к рядам кресел. К сидящим там пассажирам:

– Товарищи, товарищи! Да они же заодно! Вы же видели все! Ведь из-за меня, из-за меня всё!.. Он хотел мне! Курицу! Понимаете!.. А этот гад его... Ну ладно, я... Но вы же люди. Разве можно это оставить? Он же фашист! Он чуть не убил! Человека!.. Люди! Помогите!..

Тут начали восставать два героя Шипки, затоптались даже, поспешно расправляя усы, но сразу были сдернуты на место сопровождающей. Резко заплакал грудной ребенок. Напуганный выкриками Лунькова. Мать заторкала его в руках. Взглядывала зло на Лунькова: разорался тут...

И всё? Весь ответ? Людей?.. Луньков растерялся.

– Я... Я видела! – послышалось от буфета.

Все повернулись к девице. В очках которая. С яхтами на ушах. В гольфиках, в штанишках. В косоплечем пиджаке.

– Я видела. Он сперва ударил... в лицо. Потом на полу... ногами...

Луньков подбежал к ней. Затряс ее руки:

– Вот хорошо! Правильно всё! Сартр – гуманист! Великий гуманист! Можно сидеть в кассе... зато читать Сартра! – Он смеялся, подмигивал девице: – Они считают меня сумасшедшим. Они поднимают громадины в небо, а на земле пинают людей. Они всё могут... Но нет, не выйдет. Не пройдет у них. На сей раз не пройдет.

Повернулся. Отчаянно, радостно разглядывал обоих:

– Что? Может и меня... того... в морду? На глазах у всех? Его избили – чего теперь стесняться? А? Ха-ха-ха! Вас же летчиками язык не поворачивается назвать... Длинный и плотный! Ха-ха-ха! . .

– Заткнись ты! – прошипел плотный. Зло озирался по ногам людей. Приказал: – В отряд! Там разберемся!

И пошел, окруженный зеваками. На плетущегося рядом солдата, на спотыкающуюся девицу внимания не обращал. Он даже забыл про своего штурмана, который дергал его за руку, порываясь что-то шепнуть. Ему был важен этот. Зачуханный интеллигентишка в шляпчонке. Которого не остановить. Здесь, на людях. Который уже забежал вперед и выкрикивает по-прежнему, сволочь, что он «не сумасшедший» и что «у них не пройдет»...

***

Когда прошли по всему первому этажу – зеваки куда-то пропали. Растворились. Как и не было их вовсе. Луньков хотел кинуться к двери с табличкой «милиция» – плотный ухватил, отдернул от двери:

– В отряд, я тебе сказал! – Толкнул вперед. И они начали зачем-то впадать в полутемный уже ресторан – Луньков, за ним эти двое, потом солдат и девица. Луньков в недоумении оборачивался. «Дальше! Дальше!» – махал рукой плотный.

В полутьме две уборщицы с тряпками в испуге распрямились. Из угла кто-то крикнул: «Куда?! Всё закрыто!..»

А они всё шли и шли, стремительно, не останавливаясь, какими-то бесконечными коридорами, коридорчиками, круто сворачивая и вновь идя прямо, мимо каких-то плоских кафельных комнат, где в пару и чаду сновали белые пятна поварих, мимо закутков с короткими резкими вспышками света. И, оборачиваясь, Луньков так же вспышками запоминал, как сначала плотный на ходу повернул девицу и толкнул куда-то в боковой коридор, как он же потом, тоже на ходу, совал солдатику что-то, и тот вдруг остался далеко позади, растерянный, с чемоданчиком, с красной бумажкой в руке – точно брошенный на дороге... И с болью Луньков ощутил, что и солдат, и девица, и избиение в буфете, и всё последующее... всё это было и не было, всё это осталось там, на дороге, вместе с солдатом и девицей, и вернуться туда невозможно, и тащит его вперед уже что-то другое, названия которому нет, но отступить от которого нельзя, невозможно, преступно. И всё это другое тащит он сам, Луньков, тащит вперед, и от него ни за что не отступится... И спиной, холодея, Луньков чувствовал, как молча, зло спотыкаются за ним эти двое, как жадно слушают они его выкрики, пытаясь понять, уловить для себя самое важное, главное, и уже готовят... уже приготовили ему свой ответ... Но Луньков, как заведенный, всё выкрикивал, Луньков всё «выступал». Луньков оборачивался к ним, продолжая «разоблачать»:

– А-а! Пареньку в зубы червонец, а девицу в шею! Чтоб до утра там ходила в коридорах! Ай да ловко! Ну ловкачи-и! Вчера бы вы и меня купили! С потрохами купили! За трешку, за пятак! Да я сегодня другой. С сегодняшнего дня другой! Понимаете ли

вы это, подонки! Ведь полтора часа, только полтора часа – и я уже не Заварзин! Нет такого Заварзина! Никогда не было! Останется только вот эта липа! Вот эта грязная замызганная книжонка, которая именуется «заварзиным»! Которую я рву! Рву! Вот так! На ваших глазах! Нате! Ловите! Изучайте! Ха-ха-ха! Понимаете ли вы это? Вы, хозяева жизни! Только полтора часа! И у меня тоже будут теплые дожди. У нас с Любой будут теплые дожди. А вы – ответите...Не-ет, спускать вам нельзя. Больше нельзя. Слишком многое вы захапали. У людей захапали... Жрете, давитесь, а всё нажраться не можете... Не-ет, нельзя-а. Ни за что нельзя... Сейчас дойдем, сейчас, и вы ответите...

Луньков выпал из торца здания в темноту, в дождь.

– Так где ваш отряд липовый? – повернулся к двоим. – А?. .

– Вон... там... – Плотный махнул рукой в сторону далеко мерцающей диспетчерской вышки.

– Это «отряд»? Да это же каракатица иноземная! Братцы! Только что прилетела! За двумя своими мутантами! Скорей!..

Опять быстро шли. Шли по кипящему в дожде бетону, подпираемые в спины прожекторами от аэропорта.

...Люба, никакого отряда не будет. Они не знают, что со мной делать. Они будут предлагать деньги. Потом будут бить. Но я не отстану от них. Ни за что не отстану. Ползком поползу, но им не отвязаться от меня. Нет!..

– Слышите, вы! Ведите меня хоть куда: в отряды ваши, в диспетчерские вышки, но вам не избавиться от меня. Ни за что не избавиться! Не пройдет у вас! Слышите?!

– Давай, давай! Шагай!

Наконец, как по команде, все трое стали. Луньков медленно повернулся... Освещенный – против двоих в белом дожде...

– Что-о – дальше некуда? А? Куда теперь? В какой отряд?..

– Ну, вот что... друг... – тяжелыми словами заговорил плотный. – Как я понял, тебе надо в С...вск... Рейс через час... Денег у тебя, понятно, нет... Так вот, мы покупаем тебе билет, сажаем в самолет... и больше никогда не видим...Понял – никогда!

– Ха-ха-ха! Люба, они всё покупают! Они привыкли всё покупать! Они даже солдатика купили. Избили – и тут же купили. Тот даже не понял, что с ним произошло... А?.. Могут, Люба, мо-огут... Но не выйдет на сей раз, господа Кошелевы! Не пройдет!..

– Чего же ты хочешь? – повысил голос плотный.

Двое стояли в дожде. Против освещенного одного, зажав газеты в руках как сизые факелы...

...Люба, ведь это...

– ЧЕГО ТЫ ХОЧЕШЬ?!! – прокричал весь поднебесный мир.

– Да сука о-он! – слезливо выкрикнул длинный. Как мучительно объясняя плотному, раскрывая глаза ему. – Су-у-ука!..

Он подскочил к Лунькову, ткнул в бок. Назад отпрыгнул.

Пятились оба от зажавшегося, с разинутым ртом Лунькова, который словно отпускал себя резко к земле и тут же на ноги вскакивал. Падал на колени и снова вскакивал, к небу закидывая голову... Двое повернулись, пошли. Побежали...

Светлана МИХЕЕВА

Забор

Обметан птицами и кашей снеговой,
насельник местности качает головой,
раскис медузою от долгих непогод,
он шатко движется, бредет, бредет, бредет.

Обнесены забором золотым,
мое отечество, лишь мы с тобой не спим.
От грязных скверvoв нам на сердце бело,
гуди-поскрипывай, сосновое крыло.

А если кто-нибудь в истории чужой,
гудит по комнатам, качается баржой,
неясной тенью переходит от стола
туда, где маленькая родина была,

туда где родинка в ложбинке ключевой
кивает спичечной опасной головой, –
срываясь рыбкою с фонарного крючка
плывет к окраине трамвайная тоска,

мигает лампочка: скорей, скорей, скорей!
В нас въелась накрепко тревога пустырей.
Спешат по улицам не Людочка – Люси,
харбинский батюшка, парижское такси.

Не сна – бессонницы пугают голоса,
дымы отечества горьки как самосад.
Тихонько слышится, хоть я молчать велю:
о, память горькая, как я тебя люблю!

На зимние квартиры

1.
Мед осени пугливый яд
Отпив, отчизна умирает
С собою тихо забирает
Детишек, девушек, солдат.

Светлана Михеева родилась в Иркутске в 1975 году. Закончила Литературный институт им Горького. Публиковалась в «Литературной газете», журналах «День и ночь» (Красноярск), «Пролог», «Сибирь» (Иркутск), «ШО» (Киев), в альманахах «День Поэзии» (Москва), «Зеленая Лампа», «Иркутское время». Дипломант Волошинского литературного конкурса 2010 г. (проза, поэзия), участник X Форума молодых писателей. Член Союза российских писателей. Автор книги стихов «Происхождение зеркала» (2010).

Тоща, бесцветна и бедна
Среди пастушек Фрагонара,
Изгибами мостов и арок
В чужого мужа влюблена.

Глядит в предсмертные очки,
На ящички, на сундучки,
На малость пуговицы медной.
Свистят в петличках сквознячки.
Гремят стальные башмачки,
Набат и песенки победны.

2.
Выпытывая красоту,
Ведь расставанье предстояло,
Впадая в звуконемоту,
Мы прятались под одеялом.

Мы видели ее одну
В смертельной разноцветной вате.
Мы видели ее одну,
Захлебываясь на кровати.

Ты представлял ее вдовой,
От сладкой тяжести робея.
Но тот – пока еще живой
В змеиных пальцах брадобрея.

Но тот – пока еще судьба
На смеси воздуха и вздора,
Осиновая голытьба,
Белорубашечная свора,

Мотается, стучит в стекло
Кровавое мурло холопа.
Заманчивое ремесло –
Размазать ржавчину и копоть,

Напить, наесть, разбить, раздать.
Опустошенье и рутина
Любить раба. А господина –
Немыслимая благодать.

***

Черной водой письменного стола,
Черной вдовой письменного угла
Вечер бродит, вечер горбат и крив.
Солнце фонарщиком щупает фонари.

Вишен пылающих сборщик, садовник чужих садов,
Вечер бродит хмелен, болтлив, бордов.

Легкий, гибкий кто-то шуршит вокруг,
Не открывается и не берет из рук.

На чердаке похоже с позавчера
Трутся в засаде бледные мусора.
Призраки машут им крыльями, пыль круша –
Чья-то живет и двигается душа,
На чердаках, где, древен и голубин,
Мир достигает верхних своих глубин.

Ликом не ясен, кто-то плаках, седох.
Кто-то легок, легче чем птичий вдох.

Не поцелуй, чешуйка, вдавленная в смолу,
Робкий отрок, уснувший в своем углу,
Мог бы вдруг поддаться, открыться весь,
Обрести очертания или вес.
Верх покинет, телом дрожит во рву,
Где садовник лелеет свою траву.

И трава почувствует, горяча,
Нежность ладони и твердость его плеча.

Из путешествия в город Владимир

Бог воздуха проник во двор
И, слышишь, окна заиграли
На звонких скрипочках петель,
На круглых пальчиках щеколд
Защелкали, защекотали.
Запел, запел проем дверной
О-о-о языками колоколен,
Протянутыми в мир иной,

А-а-а яблоками в синеве,
зловещим пятнышком в траве,
звеневшей: мальчик, будет больно.
И хор тянул: божественно-о-о! –
Раскидисто и хлебосольно,
Басами ухая: живее-е-е!
Под розовыми облаками
Сжимались маковки церквей
младенческими кулачками.

Песня о родине

Май вампиром сосет синеву вышины.
Мы с тобою меж этих глотков не слышны,
В животе у бездонной природы.
Только дворники слякоть сгребают окрест
Этих темных, ушкуйных, пронзительных мест,
Где слагаются тьмы и народы
В выразительный кукиш, в кафе «Первомай»,
У стоянки блестящих цветных колымаг.
Словно Ева артерии вскрыла
Омывают дороги потерянный рай,
Дорогая моя, ну признай же, признай, –
Ты меня никогда не любила.

Как бы выкормыш мая, лиловый сугроб,
Пробирался сквозь вербные ветки озноб,
Выводил на нечистой бумаге:
Петушки и поднятые воротники,
Ты меня ощущала как тяжесть руки,
Пеленала в озябшие флаги.
Ты меня ощущала как боль в голове,
Как живой, шевелящийся сгусток и вес,
И ломала, и мелко дробила.
Одичавшая мать, не имея стыда,
Ты меня не любила нигде, никогда.
Да, наверное, не за что было.

О, слезливые женщины – почва страны!
О, мужчины – рубашки, ремни и штаны!
О, плоды первобытного мая! –
Вырастали из детских стихов и грехов
Как луна вырастала между лопухов,
Материнские кости ломая.
И стреляясь на липком осеннем снегу,
И рожая здоровых детей на бегу,
И отчаянно в космос сигая, –
Пусть твое безразмерное сердце молчит –
Пролетарская косточка дробно стучит:
Я с тобой навсегда, дорогая.

Ната СУЧКОВА

ПТЕНЧИК

***

Ну вот они, твои поводыри:
один – босой, худющий нестерпимо,
расчёсывает сладко волдыри,
ошпаренный кипящею крапивой.
Вторая – слёз фасетный отпечаток,
дороги эти поросли быльём –
большая черно-белая овчарка,
набитая, как ватою, репьём.
Ведут: забор, увитый повиликой,
колхозный сад, казённый небосвод,
где ты когда-то воровал клубнику,
хотя своей был полный огород!
Наверняка – чтоб видели в сторожке,
в земле и в сладком – липкая рука,
и представлял, как остро пахнет кожей,
солдатский дедовый ремень из сундука.
Петлял, как заяц, забирал правее –
брат чертыхнётся, бабушка – вздохнёт –
хотя бы так, раз не дадут примерить,
хотя бы так – пусть пряжка обожжёт!
Через забор, увитый повиликой,
чтоб завтра предъявить всем на пруду,
синяк на правой белой половинке,
похожий на солдатскую звезду.

***

Шепчет что-то своей кузине,
а твоей, стало быть, сестре,
ты же в круглых очках на резинке,
как обычно, на самом дне.
В их девчачьем чудном наречьи,
не понять ничего никак,
ты же с книжкой библиотечной
абсолютный опять дурак.
В затонувшем бесславно штампе

Ната Сучкова родилась в Вологде в 1976 году. Редактор и издатель выходившего в Вологде с 1997 по 2002 годы литературного альманаха «Стрекоза». Стипендиатка Русского ПЕН-центра и Фонда Альфреда Тепфера (Германия) 2000 года. Публиковалась в журналах «Арион», «Новый мир», «Октябрь», «Новая юность», «Дети Ра», альманахах «Илья», «Вавилон», «АлконостЪ», антологиях «Время Ч», «Нестоличная литература», «Девять измерений» и др. Автор книги стихов «Лирический герой» (Воймега, 2010). Член Союза российских писателей.

на странице, ну да, семнадцать
с длинноухой дурацкой шапкой
и на мостике капитанском.
Слёз солёных полны очки,
и по стёклам волну гонит крейсер,
всхлипни, шмыгни, еще раз прочти –
и замри, и умри, и воскресни.

***

это не просто считалка, игра –
воздуха поцелуи,
ходит чужой, из чужого двора
с баночкой из-под шампуня.

выдоха мыльные пузыри
в радужных бликах на солнце,
у моего – все дрожит внутри,
и там, где тонко, рвется.

вот я несу его в мокрой руке,
точно синицу мертвую, прячу,
и это все – о тебе, о тебе,
и не пытайся понять иначе.

***

Ночью приснится тебе музей,
зверь краеведческий, тигр саблезубый,
только барашков бессонных успей
ты от него под подушку засунуть.

Все пересчитаны, сложены в ряд
– жутки полоски матраса! –
вот они тут, под подушкой, сидят
только один – потерялся.

Здесь новогодний у них карнавал,
сон твой парит дирижаблем,
только барашек один упал
из рукава пижамы.

Утром проснешься – мурлыкает кот,
свесилось небо в окошко,
а по нему потеряшка идет
в розовых тоненьких рожках.

***

Когда твоя девушка спит, то её обнимает лисёнок,
набитый крупой синтетической, точно искусственным снегом,
он так обнимает её, что бывает почти человеком,
с блаженным, как сон, выражением морды весёлой.

Когда твоя девушка спит, то её обнимает лисёнок,
он глаз не сомкнёт, он таращится в темный простенок,
он помнит забытое ею из утренников и сценок,
он кашей детсадовской пахнет тревожно спросонок.

Когда бы он мог, она ела одни шоколадки,
солёная хрунка, зелёнкой набухшая ватка,
и ты никогда бы не сделал ей больно и сладко,
не больно – не больно, не сладко – не сладко – не сладко.

***

Ты мне говоришь: посмотри, у зимы в рукаве –
невзрачный зайчишка, растрепанный мех – балахон.
Что можно почувствовать в этом, прости, барахле,
застегнутом, тесном и толстом, как синтепон?

Ты мне говоришь: посмотри, в рукаве у зимы –
бельчоночий хвостик, цигейка, кусочки ватина,
а девочки в стрингах все время возбуждены,
не так, чтоб мешало, но, в общем, вполне ощутимо.

Затянуты лямочки, город, как коридор,
никак не понять – она их целует или уже кусает? –
вот выпал из рукава перетрухнувший зайка,
и убегает, белый, во весь опор.

***

Эти длинные-длинные эти ситцевые облака,
это солнце, что пело вам,
эта девочка сделана из сгущенного молока,
до чего она белая!
С этикеткой джинсовой сухонского м.к.,
с голубою заплаткою,
эта девочка сделана из сгущенного молока –
до того она сладкая.
Мутный берег кисельный плывет и дрожит,
и над кухней походною
вьется сладкий дымок, точно старенький джин
с голубою бородкою,
и спускается вниз, где густеет вода,
сквозь палатные колышки,
где ее для тебя, как всего и всегда,
остается на донышке.

***

пока кто-то там где-то там тебя поджидает
у тебя на шее голубая рыбка живая, голубая жилка живая.
я тебя слишком сильно к себе прижимаю,
но в тебе, как в воде, очень быстро все заживает,
и любая вода под прозрачными плавниками,
не прикасаясь к тебе, сквозь тебя утекает.

голубая рыбка бьется, дрожит, мелькает,
ее можно поймать на сбившееся дыханье
невесомым выдохом, сохнущими губами
или просто голыми, точно вода, руками,
отделив от других – всего лишь пока мальков,
ее можно поймать, ее можно поймать – легко.

рыбка, рыбка, чудесная рыбка моя,
голубая форель, серебро на солнце,
как не пораниться о тебя,
не уколоться?

Птенчик

1.
Мне не найти тебя – город становится лесом,
сквозь черепичные крыши трава прорастает,
мой оловянный солдатик застыл у подъезда
у твоего – на своей пограничной заставе.

Вот он пошел, как по нитке, лампасы – продольны,
дышит на руки замерзшие, чувствует холод,
и проявляется медленно на ладони,
как полароидный снимок размазанный, город.

Он здесь поставлен – тебя не посмеют обидеть –
ангел-воитель, нет больше заставы картонной,
выцвели руки его, и лампасы, и китель,
стерся со снимка квадратного призрачный город.

Город становится морем – деревья качает.
Стой, оловянный мой, не отступи, мой бесстрашный!
Мне не найти тебя, разве – увидеть случайно
в старой беседке у тонущей пятиэтажки.

2.
Птенчик мой, птенчик, пташечка,
– кренится легкая палуба –
бьется под тесной рубашечкой,
бьется, поет так жалобно!
Над невесомой бездною
не удержать в горсти,
рвется в силки небесные,
жалится: отпусти!
Вот над бездонной прорвою
замер на миг, паря,
видишь, там небо порвано,
видишь, остры края!
Точно открытка с видами

берег, и над водою –
белое мясо куриное –
облако молодое.

3.
Как мне такое тебе достать?
Ну же – волшебное слово!
Пусть оно падает на асфальт –
легкое – невесомо,
вылетит мелкой птичкою,
птенчиком – под нажимом
небесного электричества
простого непостижимо.

4.
Смотришь на город далекого детства –
видишь какие-то мутные пятна:
грязные пятна площадки футбольной,
желтые пятна, зеленые пятна,
чувствуешь только, что жил по соседству –
все расплывается в этом пинхоле,
на этой пленке невероятной.

Если поставить их по порядку:
желтые пятна, зеленые пятна,
грязные пятна футбольного поля,
пятна пыльцы на обеих ладонях,
пятна пыльцы на обоих коленях,
жирное пятнышко на обоях –
все еще более непонятно.

Но наступает новое утро,
где все – взаправду, но – как захочешь,
не понарошку, а просто – мутно,
где ты, хохочешь, веселый зачинщик,
где ты смеешься, коварный обманщик,
где одуванчика колокольчик
и колокольчика одуванчик.

5.
В этом закрытом чужом альбоме
Будет единственно правильным
спрятаться в мутной на мониторе
фотке из летнего лагеря,
где у тебя очумительный вид,
где горизонт завалился,
где не болит, не болит, не болит,
ну, или ты притворился.

Янис ГРАНТС

ЧЕРЕП

Рассказ

Эдик

Мне 12 лет (тогда было 11). Я учусь в пятом классе (тогда учился в четвертом). Ну, ничего особенного в моей жизни сейчас не происходит (вот тогда творилось черт-те че!). Ровным счетом ничего. Разве что можно похвастаться: восьмой уровень я преодолел неожиданно быстро, а все наши застряли на нем, как в трясине. Стрелялка эта, конечно, суперская, но родители не дают мне играть долго. Пятнадцать минут в день, говорят, это медицинская норма, а иначе голова будет кружиться, глаза – слепнуть, а мозги – кипеть. Меня, конечно, не проведешь: я знаю, что это все выдумки. Но приходится подчиняться, потому что мои родители – люди умалишенные, и мне надо о них заботиться. Забота моя заключается в том, чтобы в открытую ни маме, ни папе не перечить, со всеми их доводами соглашаться, а потом (втихую) делать свои дела. И делать их так, как я считаю нужным. Со стрелялкой – именно такой случай: официально я воюю с монстрами пятнадцать минут в день, а взаправду – и час, и даже больше. Что еще? Ну, на коньки я встал в этом году впервые. Чуда явно не случилось – заправским фигуристом я не стал. Зато поехал вполне сносно, гораздо лучше папы (он падал, как неприлично пьяный человек). Учусь я так себе: троек немного, в основном четверки. Даже пятерки. Двоек нет. Мне и тройки-то с оглядкой ставят после того, что с Русей случилось. Руся, Руслан – это брат мой. На два года старше. Ага, был бы старше. Русю ровно год назад мы похоронили.

Метель еще была – жуткая. 22 января. Будто бы природа (как это часто пишут) сопротивлялась происходящему. За всю зиму такой вьюжной погоды не случалось. Пурга. Да и снег особенный – будто бы ледышки с неба слетали и в щеки впивались.

Вот говорят, что брат – это что-то особенное, что его кожей, что ли, чувствуешь, переживаешь за него как-то по-кровному, любишь и все в этом роде. У нас с Русей не так было. Он лупил меня почем свет стоит. Я никогда его за это не прощал. Я ему дневник зеленкой заливал, шнурки от ботинок прятал, его зубной щеткой пол в ванной подметал. Не было у меня к нему никаких братских чувств, он у меня только раздражение вызывал. Еще: мне учителя при случае выговаривали, что старший, мол, и пособразительнее будет, и поответственнее. Одна девочка в классе тоже предельно откровенно высказалась: вот если ты был бы таким же симпатюлей, как твой старший брат, было бы о чем речь вести. А так, мол, мне все твои ухаживания по барабану, даже не по барабану, а досаждают. Родители Русю больше любили – это тоже факт. Ему, значит, деньги на карманные расходы, а мне – шиш на постном масле. А почему? А по качану! Руся, видите ли, именно сейчас переживает некую *скачковую фазу*, которая заключается в резком взрослении. То есть я как был, так и остаюсь мальчишкой-штаны-на-лямках, а братец вот-вот превратится

Янис Грантс родился в 1968 году во Владивостоке. Учился в Киевском государственном университете, Киевском училище связи, жил также в Кирове и Архангельске. Публиковался в журналах «Волга», «Крещатик», «Дети Ра», «Знамя», «Урал» и др. Автор сборника стихов «Мужчина репродуктивного возраста» (Челябинск, 2007). Лауреат первого фестиваля литературы малых городов им. Виктора Толокнова (2006), региональных поэтических фестивалей «Новый Транзит» (2006), «Глубина» (2007), «Человеческий голос» (2007). Участник поэтического семинара «Северная Зона». Лауреат Первой независимой литературной премии «П» (Челябинск, март, 2009).

в юношу со всеми вытекающими отсюда последствиями. А юноша не может ходить без гроша в кармане. Логика так себе. Меня, правда, успокаивали, что до моего *скачка* всего-то-навсего два года осталось. Потом Русе гулять разрешили на час дольше моего. Ну, и много еще чего. Конечно, из всего сказанного не стоит думать, что я Русе смерти желал. Вовсе нет. Ну, иногда. Изредка. Понарошку. И вот его нет. Я знаю, что вины моей – никакой, а все равно себя спрашивал первое время: не я ли недоглядел?

Тамара

Я схожу с ума. Я смотрю все голливудские истории по телевизору. Эд Харрис. Эштон Катчер. Элайджа Вуд. Я знаю всех актеров. Джош Харнет. Джуд Ло. Кристиан Слейтер. Я забываю всех актеров. Патрик Суэйзи. Джеймс Белуши. Джереми Айронс. И вот когда я забываю всех актеров, я готова повеситься на шнуре от утюга. Ричард Гир. Шон Пенн. Аль Пачино. Вот на экране закуривает смазливый крепыш. Брэд Питт. Том Круз. Микки Рурк. Еще три минуты назад я знала его имя, его жену, его фильмографию и статью, за которую он впервые был привлечен к общественным работам. Итан Хоук. Харрисон Форд. Эдди Мерфи. Но три минуты растаяли бесследно, оставив меня наедине с дырявой памятью. Хит Леджер? Киану Ривз? Мэтт Дэймон? Вот и сейчас – этот смазливый крепыш на экране. Боже, о чем это я?

У меня был мальчик. Светлый. Кучерявый. Голубоглазый. Тринадцати лет отроду. И вот нет у меня мальчика. Нет, я-то не верю, что его больше *вообще* нет. Его нет рядом со мной. Милиция искала. Я с ног сбилась. И что же? А ничего. Какие-то старушенции из дома напротив видели, как мой мальчик завернул в подъезд, перед которым они точили лясы, потом помахал им с крыши. Дальше – сел в летающую тарелку и исчез. Но это же не объяснение его пропажи. Это – диагноз. Какие такие тарелки летают над Челябинском средь бела дня и воруют тринадцатилетних мальчиков? Дональд Сазерленд... Вэл Килмер... Эван МакГрегор... Простите. Опять этот Голливуд воду мутит. Никак не могу вспомнить фамилию того курящего крепыша из эпизода на пятнадцатой минуте.

И вот, когда пропал мой мальчик, что-то неладное стало происходить с остальными. Муж объявил, что он – череп, что он украден из школьного кабинета биологии и приставлен к чужой шее. Гусиной. Вечерами он кружил по нашей хрущобе и повторял: «Вот череп на гусиной шее вот череп на гусиной шее вотчерепнагусинойшее»... «Ниоткуда ты не украден, – я пыталась быть спокойной и рассудительной. – Да и шея никакая не гусиная. Твоя шея». «А череп?» – не унимался он. «А что череп? Нормальный, идеальной формы череп. Ну, может, в последние годы стала заметна лысина на затылке. Так не ты один лысеешь. Когда мужчине под сорок, это нормально», – я пыталась быть спокойной и рассудительной. Я и представить тогда не могла, насколько все серьезно.

Оказывается, он и впрямь посчитал себя черепом на гусиной шее. То есть ему почудилось, что волосы с головы выпали, а последние островки кожи отшелушились.

Виталий

Тамара сошла с ума. Она сходила с ума постепенно, не торопясь, будто сверялась с каким-то утвержденным сверху планом. А там, наверху, не очень-то одобряется перевыполнение, поскольку скоропалительность грозит издержками: качество страдает, появляется почва для приписок, подлогов и шкурничества.

Вообще-то она всегда была бойцом. И когда приемщицей в ателье работала, и когда стельки на обувной фабрике строчила, и позже – когда стала «ИП МАНАКОВА Т.В.». Вязала себе и вязала

шапочки и шарфики. И была первоклассной надомницей: и продукцию сбывала без проблем, и щи в кастрюле не переводились. А пыль там всякую, грязь она не переносила вовсе. На генетическом, говорила, уровне. Впрочем, один пунктик нашу жизнь отравлял. Ну, отравлял – хлесткое слово. Не отравлял, конечно, но мешал временами. По субботам. По субботам Тамара впадала в транс от предвкушения. Дело в том, что сызмала она писала стишки. Длиннющие такие поэмы о нелегкой женской доле, где каждая строчка была расцвечена увесистыми метафорами, гиперболами и прочей литературной шелухой. По воскресеньям Тамара ходила в клуб, где ее называли не иначе как «наша Цветаева». «Вообще-то, – говорил я ей, – Ахматова была бы предпочтительней. Доля ей, конечно, досталась туда-сюда, но хоть до самоповешения тетку не довели». «Ты ничего не понимаешь, – отвечала жена. – Цветаева та-лант-ли-вей!» Да-да, именно так, по слогам и вдалбливала в меня очевидную истину. Ладно. Бог с ним.

Субботние вечера выдавались наэлектризованными, театральными, что ли. Примерялись платья, бусы и заколки; выбирался цвет помады и теней. И все для того, чтобы назавтра «быть на уровне». А поскольку выбор был не очень-то и богат, то в дело шли обзывательства, тычки и слезы. Мол, муж не может два раза в месяц достойно снарядить жену на литературное сборище. Мол, она даже трех сумочек не имеет в то время, как эти серости и бездарности щеголяют обновками всякий раз.

Что до стихов, то они выходили у Тамары напыщенными и лживыми, мертвыми от первой и до последней буквы:

Я высекаю искры звездных фраз,
Сплетаю нить душевного движенья,
Чтоб возродилось подлинное в нас,
Чтоб воссияло негой жизнь-горенье.

«Не будь дурой! – говорил я ей. – Тут непонятно: из чего ты всю эту лабуду высекаешь и сплетаешь. Да и две следующие строчки явно не блещут изяществом». «Ты просто завидуешь», – огрызалась моя Цветаева. Ну, кто бы сомневался.

Тамара нетерпимо относилась к замечаниям в адрес своих липовых произведений. А поставить под вопрос наличие у нее таланта было равносильно самоподписанию смертного приговора.

Жена зарабатывала вязанием, продолжала строчить свои стишки. Отправляла их во всевозможные толстые и электронные журналы. Редкие ответы издателей не оставляли от наследия Тамары ни одной занюханной строчки. Это вселяло в нее уверенность, что литература и есть ее истинное призвание. «Наперекор вонючей редактуре», – любила повторять моя Цветаева. Ну да это в прошлом. Сейчас мне с вахты принесли письмо от нее, где черным по белому написано, что она не теряет надежды найти Руслана. Какого такого Руслана? Об этом в письме – ни слова. Дело в том, что никакого «нашего Руси» я в глаза не видел. Эдик – да. А Руслан – это фантазия Тамары. Даже – наваждение.

Эдик

Ну, теперь-то мне 12 (тогда было 11). А Русе через три дня стукнуло бы... Да что там говорить, если ничего не вернешь. А в тот день Руся, тринадцати лет отроду, застрелился. Взял папину «сайгу». Засунул дуло в рот. И привет. А в чем собственно дело? А в том дело, что папа хорошенечко взбучил Русю за тройку по математике. А братик мой папу то ли неправильно понял, то ли – наоборот – правильно. Значит, мне 11. Папе – 33. Маме на год больше. Можно сказать, жизнь и не начиналась еще, а уже – трупный запах. И все себе места не находят. Все семейство готово свои мозги «сайгой» разнести. Папа – за рукоприкладство, да и за то, что ключ от сейфа так легкомысленно хранил в ящике письменного стола. Мама – за папу, да и за то, что стояла в очереди за этими цыплятами, будь они неладны. Ну, подешевле, ну, с фирменного фургона, ну, без всяких

отравленных добавок – а вот приди она на двадцать минут раньше, жив был бы Руслан. Я тоже себя чехвостил почем свет. За то, что на тренировку по каратэ сбежал. Ни математика, ни каратэ в жизни не нужны – любому уроду понятно. Может, и жизнь-то – штука лишняя. Но раз уж дана, то дана. А брат... Подумать даже страшно. Ничего не успел. Одними поллюциями развлекался.

Через неделю после похорон, когда мы стали маленько приходить в себя, заявилась учительша. Пришла она ближе к полуночи. Дверь я открывал, и поначалу мне показалось, что она пьяная вдрабадан. Уж больно она руками неестественно размахивала. Можно, говорит, я пройду. Позови, говорит, родителей. Ну, усадили ее на табуретку в кухне. Она вдруг пепельницу захотела. Я еще отметил: она не разрешение на курение запрашивает, а именно пепельницу. И это меня окончательно вывело. Я из кухни дал драпака, а дверью так хрястнул, что стекло посыпалось. «Надо ж, пятнадцать лет это стекло в двери пылилось – и хоть бы хны», – только и сказала мама. Ну, я вызвался пол подмести и пожалел уже, что перед этой убийцей сцены разыгрываю. Учительша закурила, затянулась раз-два и... И тут будто прорвало ее. Она затараторила, что поставила Руслану липовую тройку, ну, типа в воспитательных целях, что потенциал брата значительно выше, что она вполне могла бы поставить четверку, будь он двоечником с последней парты, но в том-то и дело, что Руслан никакой не двоечник. «Хватит! – прервала ее мама. – Если у вас больше нечего сообщить нам, то вот вам бог, а вот – порог. Да даже если и есть что сказать – то все равно выметайтесь отсюда».

И разрыдалась.

Второй разрыдалась учительша.

Ну уж нет, подумал я, и тоже разрыдался.

А папа закурил. Дымящим я его отродясь не видел.

Теперь-то мне ясно: учительша ни при чем. Но это теперь. А тогда я вынашивал планы вечного мщения. Ну, почтовый ящик планировал поджечь уже через пару дней. А дальше – и звонок соленой водой можно залить, и ручку двери солидолом обмазать, и собачье дерьмо на коврик перед квартирой выложить. А, вот: на стенах подъезда я планировал намалевать про ее любовь к женщинам. Ну, и то, что она СПИДом больна. Да, теперь-то мне ясно: учительша тоже на рельсах слегка пошатнулась. Молодая же тетя, никто и никогда еще в ее практике из-за какой-то текущей отметки не сводил счеты с жизнью, а тут – на тебе. И вот она представила, что отныне и навсегда при любом ученическом ответе в нее будет целиться охотничье ружье. Это ружье будет сопровождать ее на работу и домой. Это ружье будет неотступно рядом с ней в продуктовых и галантерейных лавках, а временами – и вовсе на соседней подушке вместо головы несуществующего мужа. Конечно, учительша тронулась. И после первых дней скорби и замешательства она поняла, что должна все-все-все растолковать семье погибшего. Повиниться. Признаться в убийстве. Возможно, принять мученическую смерть.

Так мы стали пунктиком в судьбе этой слегка тронувшейся. Будто мы в ней нуждались. Будто сами не скопытились со своих орбит.

Тамара

Когда Руся пропал, Виталий только и делал, что нажимал на кнопки. Каждые три секунды на экране телевизора появлялась новая картинка. (Брюс Ли. Чарли Шин. Роберт де Ниро). Этот калейдоскоп, оказывается, жутко действует на нервы. А еще – тошнота подступает. Но Виталию было не до тошноты. Его голова была занята чем-то своим, а пальцы действовали автономно, как запрограммированные. В конце концов я вырвала пульт у мужа и хрястнула его о стену. Пульт, конечно, рассыпался, а вот на обоях царапина осталась. Жалко обои. Германские как-никак. (Тоби Магуайер. Кларк Гейбл. Шон Коннери.) Потом муж сходил «проветриться», а вернулся в сильном возбуждении, прижимая к себе четыре флакона шампуня «Шампунь». «Смотри, – сказал он мне, – вырежем эти пластиковые штрихкоды и получим награду: плоский телевизор, домашний

кинотеатр, а то и джип «Мицубиши паджеро». «Ага, полную жопу огурцов мы получим, а еще – барабан на шею. И возглавим факельное шествие идущих на хрен!» – ответила я. Обычно в таких случаях он прыскал, а тут – посмотрел на меня как на легкого дауна и сказал: «Ты не поняла! Джип разыгрывают!» (Том Хэнкс. Омар Шариф. Майкл Дуглас). Джип-джипом, но полоски не вырежешь, пока шампунь не переведется. Напрасно я предлагала слить жидкость из всех флаконов в какую-нибудь емкость. Отправили бы эти кусочки пластика разом да и забыли. Но Виталий сказал, что процесс должен идти естественным путем. Что ж. (Клинт Иствуд. Билл Мюррей. Пол Ньюмен.)

И вот тут началось. Он стал мыть голову по четыре раза на день. Навязчивая идея с дармовым джипом вытеснила из его памяти и Руслана, и Эдика, и меня. При каждом удобном случае он проскальзывал в ванную комнату и бултыхался там часами. Все остальное время уходило у Виталия на зеркало. Он щупал подбородок и лоб, трогал мочки ушей, лохматил шевелюру. Перед сном делал какие-то записи в тетрадку, которую до поры-до времени прятал в неизвестный тайник. Тайник я, конечно, нашла. (Джим Хэкмен. Алек Болдуин. Чарльз Бронсон.) В тетрадке не оказалось ничего, кроме сухой констатации: волосы редеют, щетина не растет, щеки краснее обычного. По мере расходования шампуня менялись и детали внешности: волосы выпали, кожа на лицевой части отслаивается, вот-вот отпадут уши.

Мурашки по коже от всего этого. Он, получается, действительно вообразил себя черепом на гусиной шее? Но ведь это невозможно! Я выходила замуж за совершенно здорового парня. Наши дети растут умненькими и толковыми во всем. Точнее, росли. Точнее, один все еще растет, а второй никогда уже не вырастет. Нет, вырастет. Не может же он исчезнуть совсем-совсем бесследно. (Харви Кейтель. Джек Николсон. Энтони Хопкинс.)

Однажды я вернулась с творческой встречи и нашла мужа лежащим на кафельном полу ванной, без сознания и с отрезанным ухом. Крови – по колено. Он покалечил себя, потому что «никаких ушей у него и не было; вообще-то были когда-то, но за ненадобностью они отпали сами собой». Первое, что он сказал, когда его реанимировали, было: «Вот череп на гусиной шее, вот череп на гусиной шее, вотчерепнагусинойшее». Мне пришлось принять срочные меры. Виталик оказался сговорчивым, и будто даже обрадовался тому, что теперь его будут лечить и днем, и ночью. И джип, если что, обещали поставить прямо под окнами его палаты. Оттуда уж точно не угонят. (Роберт Дауни-младший. Кьюба Гудинг-младший. Сильвестр Сталлоне.)

Виталий

Неизвестно, когда Тамара потеряла интерес к вязанию. Кто-то (о пучеглазом очкарике я тогда еще не знал) напел ей о непреходящем таланте. Ну, о том, например, что расходовать свой бесценный потенциал на всякие там чепчики для младенцев и жилетки для офисных придурков – преступление. О том, например, что человечество не простит ей молчания. Что ее стихи – бриллианты на фоне глинозема. Да мало ли чего мог напеть ей пучеглазый очкарик! Ямбы и хореи волновали его меньше всего. Плевал он на стихи с высокого фасада! В свои сорок пять пучеглазый был вдовцом со стажем, открывшим один закон: искать мимолетных или даже длительных отношений надо не на вечерах «кому за 30» и не на сеансах в кино, а в клубах по интересам. Он уже запал на одну шатенку на вечерах аргентинского танго, мысленно подобрал себе в сожительницы скуластую даму на курсах обучения компьютерной грамоте, но больше всех нравилась пучеглазому она – поэтесса.

Неизвестно, когда Тамара почувствовала интерес к новоявленному ухажеру. Я-то ничего знать не знал, догадываться не догадывался.

Трепет в каждой точке-росинке,
В бабочке крылатой – знаменье.
Родину – девицу в косынке –
Жду всегда в своих сновиденьях.

«Не будь дурой! – говорил я ей. – Приглуши барабаны, спрячь свои *знаменья,* ведь речь идет о чувствах! А девица в косынке? Тебе снится Родина в образе проститутки с трассы Меридиан? Лучше вообще выкини эту дрянь в мусорку». «Ты просто завидуешь», – огрызнулась жена. Как же я не заметил, что в стихах (пусть некстати, пусть коряво) появилось волнение, даже – предчувствие каких-то хороших перемен? Пропал скрежет железа, появились бабочки. Этого в дрянном наследии Томы отродясь не водилось. А тут – будьте-извольте. Субботние вечера теперь выдавались поспокойней. Нет, жену по-прежнему зудило и трясло, но в мой адрес не выпускалось ни одной стрелы. Как будто она поняла, что бессмысленно заставлять меня виноватиться. Что тратить на меня свои нервы и время – себе дороже.

Далеко не сразу я заметил, что сеансы стихотерапии стали затягиваться, и Тамара приходила домой поздно, а временами и слишком поздно. Со мной она вела себя дружелюбно и как-то снисходительно. Я нерешительно протестовал, что ребенок на выходных лишен материнского внимания, на что получал неизменное: «А папочка на что?» Припозднившаяся поэтесса целовала спящего Эдика и уединялась со своими бумагами на кухне («Вот, дали на рецензию, голова раскалывается от их глупых стишат, так и до разжижения мозгов недалеко»).

Однажды в октябре я решил встретить Тамару после заседания литклуба, чтобы вместе прогуляться по неоновому центру и забрать Эдика со дня рождения друга. Помещение клуба находилось на Советской, Эдик поедал пирожные на Красной. Пятнадцать минут – и вся семья в сборе. И не припомнишь, когда же в последний раз мы оказывались втроем в центре мегаполиса. Может, и случаев-то таких не было. Да нет, были, конечно. Давно только.

Я остановился напротив здания, первый этаж которого занимал ЛИТСОВЕТ (так, кажется). Я стоял под козырьком блинной «Хармс» и курил. Не потому что хотелось, а потому что курение здорово сокращает время ожидания. Но ожидание затягивалось. Я уж хотел было зайти в блинную, чтобы наблюдать за дверью литсовета из теплой и уютной засады, как они появились на крыльце. Сомнений не было: пучеглазый лапал мою жену, шептал ей что-то в самое ухо. Она ржала и мотала головой как запыхавшаяся лошадь.

Обманутые мужья как правило калечат и даже убивают обидчиков. Но я не бросился вслед счастливой паре. Я даже с места сдвинуться не мог. Мои подошвы будто приклеились к асфальту. Мне подумалось, что догони я жену и ее хахаля, то мы все втроем попадем в неловкое положение: набычившийся муж, смущенный ухажер и Тамара. Эта и вовсе может рассмеяться мне прямо в харю. Меня обидели. Унизили. Обокрали. Я разряжу в нее все патроны, хранящиеся в сейфе. Я оглушу пучеглазого. Свяжу его. А когда он придет в себя – порежу его на лоскутки. Да. На лоскутки.

Вспомнил про Эдика. Сидит, бедный, ждет родителей. Гостей уже разобрали по домам, на кухне бренчат посудой. Эдик лениво перелистывает какую-нибудь подарочную книжку, и крошки песочного теста прилипли к его щеке.

Парочка скрылась за поворотом. Я закашлялся. Закурил сигарету со стороны фильтра. Чертыхнулся. Закурил другую. Надо забрать Эдика.

Сын тараторил без умолку: что-то про подгоревшую картошку, испачканный ковер и глупых клоунов. «Пап, ты чего?» – спросил он, когда ключ не попал в скважину с третьей попытки. «Да-да, клоуны», – ответил я.

Так вот, в тот день больше ничего не произошло. Почти ничего. Я просто решился на рядовое убийство. Взял нож. Настоящий тесак. Пошел в спальню. Посмотрел на спящую «Цветаеву». И... вернулся на кухню. В конце концов она тоже не в себе. Наше счастье осталось где-то за спиной. Наши карманы оттянуты булыжниками безысходности. Над нашими головами – оцепеневшее время. Это как раковая опухоль: жрет здоровые клетки и не знает, когда прикончит последние. Вот и мы умерли. Но когда – неизвестно. Когда-то в будущем.

Меня давно звали в Новосибирск. «С твоей квалификацией, хваткой, опытом нечего делать в сонной Челябе», – говорили мне. И я поехал. Живу в общаге. Исправно отправляю деньги на нужды Эдика, который теперь живет со своей бабушкой – матерью Тамары. От Тамары я получаю письма. Простые рукописные письма. В них – ни слова правды. Это сочинения на тему обманутых надежд и нереализованных ожиданий. Ну, литературная слава – это еще полбеды. Но откуда взялся сын Руслан, которого никогда не было и которого из письма в письмо оплакивает бывшая жена? Вот, почитайте:

Тамара

Я вхожа в квартиру Поэта с Большой Буквы и на дачу Современного Выдающегося Писателя. Меня, конечно, недолюбливают другие соискатели. Да и коллеги по литературному цеху в местном отделении Союза меня тоже недолюбливают и за глаза называют кто горгоной, а кто медузой. А все за талант. Да-да, стоит только поднять голову над этой болотной тиной – на тебя ополчатся сто бездарностей, считающих себя исполинами. Но мне-то что? Я лауреат большинства Русских Престижных Премий, я не имею времени на всякого рода выяснения отношений. По моим стиходрамам поставлены спектакли в Сибири, Волоколамске, Ганновере. По моему роману будет снят полнометражный художественный фильм «Горе, да не Федорино». И – по моей поэтической книжке «Негде расстаться» в Мурманске защитили докторскую диссертацию. Звонки звонят отовсюду – мол, приезжайте почетным гостем. Мол, знаем, что вы на вершине литературного успеха, но хоть на денек словотворчество бросьте. Толстые журналы воюют за право первой публикации. Творческие вечера – ежемесячно: полные залы, цветы, овации.

Если б Руслан не сел тогда в летающую тарелку, он был бы счастлив: мама – звезда XXI-го литературного века. Видите, я схожу потихоньку с ума, поскольку следствие увязло в версии космического похищения. Они и слышать не хотят о таком допущении, как: Руслан внезапно потерял память; или: маньяк его держит в подвале, насилует и бьет цепями. А еще кое-кто говорит, мол, Руслан свалился с крыши. Не желаю этого слышать. А еще кое-кто говорит, мол, Руслан похоронен на Градском кладбище. Ага, у кремлевской стены – могли бы с тем же успехом сказать еще.

Боль не оставляет. Мой мальчик не возвращается. Литература спасает. Не очень, конечно, но чуть-чуть получается. Ладно, пойду разбирать почту. В день приходит по сто электронных писем.

Как же звали того крепыша из голливудского фильма: Уэсли Снайпс? Вуди Харельсон? Лайам Нисон?

Эдик

Так вот, учительша зачастила к нам с завидной регулярностью. Она приходила каждый вечер. Ей наливали чаю. Ей пододвигали пепельницу. Она делала глоток, делала затяжку и начинала рассказ, каким же Руслан был умницей. Ну, мне 11 лет (теперь-то 12). В тихих и буйных помешательствах я был далеко не Копенгаген. Понять эту молодую жеребицу я не мог. А папа понимал. И мама понимала, что папа понимал. Он все успевал: и горевал, и знаки внимания оказывал. То пепельницу вытряхнет, то чаю подольет. Через неделю все освоились. Я открывал дверь, но уже не провожал Екатерину Петровну на кухню, а шел по своим делам. Мама, бывало, и вовсе не выходила к гостье. Сидела у экрана, щелкала каналы и без конца перечисляла голливудских актеров.

Учительша сама снимала пальто, проходила на кухню, где ее ждал бритый и благоухающий одеколоном папа. А еще через неделю папа не вернулся с работы, да и учительша не нарисовалась ни к восьми вечера, ни к полуночи. «Что за фортель?» – спросил я у мамы. «Он ушел от нас. К ней. Ну, как в той мелодраме Коламбии Пикчерс – помнишь? Там еще этот играет, как его – помнишь?» «Помню», – сказал я и спрятался под одеяло прямо в одежде. Как он мог уйти, когда всем нам так плохо? Как он мог так быстро забыть, что Руся застрелился из его «сайги»? Как он мог

уйти к ней, чья оценка оборвала жизнь его сына? Не-е-е-т, завтра же сожгу ее почтовый ящик. Завтра же. «Дастин Хоффман. Сеймур Хофман. Джозеф Гордон Левит», – слышалось из соседней комнаты.

Все это не могло закончиться более-менее сносно. Детские самоубийства выходят боком всей семье. Мы – не исключение. Когда папа этой зимой водил меня на каток, то сказал по секрету, что с Екатериной Петровной он больше дел не имеет. Их дорожки разошлись, а папа переехал к другой учительнице. «Она у тебя будет преподавать в старших классах. Екатерина Петровна – ее подруга. Ну, была», – сказал папа. Я сразу же предложил ему свою комнату. С мамой этот вопрос я вполне бы мог утрясти. «Спасибо. Нет», – только и сказал он. Сказал и растянулся на льду.

А недавно бабушка забрала меня к себе и объяснила, что я поживу пока у них с дедом. Хочу я или не хочу – меня не спросили. Меня, похоже, и за человека-то перестали считать. «Семья – на военном положении. Некоторые права и свободы ненадолго отменены. Ты уже взрослый. Потерпи», – сказал дед. Хорошо, конечно, сказано, но что все это значит – не понятно. Я вот родителей своих уже месяц не видел. И вообще: как терпеть – так «ты уже взрослый», а как правду узнать – так «это не для твоих ушей». То есть маленький я еще. А я и есть маленький. Я ведь из последних сил держусь.

Дед с бабушкой, видно, на нервной почве перестали секретами своими шепотом обмениваться. Теперь у них очень даже жаркие споры на кухне ведутся. Ну, мне притвориться спящим – раз плюнуть. Я спать лягу. Минут через двадцать бабушка заходит, одеяло по бокам подоткнет и – на кухню. Ну, я следом. Место одно укромное там нашел – чуть ли не под самой кухонной дверью сижу, а заметить меня невозможно.

Бабушка: – И что я скажу? Отец пошел по рукам? А теперь еще и в мертвецы записался? Подавился, что ли? Нелитературно как-то.

Дед: – Вспомнила тоже, литература. Может, дорогу переходил в неположенном месте?

Бабушка: – Может, утонул?

Дед: – Как хочешь, но смерть отца замалчивать нельзя. Эдик ждет его каждый день.

Бабушка: – Зря ждет...

Тут я разрыдался в голос. И ужас, и отвращение, и боль, и досада, и отчаяние обрушились на меня, вытеснили из моих легких весь воздух, лишили света. Я не мог дышать. Я ослеп. Быть такого не может – что папы нет.

Меня отпаивали чаем с медом. Я всхлипывал и пил большими глотками. «А мама?» – спросил я. На глазах бабушки навернулись слезы. Она прижала мою голову к своему необъятному животу и стала гладить меня почему-то от затылка к шее. Живот бабушки пах как палая осеняя листва: сладковато и прело. «Уехала мама. Найдется, дай время. С духовным наставником умотала. Влипла в секту. Пропала там вместе с норковым полушубком и чешской стенкой. Она и квартиру этой банде отписала. И тебя собиралась с собой в Сибирь забрать. Мы с дедом костьми легли. Жизнь ей, видите ли, нужно обустраивать по-новому. Потерпи немножко. Опомнится. Вернется...»

От автора

1. Итак, читатель... Неужели у этой повестушки найдется хоть один читатель? Итак, воображаемый читатель, перед тобой рассказы от первого лица. Тебе ясно только одно: все в этой семейке чокнулись. Кто сразу, а кто – к финалу. Еще (я надеюсь) ты вопросился: кто же из этой троицы говорит правду, а кто здорово привирает. Так вот, все трое нещадно врут. По законам жанра необходима некая развязка, которая расставила бы весь этот бардак по своим полкам. Ну, что ж, будьте-извольте: развязки не намечается. Она просто не входит в авторские планы.

2. Что же входит в авторские планы? Четыре бутылки светлого «туборга», чипсы «лейс» (любые, только не сыр и не морепродукты), салат из морской капусты с отварным яйцом и полуфабрикатные блинчики с мясом от «Блиноффа». Это будет первый полноценный ужин за последние пять дней.

3. За последние пять дней я ни разу не пересекал порога своей хибары. Стряпал, стряпал и стряпал рассказ «Череп». У меня появилось девяносто страниц рукописной чепухи, две пепельницы с вываливающимися окурками и проблема самоидентификации как составляющая моего извечного невроза. С героями рассказа мне явно не повезло. Они улепетывали от меня, как улепетывают в заборную щель пацаны, разбившие старушечье окно. Герои издевались надо мной, как вкусная ловушка издевается над тараканом. Они (в конце концов) ходили под меня, как младенцы ходят под себя. Кто виноват? Пушкин виноват.

4. Пушкин виноват. Очевидно виноват. Как все вышло, спрашиваете вы. Я просто взял с полки «Евгения Онегина» (чему это вы смеетесь?) и стал читать. И не встал с места, пока не дочитал роман. И когда я дочитал роман, то понял, что мне придется написать рассказ. Потому что Пушкин подбросил мне материальчик. Нет, это не материальчик. Это идея.

5. Идея рассказа: Александр Сергеевич Пушкин. Точнее – роман «Евгений Онегин». Точнее – строчка «...вот череп на гусиной шее...» (глава 5, строфа XVII).

Итак, я пошел. Четыре светлых «туборга», чипсы «лейс»... Впрочем, этими соображениями я уже делился.

Вот черт! Опять гадкая белая дверь без ручки! Опять приближающиеся шаги. Опять разносят эту паскудную отраву. Опять вместо «туборга» мне подсунут гремучую смесь. Можно было бы взбрыкнуть, заартачиться, но вместе с грымзой в белом халате ко мне в гости неизменно заходят две двухметровые гориллы. Это на тот случай, если мне вдруг захочется пошалить.

– Вот твое лекарство, выпей, золотце. (Грымза).

– Обмой свое новое бумагомарание как следует, то есть «...в строгих правилах искусства...» (Первая горилла).

– Это, между прочим, цитата из твоего «Онегина». (Вторая горилла).

– Глава 6, строфа XXVI. (Грымза).

И вот этот походный цирк выметается из моего жилища в поисках новой жертвы. И перед тем, как впасть в спячку, я сообщу вам, что я и есть Эдик, что сейчас мне 26 лет. Что отцовская и материнская истории являются бредом сумасшедших. Что только я рассказал вам правду. Что...

Руслан

Вот говорю я ему: «Бать, а бать, ты зачем на весь мир кричал, что отродясь меня не знаешь?» Он сидит напротив. Долго молчит. Смотрит мне не в глаза. Я не тороплю. Торопиться некуда. Впереди у нас вагон времени. Да и не вагон. Да и не времени вовсе. Вагоны, время – это все суета земная. Здесь не так. И никто тут в белых одеждах до пят не ходит. И никто тут райские сады не окучивает. Не поливает. Это земные представления. Здесь все не так. А как здесь?

«Я ж с ума сошел, Руся, вот и заладил, что тебя знать не знаю», – говорит отец. И смотрит мне не в глаза. «А глупость эту с самоубийством почему не раскусили, ну, те, кому положено?» – спрашиваю я в который раз. Со счета уже сбился, в который раз. Хотя – нет здесь никакого счета. «Так он же в упор тебя. Очень правдоподобно все вышло. Будто сам ты руки вытянул и пальцем до спускового крючка дотянулся. Будто сам. И тройка эта твоя по математике как нельзя кстати подвернулась. Вроде, повод», – говорит отец. И смотрит не в глаза. Поверх головы моей смотрит. Будто там, за моей головой, над ней – эти самые райские сады до самого горизонта. Нет здесь никаких садов. Нет. Да и горизонта – тоже.

«А придурка того голливудского Николасом Кейджем зовут. Да только ей сейчас не до него», – говорит отец.

Сергей ДИГОЛ

КОГДА ОНА ЗАМОЛЧАЛА

Рассказ

– Во́лото, во́лото! Лутфее волото! Ивыфканное волото! Фамое дефовое волото в Кифинёве!

Прохожие заранее шарахаются, берут резко вправо или влево – смотря, с какой стороны идут, – брезгливо отмахиваются и убыстряют шаг. В общем, всеми силами стараются избежать встречи с кричащей девушкой.

«Лучшее золото! Самое дешевое золото!»

Ну не бред ли?!

В самом центре Кишиневе, на углу проспекта Штефана Великого и улицы Александри, никто не решается войти в магазин золотых изделий, перед которым кричит и суетится она. Страшная – к чему кривить душой, – деваха, которую словно покусал рой пчел: все лицо покрыто огромными красноватыми припухлостями. Прыщи это или угри, издали и не разглядеть. Да никто и не пытается подойти поближе, рассмотреть поподробнее, или, боже упаси, потрогать. На девушке – бледно-желтая, видно выцветшая, футболка и джинсы, какие-то серо-синие – вполне, кстати, модный цвет, если не знать, что это у нее – единственная пара, и кто знает, обрели бы они такой окрас, если бы не концентрированная смесь дорожной пыли, пота от ее ног и выжигающих краску на ткани солнечных лучей.

Девушка, кстати, прихрамывает на правую ногу, что впрочем – полбеды в сравнении с левой рукой. Ее она прижимает к груди, и это хотя бы ненадолго, пока не присмотреться, скрывает очевидное: рука – совсем сухая, из нее словно откачали кровь и выдавили мясо, и если бы девушке удалось распрямить ее, наверняка оказалось, что левая рука заметно короче правой.

Да еще, вдобавок ко всему, не самая последняя, для зазывалы в магазин проблема.

Дикция.

– Волото, волото! Элитное волото! Дефевле не бывает! – вопит она как заведенная.

И так почти целый день. Стоит ли удивляться, что магазин обходят стороной?

Впрочем, Геннадий Аксенте так не считает. Ну как, вообще-то он в курсе, что пока девица орет перед дверьми магазина – а это случается каждый день с десяти утра до четырех дня, с одним воскресным выходным, но без перерывов на обед и непогоду, – в магазин заглядывают разве что безработные бездельники, проку от которых все равно никакого. Ну, или прохожие, планы которых нарушает внезапный ливень, и от которых нет ни то что пользы, а сплошной убыток: грязь и вода на плиточном полу магазина. Ливень, кстати, совсем не помеха для девицы перед магазином, а план у нее один – в любую погоду надрывать глотку заученной чушью об элитном и дешевом золоте. Еще бы – ведь за соблюдением ее рабочего распорядка, равно как и за строгим соответствием содержания и порядка выкрикиваемых фраз первоначальному сценарию, следит автор. Сам Геннадий Аксенте, владелец «Аурландии» – одного из ювелирных магазинов на цент-

---

Сергей Дигол родился в 1976 году в городе Каушаны, Молдавия. Окончил исторический факультет Молдавского государственного университета, аспирантуру Института истории Академии наук Молдавии. Имеет ряд исторических публикаций в научных изданиях Молдавии, России и Румынии. Живет в Кишиневе. С 2005 года – в рекламе, является креативным директором ведущего брендингового агентства Молдавии. Автор двух романов, повести и около десятка рассказов. Дебютировал в «Волге» в минувшем году.

ральном бульваре Кишинева, бесчисленных, как ломбарды вдоль того же бульвара.

«Нужно же где-то покупать золото, если есть, куда его закладывать», рассудил Геннадий, предварительно подсчитав – для чего ему пришлось дважды (в первый раз он сбился со счета) пройти вдоль всего проспекта Штефана Великого, – что ломбардов на центральной улице аж тридцать шесть, в то время как магазинов ювелирных украшений – всего двадцать четыре. Дело представлялось более чем верным, и откладывать его Геннадий не стал. Так в центре Кишинева появился еще один, двадцать пятый ювелирный магазин.

– Не нужно бояться конкуренции, – сказал инструктор семинара по маркетингу, и подозрительный Аксенте сразу ему поверил. Было в этом энергичном парне в деловом костюме, на курсы которого, кроме Геннадия, записалось еще восемь человек, что-то такое, что Аксенте сразу понял: это – тот еще прохвост. А прохвостам Геннадий безоговорочно верил. Просто потому, что прохвосты всегда добиваются своего. Поэтому, когда продавщицы, вытерпев две недели орущую перед магазином – закрытые двери не спасали от закипающего в них бешенства – прыщавую калеку, окружили Геннадия, чтобы наперебой, и немногим тише нелепой зазывалы жаловаться на отсутствие клиентов, Аксенте решительным взмахом руки прекратил невыносимый галдеж.

– Что, совсем, что ли, нет покупателей? – спросил он, переведя дух.

– Только после четырех, – взвизгнула Нина, крашеная в рыжий цвет брюнетка и по совместительству старшая продавщица.

– Ну вот, – просиял Геннадий и торжествующе усмехнулся.

Продавщицы переглянулись, а Нина покрутила у виска, правда, уже после того, как Аксенте вышел из магазина. Геннадию же было плевать. Тем более на мнение продавщиц, этих безмозглых куриц, не только никогда не посещавших курсы маркетинга, но и путающих маркетинг с петтингом.

«Запомните, реклама срабатывает не сразу. Эффект наступает спустя определенное время», наставлял инструктор-прохвост, и Геннадий с удовольствием убеждался, что эта формула работает, да еще как! Хотя бы на примере прыщавой калеки Риты, назойливо зазывающей прохожих в его, Геннадия, магазин. Срабатывает, еще как срабатывает, радовался Аксенте, видя, как прохожие, стоило Рите закончить смену, валили в магазин, как за водкой во времена антиалкогольной кампании.

«Маркетинг не разведешь!», думал Геннадий и с гордостью оборачивался назад – в сотый раз взглянуть на стену в своем кабинете, украшенную дипломом об окончании семинара.

Впрочем, узнай Рита, что ей предначертана такая важная роль – служить доказательством маркетинговых механизмов, – она бы вряд ли поняла, о чем идет речь. А если бы и поняла, то навряд ли поверила бы. Сто пятьдесят леев в месяц – разве эти деньги имеют хоть какое-то отношение к маркетингу? А если на них приходится жить?

Рита и не живет. Большую часть жизни она существует в тесной двухкомнатной хрущевке, в одной квартире с алкоголичкой, избавиться от которой было бы гораздо легче, не будь эта алкоголичка ее родной матерью. Всю свою пенсию мать пропивает – можно было подумать, что от расстройства, связанного с отсутствием в квартире газа, если бы не одно «но»: газа нет по причине многолетнего и фантастического долга, суммы которого вполне хватило бы на пусть и поддержанную, но все еще на ходу, иномарку. С другой стороны, Рите и матери еще повезло: отопление и воду, долги по которым равны, по меньшей мере, стоимости малосемейки в кишиневской общаге, им отключить не могут – пришлось бы отключать весь стояк. Поэтому платят они лишь за самое основное – за электричество, без которого их семейная идиллия развеялась бы в пух и прах, а сам прах развеяли бы над океаном. Без электричества, как ни крути, не будет работать телевизор, а телевизор – единственный в доме предмет, позволяющий им обеим терпеть друг друга. Вернее, матери терпеть Риту.

За что, кстати, Рита и обожает воскресное утро и почему вечером в субботу долго лежит в постели, свернувшись под одеялом, чувствуя радостную и нетерпеливую дрожь, и злится на себя, что долго не может уснуть, и от этого еще дольше не засыпает. И все же воскресное утро наступает, а

вместе с ним – редкие и, главное, тихие пару часов в одной квартире с пока еще трезвой матерью. Вместе они смотрят несколько передач, переключая каналы, но главное – не пропускают «Пока все дома» и «Непутевые заметки». Как только на экране мелькают первые кадры веселенькой заставки «заметок», у Риты сердце чуть ли не выскакивает из груди. Она украдкой поглядывает на сидящую, как всегда, на пару метров ближе к телевизору мать, краснеет, и медленно опускает лицо в надежде, что вот-вот справится с приступом волнения, а еще – что мать ничего не заметит.

Но мать ничего и не замечает – от экрана она и сама не в силах оторвать взгляда. А Рита не то что глаз не отводит, ей кажется, что бьющиеся о грудную клетку сердце вот-вот остановится. Дыхание, во всяком случае, у Риты уже перехватывает – да ведь отчего? Даже не от происходящего на экране, а от одного его голоса. Тихого, вкрадчивого, волнующего голоса ведущего Дмитрия Крылова, ласкающего что-то внутри Риты так, как, вероятно его ухоженная борода ласкала бы Рите... Впрочем, почувствовав приятное напряжение внизу живота, Рита встряхивается и даже открывает рот – так ей легче запоминать услышанное.

Иногда встряхнуться ей помогает мать.

– Вот видишь! – торжествующе, словно до этого у нее с дочерью был долгий и яростный спор, обернулась мать. – Видишь, как у них заботятся об инвалидах? Нет, ты посмотри, какой дворец отгрохали!

А Рита только и делала, что смотрела в телевизор, открыв рот. То и впрямь был дворец – самый настоящий, с золотистым куполом, увенчанным золотым же крестом. В тот раз волнующий голос Крылова рассказывал о Париже, и если бы не безоговорочная Ритина вера в рассказчика, ей никогда не пришло бы в голову, что такое роскошное и, судя по всему, старинное здание, может называться Домом инвалидов. У нас такое название больше подошло бы мрачной одноэтажке с перекошенными дверьми и выбитыми окнами.

А дальше камера парила над Площадью инвалидов – Рита всегда была уверена, что именно так должен выглядеть королевский парк. А главное – и в парке, и перед дворцом, оказавшимся Домом инвалидов, Рита не заметила ни одного хромого. Ни одного человека в инвалидной коляске. Ни одного на костылях. Ни одного человека в черных очках, нащупывающего тротуар тростью для слепых. Может, это и впрямь волшебное место, рай на земле, оказавшись в котором, у инвалидов не остается другого выхода, кроме как выздороветь, стать обычными и потому счастливыми людьми?

Увы, передача, как всегда, закончилась быстро, и на Риту и, особенно, на мать, навалились далекие от райских воспоминания. Например, о письмах, которые они поочередно вынимали из почтового ящика, письмах, содержание которых отличалось лишь датой, и пару раз – подписью. Всего таких писем пришло восемь, и Рите казалось, что десятое письмо станет последним, и уж после него изложенное во всех посланиях предупреждение – оплатить все коммунальные долги под страхом конфискации квартиры, – закончится куда более решительными, чем запечатанные в конверты угрозы, мерами.

После пятого письма мать и устроила истерику.

– Все здоровье на тебя угрохала! На тебя и на квартиру!– кричала она, обводя дрожащей с похмелья рукой тесную комнату, которая, по большому счету, ни ей, ни Рите, уже не принадлежала. – Постыдилась бы, сучка, у матери на шее сидеть!

Нельзя сказать, что мать кривила душой: Рита и в самом деле не проработала ни дня. Не сказала мать лишь о том, что с одиннадцати лет у дочери стала сохнуть левая рука, а в тринадцать ее официально признали инвалидом и даже выдали соответствующую бумагу. Как не вспомнила мать и о том, что с тех пор, как Рите исполнилось четырнадцать – в год, когда в пьяной драке погиб ее отец, – вот уже на протяжении шестнадцати лет мать пропивала не только свою зарплату, а затем – пенсию, но и все эти годы – пособие дочери по инвалидности.

В одном мать была права – теперь выживать и в самом деле стало невмоготу. Цены на все, даже на водку, теперь устанавливало не государство, а какие-то маньяки, зацикленные на идее полного уничтожения наименее защищенных сограждан. Объявлять маньякам войну было страшно, глу-

по, а главное – безнадежно, и мать решила, что если и пришло время пальнуть, то лучше нацелить имеющиеся в арсенале орудия в сторону собственной дочери. В одно из своих недолгих прояснений, когда особенно чувствуется тяжесть головы на плечах – чувство, не приносящее облегчения, но предоставляющее время додумать хотя бы одну мысль до конца, – в тяжелую голову матери пришло, что вынужденный, под натиском ее укоров и обвинений, побег дочери из дома не станет катастрофой. Наоборот – можно будет, не заявляя в полицию, получать, как и прежде, положенное Рите пособие по доверенности, и при всем том – уменьшить количество ртов на одну единицу. А ведь это не меньше ящика водки в месяц, прикинула мать, поражаясь перспективам грамотной экономии и тоскуя об упущенных возможностях.

Второй вариант – работа, на которую криком, топотом и даже занесенным над головой Риты кулаком намекала мать, – на полном серьезе не рассматривался, и каждый новый день, проведенный в одной квартире с дочерью, все больше выводил мать из себя. Когда же эта дура поймет, что пора катиться ко всем чертям? И кто такую идиотку примет на работу? Прыщавая, недалекая (из-за инвалидности школу пришлось оставить в шестом классе), прихрамывающая после того, как в двенадцатилетнем возрасте неудачно помыла окно и еще более неудачно пыталась, вываливаясь со второго этажа, зацепиться уже высохшей рукой за оконную раму, и приземлилась на правую ногу. Сломанная нога срослась, походка осталась.

Да еще упущение самого раннего детства – эта вечно раздражавшая мать Ритина шепелявость.

И какой дурак такую дуру на работу возьмет?

***

– Возьмут у любого, – сказал ведущий семинара по маркетингу, – и любой товар. Главное – повторять, повторять и повторять. Чтобы клиентов аж затошнило, вот тогда и происходит зомбирование сознания.

«Хрень собачья», подумал Геннадий Аксенте и помрачнел. Повертел в руке ручку, вспомнив, что заплатил за двухдневный семинар аж пятьсот евро. Не много ли позволяет себе молодой прохвост, впаривая такую чушь за такие деньги?

– Креатив, медиаохват, тыры-пыры – все это блеф, – уверенно продолжал инструктор. – Все эти трауты-райсы-нордстремы-уоллиолинсы могут идти сами знаете куда.

Незнакомые слова немного отвлекли Геннадия от невеселых мыслей.

– Они, уж если называть вещи своими именами, разводят своих читателей. Я учу вас другому – разводить ваших клиентов.

От такой откровенности Геннадию, отсидевшему в общей сложности двенадцать лет из своих сорока четырех, стало не по себе. А главное, он понял, что прохвост прав: клиента должно затошнить. И даже отсутствие на выданном дипломе печати, а заодно – подписи и фамилии ведущего семинара, равно как и названия организации, проводившей семинар, не смутило Геннадия. Надписи «Новорожденному монстру маркетинга господину Геннадию Аксинте» вполне хватало – Геннадий действительно чувствовал, что в голову ему имплантировали что-то важное, скорее чувство чем знание, позволяющее видеть то, чего он раньше просто не замечал. И первый же день по окончании семинара не обманул его ожиданий.

– Эй, ты! – окликнул Геннадий странную гостью своего магазина – прихрамывающую замарашку в неопрятной футболке, нелепо прижимавшую левую руку к груди.

– Уборщицей хотела устроиться, – отозвалась рыжая продавщица Нина и, опершись локтями в прилавок, выпятила свой и без того выдающийся зад. – Куда ей, с такой рукой?

– Заткнись, – огрызнулся Геннадий, и Нина обиженно выпрямилась. В магазине, кроме нее и ее напарницы Виорики, Геннадия и длинного охранника Миши, не было никого, если не считать калеку, интересовавшуюся работой уборщицы. И все равно Нине было неприятно: она привыкла, что самыми грубыми, грязными и возбуждающими словами Геннадий называет ее у себя в кабинете, когда они, запершись там вдвоем, кувыркаются нагишом на его кожаном диване.

– Хочешь работать у нас? – спросил Аксенте, и калека вместо ответа потупилась.

– А ну-ка скажи: золото, лучшее золото по лучшей цене! – не отставал Геннадий.

– Вот это зря, – начала Нина, но Геннадий не дал ей закончить.

– Заткнись, я сказал! – рявкнул он.

– Волото, волото, – прошепелявила калека.

– Как-как? – удивился Геннадий.

– Я как раз хотела..., – снова попыталась сказать Нина.

– Рот закрой, я сказал! – снова оборвал Геннадий.

– По лутфей фен , – сказала калека.

– Потрясающе! – только и смог сказать Геннадий и выпятил грудь так, словно на нее вот-вот повесят государственную награду. – Ты – то, что нам нужно, – добавил он, и Нина, как не старалась, не смогла удержаться от вздоха изумления.

– Волото, лутфее волото фо фкидкой! – кричала Рита и полгода спустя.

Пешеходы брезгливо отмахивались и убыстряли шаг.

Нина ненавидела Риту, искусно скрывая благодарные чувства. Можно сказать, что Рита стала для старшей продавщицы чем-то вроде громоотвода, принимая на себя презрение и ненависть трех других продавщиц, которые до прихода Риты только тем и занимались, что за глаза мыли Нине косточки, мечтая, само собой, оказаться на ее месте – старшего продавца и на ее ложе – на диване директора.

Геннадию же Нина все прощала, и Риту – не в последнюю очередь. В конце концов, каприз гения – смог бы еще кто-нибудь, кроме гения, так организовать собственное дело?

Геннадий и сам считал себя самородком. Наладить в самом центре Кишинева продажу томпака и симилора – дешевых турецких сплавов, неотличимых от золота не только на вид, но и на глаз не самых подготовленных экспертов, – такое под силу лишь неординарному человеку. Да еще дипломированному, вспоминал Геннадий и озирался на диплом на стене. Главное – прозомбировать клиентов, довести их до тошноты. А уж в этом, знал Геннадий, Рите не было равных.

– Волото, волото! Элитное волото по нивкой фене!

Ну кого от такого не замутит?

– А ведь это идея, – задумчиво произнес мужчина с мрачным лицом, стоявший на перекрестке напротив магазина ювелирных изделий «Аурландия»

В ответ на него уставились шесть недоумевающих глаз.

***

– Да, идея, – сказал мужчина.

Трое других мужчин, смотревших на него с явным непониманием, перевели взгляды на магазин через дорогу, а заодно и на сновавшую перед магазином девицу. Девица хромала, прижимала к груди левую руку и выкрикивала какие-то рекламные призывы, что-то о золотых изделиях. Слова слышались неотчетливо: во-первых, четверо мужчин стояли на углу здания министерства внутренних дел, откуда к магазину с кричащей девицей можно добраться, минуя две пешеходные «зебры», а во-вторых, у зазывалы были явные проблемы с речью – она то ли картавила, то ли шепелявила, а может – и то, и другое: из-за расстояния и разделявшего их потока машин было не разобрать.

– Идея, – в третий раз повторил мрачный мужчина, и взгляды трех его спутников потускнели и окончательно сбились с прицела. Один стал рассматривать вывеску «Агроиндбанка» через дорогу, другой скользил взглядом по шныряющим по проспекту Штефана автомобилям, третий и вовсе уставился в асфальт у себя под ногами.

Их можно было понять: мрачный мужчина всегда говорил мало и всегда по делу. И уж точно никогда не повторялся.

– Зайдем, что ли в «Нистру»? – предложил мрачный мужчина, и удивленные взгляды снова встретились – вначале на его лице, а потом и друг с другом.

В «Нистру», одном из старейших кишиневских ресторанов в сотне метров от здания МВД,

они еще не бывали. Ну как, не бывали? Бывали, конечно, но вместе – никогда. Повод же посетить ресторан сейчас, был известен разве что одному из них, а вот что делать после ресторана – этот вопрос волновал как минимум троих. Тем более что денег на четверых оставалось тысяча триста долларов, и это при полной туманности дальнейших перспектив.

Около часа спустя двери ресторана распахнулись и из него вышли четверо мужчин. Четверо сытых мужчин с удовлетворенными и уверенными взглядами. По правде говоря, в их взглядах всегда можно было прочесть удовлетворение, особенно в те мгновения, когда они вчетвером вставали из-за стола после обеда в столовой кишиневской тюрьмы, где судьба впервые свела их двенадцать лет назад. Звали мужчин Андреем, Костей, Георгием и Валерием – последний не только вышел последним из ресторана, но и не изменил своей привычке – смотреть на мир чуть исподлобья, не меняя мрачного выражения лица даже в предчувствии удачи.

Последние полтора года друзья-рецидивисты провели на свободе, маясь от скуки и безденежья и перебиваясь мелкими разбоями. Настолько мелкими, что иногда Валерий мрачнел сильнее обычного, представляя, как, вернувшись в тюрьму, будет краснеть от одного вопроса – за что его на этот раз повязали. И это после всех делишек, которые им удалось провернуть за решеткой!

– Дефевле не бывает! Две единифы волота по фене одной! – не унималась шепелявая деваха.

Прогулявшиеся от ресторана «Нистру» до угла министерства внутренних дел трое сытых мужчин с восторгом оглянулись на четвертого, на мрачном лице которого не дрогнул ни один мускул.

***

«Менты», мелькнуло в голове у Риты.

«Менты?» засомневалась она и потопталась на коврике в собственной прихожей.

Мать, при всем желании подтвердить или развеять подозрения дочери не могла. Она сидела в конце коридора, напротив застывшей у входной двери Риты и молчала. Возможно, минут десять назад она еще издавала похожие на мычания звуки, но сейчас устала даже мычать. Да и что еще, кроме мычания, могло доноситься из ее рта, наглухо заткнутого самодельным – из кухонного полотенца, узнала Рита – кляпом, покрытым темной, неприятного цвета, кляксой. Кровь, поняла Рита и кроме сочащихся из ноздрей матери бордовых струек – они бросились в глаза сразу – заметила несколько пятен на белом, в синюю полоску, материнском сарафане.

Рита даже пожала плечами, так ее удивило ощущение от увиденного: не страх и даже не жалость от вида привязанной к стулу матери с кляпом во рту и наполовину окровавленным лицом. Одна лишь отрешенность, как будто Рита смотрела телевизор, боевик или криминальную хронику, вот только мать на этот раз оказалась по ту сторону экрана.

– Рита?

Рита вздрогнула, и навалившую было отрешенность как рукой смахнуло. Не могла мать ее окликнуть, да и голос был не женский.

– Вам не о чем беспокоится, – сказал вынырнувший из кухни смуглый мужчина с грустными глазами на мрачном лице. – Мы не причиним никакого вреда.

Рита встретилась глазами с матерью и вздохнула. Вслед за мрачным мужиком из кухни вышел еще один – повыше и повеселее, а из комнаты напротив – еще двое.

Ну вот и конец, подумала Рита. В груди у нее стало легко в предчувствии свободы, и только легкое недоумение – чем таким соблазнила воров их с матерью пустая квартира – не давало Рите уплыть, хотя бы мысленно, под самые небеса.

– Есть дело, Рита, – сказал мрачный мужик и впервые улыбнулся – неумело, отчего его лицо исказила совсем уж зловещая гримаса.

Уходя, четверо мужчин несколько раз недоверчиво взглянули на пол в прихожей, словно не могли взять в толк, куда пропала их обувь. Потом посмотрели на Риту так, что она поняла: им немного не по себе оттого, что обувь они так и не сняли.

– Ну что, до среды? – спросил Риту мрачный мужчина, представившийся Геннадием. Надо же,

подумала она, тезка нашего директора.

– Да-да, конефно, – кивнула Рита.

– Ты, надеюсь, довольна? – поинтересовался представившийся Геннадием.

Рита обернулась на мать. Та и не думала двигаться с места, да в ее положении это было бы не самым разумным решением. Для начала требовалось хотя бы освободить связанные за спинкой стула руки.

– Ах, да, черт! – насупился представившийся Геннадием и кивнул троим остальным. – Развяжите же!

– Убейте ее.

Не успев сделать и шага, трое мужчин застыли, как перед невидимой стеной.

– Что-что? – не понял представившийся Геннадием четвертый.

– Убейте эту дрянь, – сказала Рита. – Варефте ее.

– Что-что? – повторил четвертый. – Зарезать? – расшифровал он.

Рита кивнула – пожалуй, подчеркнуто уверенно.

– Мы..., – представившийся Геннадием растерянно оглянулся на своих спутников, – мы не убийцы. И потом, она твоя мать, разве нет?

Рита кивнула, на этот раз гораздо менее уверенней.

– Развязать? – предложил четвертый.

– Нет! – крикнула Рита, и мужчины испуганно засуетились.

– Ладно, ладно, – примирительно выставил ладонь представившийся Геннадием, и мужчины стали молча выходить из квартиры. Первым вышел Костя, за ним Андрей, затем – Георгий. Четвертым вышел представившийся Геннадием Валерий.

– Уууу, – услышала за спиной Рита, закрывая за посетителями дверь.

Обернувшись, она посмотрела на мать и полезла здоровой рукой в карман джинсов.

– Уууу, – промычала мать, забила ногами по полу и попыталась выплюнуть кляп.

Выплюнуть кляп ей не удалось, а вот у Риты получилось. Получилось достать из кармана купюры с изображением американского президента.

Ими она и помахала перед окровавленным носом матери.

***

– Менты? – с сомнением произнес главбух.

– Финансовая гвардия? – предположил директор.

– Может, это, как ее, счетная палата? – вставил свои три копейки охранник.

– Да какая палата! – возмутился директор.

Почему-то не на шутку разозлившись на охранника, Геннадий Аксенте даже вскочил с кресла и заходил по кабинету.

– Какая на хрен палата?! – негодующе спросил он у покрасневшего охранника. – Ты-то что думаешь? – обратился он к главбуху, лысоватому мужчине лет пятидесяти пяти.

Тот уклончиво пожал плечами, не отказываясь от своей первоначальной версии, но и не подтверждая ее.

– Может, просто санэпидстанция? – развел руками Аксенте.

– Нет, – решительно сказал четвертый голос.

Голос принадлежал Рите, которая, прислонившись к подоконнику, уже несколько минут молча пялилась на просторный директорский диван.

– Что нет? – спросил Геннадий.

– Не фанэпидеф... не фтанфия.

– Не что? – сощурился Геннадий

– Не фанф...

– Не санстанция?

Аксенте облизнул губы и переглянулся с бухгалтером.

– Рита, – тихо сказал Геннадий, – ты знаешь, кто эти люди?

Рита кивнула. Аксенте переглянулся с бухгалтером, который облизнул губы.

– Рита, – еще тише сказал Геннадий, – скажи, пожалуйста. Кто. Эти. Люди.

– Они фкафали, фто вофьмут меня к фебе, – затараторила Рита, и все сразу все поняли.

– Конкуренты! – хлопнул себя по лысине главбух.

– Это же «Ауреола»! – воскликнул успевший побледнеть охранник.

– Кхм, – откашлялся Аксенте. – Может быть, может быть. Но не «Ауреола» – это точно. Какие мы им конкуренты? «Аурелия», скорее всего. Или «Ауриста». Или «Аурения».

– Может, «Аурприм», – тоскливо предположил охранник.

– Может, – нахмурился Аксенте. – Еще что-то они сказали? – поднял он глаза на Риту.

– Фкавали, тыфяфя леев.

– Тысяча леев? – уточник Аксенте. – Заплатят тебе тысячу леев?

– Варплата, – помотала головой Рита. – Варплата будет тыфяфя леев.

Главбух хихикнул.

– Милая моя, – развязно начал Аксенте, – эти люди – нехорошие люди. Не бывает таких зарплат у уличных зазывал.

– Они фкавали тыфяфя, – сказала Рита и посмотрела на хозяина исподлобья.

– Хорошо, хорошо, – расплылся в улыбку Геннадий и, сунув руку в карман брюк, неспешно подошел к окну, остановившись в полуметре от Риты. Странно, вроде даже не воняет, подумал он, но тут же спохватился, решив, что за время, пока Рита находилась в его кабинете, обоняние успело адаптироваться к исходившему от нее запаху пота и сырости.

– Мы ведь не обманем их ожиданий, а, Рита? – спросил он, глядя в окно.

Рита кивнула.

– Давай сделаем все так, как они хотят.

– Угу, – сказала Рита и нахмурилась. – Я ведь вам помофь хотела, – обиженно сказала она.

– Ты. Все. Правильно. Сделала, – сказал Аксенте и даже коснулся рукой правой Ритиной руки. Главбух, не удержавшись, поморщился.

– И очень нам помогла, – испуганно взглянул на свою руку Аксенте, словно ожидал увидеть следы от ожогов. – Теперь дело надо довести до конца. Ты ведь не подведешь меня?

Рита кивнула, но, спохватившись, помотала головой.

– Значит, так, – развернулся Геннадий и, сев на подоконник, стал болтать ногами в рыжих лакированных туфлях. – В среду утром, – сказал он, указав пальцем на главбуха, – ты выдашь ей цепь. Возьмешь из сейфа – ту, что пятьсот восемьдесят пятой пробы, одиннадцать и восемь грамм. Ну, ты знаешь.

Бухгалтер выпучил глаза.

– Что? – перестал размахивать туфлями Геннадий. – Что непонятно-то?

– Я... я просто думал, – сказал главбух.

– Отдашь цепь, – ударил ребром ладони по подоконнику Аксенте. – Браслет «Орландина», пару колец – ну это на твой выбор. Ну и... – он покосился на Риту, – нет, пожалуй, серьги не надо.

– Ээээ, – сказал главбух.

– Все, – спрыгнул с подоконника Геннадий и отряхнул зад. – В среду утром ты все получишь. Во сколько намечено это... мероприятие?

– В два тридфать.

– Угу, – сказал Геннадий.

– И тыфяфю, – сказала Рита.

– Что тысячу?

– Мне тыфяфю.

– За что тысячу? – удивился Геннадий.

– Я вам помофь хотела, а вы..., – заскулила Рита.

– Хорошо, хорошо, – замахал руками Геннадий. – Вот закончится все, дам тебе тысячу леев.

– Тыфяфю долларов, – сказала Рита. – Фейфяс.

– Эээээ, – сказал главбух и ядовито прищурился на Геннадия: вот что значить якшаться с отбросами общества.

– Договорились, – сказал Аксенте, став вдруг очень серьезным. – Договорились! – громко повторил он, как только за спиной снова послышалось «эээээ» бухгалтера.

– С одной поправкой, – уточнил Аксенте. – Свою тысячу ты получишь вместе с золотом. В среду утром. Идет?

«А она совсем не безмозглая», подумал Геннадий, оставшись в кабинете один. «В отличие от этого идиота», подумал Геннадий о главбухе, который не успевал даже за мыслью Риты, что уж говорить о его, Геннадия, мыслях.

Вот так беда и становится победой, торжествующе подумал Геннадий. Да, милые мои, сделаем так, как вы планируете, а как же иначе, думал он, представляя озадаченные рожи четырех недоносков.

Недоноски, кто же еще? Додумались же, нашли себе союзницу – шепелявую калеку! Козлы опущенные! Конечно опущенные – это ж как надо было опуститься, чтобы выследить Риту, ворваться к ней в дом и потребовать вынести на себе золотые изделия! Долбанные кретины! И ведь сами себя раскололи: золото, говорят, ведь у вас ненастоящее – надо же так проболтаться? Рита и сама бы с ними разобралась, причем не напрягаясь!

За кого они вообще всех принимают? И что будут делать с липовым золотом, зная, что оно липовое? Сорвут с Риты, бросятся наутек? Надо же было такими идиотами уродиться!

А ведь сценарий понятен даже ребенку, даже Рите. Всем, кроме придурковатого главбуха. Ну да, сценарий, ведь найдется и оператор и, понятное, дело, камера. Схема известная, по ящику сто раз показывали. Подойдут к Рите, включат камеру, а та и бегать не станет – договорились ведь! Попросят показать цепочку, а она и не откажет – договорились ведь. И браслет. И кольца. Нарочно для камеры поинтересуются, не в «Аурландию» ли она зазывает? Ну, она и кивнет – договорились ведь.

Тут-то все и произойдет. Одно движение лакмусовым карандашом по цепочке на Ритиной шее. Или по браслету на ее руке. Или по кольцу. Крик в камеру: «да это же фальшивка!» и все – можно смело заходить в магазин, где охранник обучен, словно тупая псина, кидаться прежде всего на тех, кто проявляет излишнее любопытство.

Последние перед титрам кадры и вовсе банальны: четверо мужчин – один с камерой, а трое – с раскрытыми удостоверениями, – вбегают в магазин, парализуя продавщиц и обезоруживая охранника убойным вооружением: включенной камерой и раскрытыми удостоверениями. До высадки спустя минуту-другую отряда полиции особого назначения этого вполне хватит.

Что ж, добро пожаловать, думал, щурясь в окно, Геннадий Аксенте и задумчиво кусал нижнюю губу. Сценарий предстоящей среды был теперь известен во всех подробностях, более того, сам он и являлся автором этого сценария, хотя те, кто его писал, даже не догадывались о таком изящном плагиате.

Лишь одна мысль не давала ему покоя, и от этой мысли он еще сильнее, до боли взгрызался верхними зубами в нижнюю губу. Никакие это не конкуренты, думал он. Может, налоговая, думал он. Или таможенный департамент. Или финансовая гвардия. Или у знакомого полковника из здания МВД напротив неприятности: Геннадий вынул было мобильный телефон, но звонить передумал, решив, что там, у телефона полковника, этого звонка только и ждут.

Что ж, пусть все идет как идет, подумал Геннадий. У нас все будет настоящее: золото на складах и даже не витринах, и, само собой, на шее, запястье и пальцах Риты. Хотя бы потому, что томпаку финансовая гвардия обрадуется куда больше. Или все-таки это менты?

С Ритой дело обстояло еще проще. Геннадий представил ее лицо – мерзкое, изъеденное то ли прыщами, то ли угрями, а может, и теми и другими, и машинально вытер руку о брюки. Не забыть бы пошутить про реквизит, который после съемок надо сдавать, подумал Геннадий и усмехнулся,

представив ошарашенное и тупое выражение лица Риты, с которой охранник, брезгливо морщась, снимает цепочку. А потом браслет. А еще кольца. И, наконец, принимает из ее пока здоровой, но уже трясущейся руки тысячу долларов.

А труп куда, подумал Геннадий. Не сейчас, понятное дело, рассудил он. Запереть ее в подвале на пару недель, пока все забудется, и ее перестанут искать. Да и кто станет, хмыкнул он. Уволилась, не предупредив, да и не работала она официально, вспомнил Геннадий.

А труп – в озеро Гидигич. Или на свалку в Цынцэрены?

Поморщившись, Геннадий решил, что не стоит портить себе аппетит, тем более, что до обеда оставалось десять минут. Труп, свалка – все это мелочи, подумал он.

А серьезные вопросы отложим до среды.

***

– Чего она разоделась?

– Вот дура, в натуре разоделась!

– Валер, это че за маскарад, а?

Четвертый мужчина, на смуглом мрачном лице которого остановились три недоумевающих взгляда, молчал. «Заткнитесь, придурки, разве не видно, что ничего она не разоделась, и никакой это не маскарад», хотел сказать он, но сказал лишь два слова.

– Заткнитесь, придурки, – сказал он.

Валерий лукавил – парни были правы, да он и сам это видел. Нет, никакого бального платья на Рите не было – все та же выцветшая футболка с грязным воротом и неопределенного цвета джинсы. Но вот поверх футболки красовалась – это было заметно даже с противоположного тротуара, на котором в ожидании зеленого сигнала светофора застыли четверо сообщников – золотая цепочка, а запястье правой, здоровой руки Риты украшал – насколько можно было украсить эту уродину – бросающий солнечные блики браслет.

– Все идет по плану, – сказал Валерий и посмотрел на светофор.

Красный человечек несколько раз исчез и снова появился, предвещая появление человечка зеленого.

– А план такой, – говорил Валерий Рите три дня назад, стараясь не обращать внимание на доносившийся из коридора стон. Если Рита не обращает внимание на связанную мать, зачем остальным напрягаться?

– Двигаться еще больше, – говорил Валерий. – Подходить к прохожим, хватать их за руки. Бегать, канючить, умолять зайти в магазин.

– Уууу, – раздалось из коридора.

Рита кивнула Валерию, стараясь не обращать внимания на стоны матери. А может, и в самом деле не обращала – слишком уж непривычным и неожиданным было все происходящее в квартире. Хотя и возбуждающим, признавалась себе Рита. Четверо мужчин, вломившиеся в дом, и все ради нее, ради Риты. А ведь в последний раз, вспомнила Рита, мужчина в их доме бывал шестнадцать лет назад и был этим мужчиной Ритин отец, вернувшийся домой в свой последний вечер не ради дочери и даже не ради жены, а лишь для того, чтобы, предварительно вылакав на троих две бутылки водки, наблевать в прихожей, упасть прямо в блевотину, на карачках проползти из прихожей до туалета, снова проблеваться и уснуть – разумеется, в блевотине, – до утра, свернувшись клубочком перед унитазом. Не самое, думала Рита, торжественное прощание с семьей накануне гибели, но и не самое, признавала она, плохое времяпрепровождение, если знать, что ничего хорошего впереди не ждет.

– И вообще, будь активней, – наставлял Валерий. – В среду будет твой звездный час. Так не упусти же его!

Рита кивала, думая о том, что ее звездный час уже наступил. Здесь и сейчас. Четверо мужчин, не сводящих с нее, прыщавой калеки своих, пронзающих сердце глаз. У нее даже стало приятно тянуть внизу живота.

– Прояви себя! Покажи им всем, чего ты на самом деле стоишь! – все больше распалялся Валерий. – Ну а мы уж не подведем. Правда, парни? – обернулся он, и парни вразнобой закивали.

– И – кричи, – сказал Валерий. – Кричи, кричи громче, ни секунды не молчи! Не пропускай ни одного прохожего, слышишь?

Рита кивала, не переставая.

– Не подведешь? – спросил Валерий.

Рита продолжала кивать.

– Договорились? – спросил Валерий.

Кивки внезапно прекратились.

– Не понял, – удивился Валерий.

– Трифта, – сказала Рита.

– Еще раз, – подался вперед Валерий.

– Три. Фта.

– Триста? – уточнил Валерий, и был вознагражден новым кивком.

Он оглянулся на корешей и полез в карман.

– Законное требование, – сказал он и протянул Рите триста леев.

– Долларов, – не сделала попытку взять деньги Рита.

– Что-о-о? – прозвучали одновременно сразу четыре мужских голоса.

Внизу живота у Риты словно что-то оторвалось и она почувствовала невыразимое наслаждение, будто внутри у нее опрокинулась банка меда.

– Как хотите, – расплылась она в блаженной улыбке. – Тогда бев меня.

– Тихо, тихо, – тихо сказал Валерий. – Мы согласны. Согласны! – громче повторил он, услышав за спиной недоуменное «эээээ» Георгия. – Надеюсь, ты понимаешь, что в случае чего бежать тебе некуда.

Рита кивнула – на этот раз одними глазами.

Вздохнув, Валерий снова полез в бумажник, который не успел спрятать в карман и вынул из него три зеленоватые купюры.

– Если все пройдет как надо, – протянул он деньги, – получишь еще двести. Зуб даю, – добавил он, чиркнув бумажником по верхним передним зубам. – Наверное, никогда таких денег и не видала, а?

Рита восторженно пялилась на портрет Франклина.

– Ну, мы пойдем тогда, – скорее спросил, чем сообщил Валерий и поднялся первым.

***

– Ну, пошли, – сказал Валерий и четверо крепких на вид мужчин ступили на «зебру» пешеходного перехода, отделяющего здание министерства внутренних дел от филиала «Агроиндбанка». Еще одна «зебра» – между банком и историческим зданием, угол которого занимал магазин ювелирных изделий «Аурландия», – осталась за их спиной даже быстрее чем первая, и это при том, что второй переход – через проспект Штефана Великого – был в два раза длиннее первого. Может, это случилось оттого, что мужчины перешли на бег?

– Волото, пофти даром! – что было духу заорала Рита в лицо Валерию.

– Чего, дура, вырядилась? – прошипел он, но Рита с криком о семидесятипроцентной скидке уже увязалась за ускорившим шаг мужиком с дипломатом.

Делать ей это не следовало – договорились ведь. С Валерием – уж точно.

Ах, какой это был расчет, какая идея! Сидя с Валерием в ресторане «Нистру», почти напротив магазина «Аурландия», трое корешей только и делали, что хлопали глазами и поминутно оглядывались по сторонам.

– Вы что, не понимаете? – шипел на них Валерий. – Идиоты вы, что ли? Это же ИДЕЯ! – произнес он так, чтобы было понятно, что писать слово нужно исключительно заглавными буквами.

Покидая ресторан час спустя, он пропустил вперед Андрея, Костю и Георгия, лица которых,

в отличие от его неизменной мрачности, светились уверенностью в будущем, причем не только в ближайшем. Как по команде повернув головы в сторону мелькающей в конце квартала девахи, продолжавшей, без устали и без мало-мальского успеха, доставать прохожих сомнительными и мало понятными, ввиду дефекта дикции, призывами, трое сообщников восторженно оглянулись на четвертого.

Ну точно, ИДЕЯ! Уговорить, уломать, подкупить, запугать, одним словом, сделать все, чтобы калека перед магазином шумела еще сильнее. Кричала в два раза громче! Была трижды назойливей! Есть ли лучшее средство отпугивания от магазина прохожих? Тем более, в те несколько минут, пока в нем будут хозяйничать четверо вооруженных грабителей?

– Учтите, охранника это тоже отвлечет, – сказал Валерий, тыча вилкой в коронное блюдо ресторана «Нистру», обжигающий нёбо свиной гуляш. – Так-то они там внутри, уже и не замечают ее, не слышат, наверное. Главное, чтобы орала громче. А нам главное – побыстрее войти.

В магазин они вошли и в самом деле быстро, можно сказать, ворвались. Одновременно с тем, как замолчала Рита, и это была первая неожиданность. Вторая ждала их внутри – трое мужчин в деловых костюмах посреди торгового зала, в одном из которых, в том, что стоял слева, грабители узнали охранника, а в том, что посередине – директора магазина: за две недели наблюдения четверка сообщников не раз видела, как он парковал свой «БМВ» прямо под окнами магазина. Того, что стоял слева от директора, никто из четверки не узнал, но то, как этот немолодой, лысый мужик держал правую руку за спиной, Валера понял, что он в ней прячет. А заодно – что прячут за спинами директор и охранник.

Рита же не сводила глаз со своей недавней жертвы – человека с дипломатом, который, вероятно, забыл о существовании Риты уже через секунду после того, как она замолчала. Замолчала и пошла, убыстряя шаг, вниз по улице Александри, прочь от магазина ювелирных изделий «Аурландия». Так она и шла – недолго, секунд пять, – вперед, обернув голову вполоборота назад, пока мужчина не выронил дипломат. Чемодан упал посередине пешеходного перехода, а еще через мгновение мужчина, похоже, забыл и о существовании дипломата. Забыл и побежал, стоило лишь прозвучать второму выстрелу.

После третьего, четвертого, пятого и еще с десятка выстрелов – вздумай Рита их считать, она сбилась бы со счета максимум после восьмого, – следом за мужчиной, напрочь забывшем о собственном дипломате, с визгом и криками бросилось еще человек пятнадцать, не исключая тех, кто до этого шел мужчине с дипломатом навстречу.

Прихрамывая, Рита тоже побежала, но быстрее ее оказались пятеро: две девушки, один парень с татуировкой на плече и женщина с ребенком на руках. На ближайшем перекрестке Рита обернулась – перед магазином не было ни души – и, тяжело дыша, полезла в подъехавшее маршрутное такси. В маршрутке Рита сообразила, что доехать сможет до железнодорожного вокзала, а уж там всегда найдется пара-тройка свободных такси.

Она полезла в карман липнущих к телу джинсов и нащупала плотный гладкий конверт. В конверте лежал загранпаспорт, в котором не было ни одной отметки о прибытии в Молдавию, равно как и об убытии из нее, хотя с даты выдачи документа минуло четыре года. Рита вспомнила, как мать постоянно напоминала ей, что если бы за паспорт потребовали хотя бы лей – а Рите по инвалидности документ был положен бесплатно – она ни за что не стала бы тратить время на сбор бесконечных справок и стояние в очередях в паспортном столе.

Еще в конверте находился билет на самолет в один конец, и концом этим была Москва. Самолет вылетал завтрашним утром, и Рита подумала, что провести ночь в лесопосадке напротив аэропорта, должно быть, не так уж страшно, тем более что майской ночью можно не опасаться заморозков. Еще Рита подумала, что если не все выстрелы в магазине достигли адресатов, дома следовало ожидать непрошенных гостей, и ей не хотелось бы, чтобы кроме привязанной к стулу и двое последних суток пролежавшей без сознания матери, эти гости застали бы и ее саму. В среду утром, в последний раз выходя из квартиры, Рита с удивлением поняла, что уже не чувствует исходящего от матери запаха испражнений, от которого ее мутило с прошлой пятницы.

На прощание помахав сидевшей на стуле с закрытыми глазами матери, Рита проверила правый передний карман на наличие конверта с паспортом и билетом, а правый задний – на наличие ста пятнадцати оставшихся после покупки билета долларов.

Должно хватить, думала она и, привстав, изогнулась, чтобы похлопать себя правой рукой по левому заднему карману. В кармане лежала тысяча долларов, а на шее – золотая цепочка, вспомнила Рита и с опаской оглянувшись на пассажиров, запихнула ее под футболку. Браслет она спрятала, зажав руку почти по локоть между ног.

Теперь уж точно хватит, бесшумно вздохнула Рита и подумала, что это, должно быть, не такая уж и проблема – разыскать в Москве Дмитрия Крылова. А там – полбеды позади, ведь он, ее милый бородач, время от времени бывает в Париже, и уж точно не только затем, чтобы потом показывать по телевизору его уютные улочки, его старинные дворцы, его сказочные парки и живописные набережные. Так пусть он возьмет ее с собой – у нее деньги есть, честное слово!

На взаимность она не рассчитывает, и даже обязуется ближе чем на два, или, если ему будет угодно, на пять метров, не подходить. Она согласна смотреть на него сзади и издали, и пусть он окажется даже ниже, чем она ожидает. Лишь бы он шел впереди, как специально обученный песповодырь – уверенно и бесстрастно, и рассказывал бы, рассказывал, рассказывал...

Своим вкрадчивым – настолько, что приходится увеличивать громкость телевизора, – голосом рассказывал бы о Париже и привел бы ее туда, где она не может, не имеет права не побывать хотя бы раз в этой своей распроклятой жизни. На Площадь инвалидов, едва ступив на которую, она почувствует, как разглаживается лицо, как растет и выпрямляется на глазах рука и как больше не тянет хромать.

И тогда, втянув раздувшимися ноздрями сладкий парижский воздух, она почувствует себя человеком.

Борис ХЕРСОНСКИЙ

***

Живый в помощи Вышнего, умерший в помощи Вышнего
превращается в каменный барельеф, не говорит лишнего,
да и о чем говорить, если все слова
на латыни готическим шрифтом написаны по краю плиты.
Плита вмурована в стену собора. Ты
пятый век стоишь вне суеты-тщеты,
попираешь аспида, василиска, дракона, льва.

Маленькие города Германии ангелы больше любили, или
их по какой-то иной причине союзники меньше бомбили.
Уцелел собор, алтарь – резной деревянный складень.

Я и сам больше люблю городки, который можно обойти за день.

А то – уснешь, не проснешься, не досмотришь, и это
будет тревожить тебя во всех уголках того, безутешного света.

***

Рамадан никогда не кончается. Можно пировать по ночам,
днем поститься, каяться, ходить по врачам,
становиться в очередь, зайдя в угловой гастроном,
за мясом типа халал и запретным красным вином.

За неимением минаретов, муэдзины с труб заводских,
которые тут в изобилии, восклицают священный стих.
Дым и молитва, не смешиваясь, как бензин и вода,
восходят в небо, безбожники говорят – в никуда.

Просто рассеваются, создавая эффект парника,
наводненья в прибрежных зонах, из берегов река
выходит, течет по улицам, уносит убогий скарб,
вдоль по питерской проплывает зеркальный карп.

Кошерный зеркальный карп, есть жабры и чешуя,
плывет, жабрами хлопает, не поймет ни...
вместо дна – мостовая, вместо камня – автомобиль.
Где кости сухие, о которых писал Иезекииль?

Борис Херсонский родился в 1950 году в Черновцах, живет в Одессе. Окончил Одесский медицинский институт, заведует кафедрой клинической психологии Одесского национального университета. Публикации в журналах «Арион», «Воздух», «Знамя», «Звезда», «Крещатик», «Новый мир», «Октябрь» и др. Автор нескольких книг стихов, в том числе «Семейный архив» (2006), «Вне ограды» (2008), «Площадка под застройку» (2008), «Мраморный лист» (2009), «Спиричуэлс» (2009), «Псалмы и Оды Соломона» (2009), «Пока не стемнело» (2010). Стипендиат фонда им. Иосифа Бродского (2008), лауреат премии «Anthologia» (2008), шорт-лист премии им. Андрея Белого (2007).

Все вымокло и продрогло, но поток еще не потоп.
Кроме того, под водою – много протоптано троп.
По одной идет подружка юности под черною паранджой,
смотрит сквозь щель на тебя, как будто ты ей – чужой.

***

Было бы мне дано выбирать, кто я – философ, которому снится, что он
бабочка, или бабочкой, грезящей, что она
философ, я выбрал бы бабочку, которая видит сон,
я был бы зимующей бабочкой. Снежная пелена
выбелила бы на время вечное бытие,
я был бы зимующей бабочкой, я бы вселился в нее,
как нечистый дух вселяется в невинное существо,
не в силах ни соблазнить, ни замутить его.

Я был бы крапивницей, забившейся в щель, куда
не проникают зимние холода,
крылышки бы подрагивали в ожиданье весны,
и сны мои были бы сложны. но честны.

Во сне бабочки я был бы старец, лысый, с реденькой бородой,
со свитком в руках, облака бы по небу шли чередой,
я размышлял бы над смертью, старостью или иной бедой,
над силуэтом девушки, промелькнувшим вдали,
над зимующей бабочкой в безопасной щели,
но пробудившись в апрельском луче золотом,
я выполз бы на поверхность, согрелся бы, и потом,
расправил бы ржавые крылья на мягком листе молодом.

***

Бог соседке говорит:
к вам летит метеорит –
сам вчера читал в газетке!
Все, что скажет Бог соседке,
то соседка повторит.

Вырастила трех ребят.
Как положено, до пят
юбку черную носила
и платочек до бровей,
мак святила в Маккавей,
как водичкой окропят,
сразу прибывает сила.

Этот мир встряхнуть пора.
Так посереди двора
выбивает пыль хозяйка
из потертого ковра,
и пылинок легких стайка –
что крупицы серебра.

Вот, ударит Землю в бок
что есть силы гневный Бог,
так написано в газете,
здесь, на третьей полосе,
вот статья, читайте все,
кто богат и кто убог,
кто покуда жив на свете.

Не успеешь и вздохнуть,
пепел серенький стряхнуть
с непутевой сигаретки,
только лоб перекрестить,
только недругов простить,
да прохожим возвестить
то, что Бог открыл соседке.

***

Перводвигатель неподвижен, но все приводит в движенье, –
говорил Аристотель, – светил повторяющееся круженье,
корабля безнадежное плавание и крушенье,
у прибрежных скал, погруженье обломков на дно
предначертано, предопределено.

И движенье любви неизбежно, неотвратимо,
только то и движется, что любит или любимо.
Только тот, кто не любит и не любим,
неподвижен, неколебим.

Тот, кто любит – себя умаляет, с неба на землю сходит,
глядит не наглядится, с возлюбленных глаз не сводит,
следит за ходом их мысли, за мерным биением жил.

А возлюбленные говорят: Ты в Себе любви не имеешь,
Тебе бы только смотреть, Ты любить не умеешь,
или любишь Свой собственный образ, который Ты в нас вложил.

Им отвечает Любящий: «Мне дорог ваш облик земной,
вечный Мой образ в душах ваших – и без того со Мной».

***

Лежат уткнувшись друг в друга скошенные дедушкины ботинки.
Стоит в прихожей черный зонтик с ручкой резною.
В стакане по кругу плавают маленькие чаинки.
Шумный дождь ночной за окном – так бывает только весною.

Так бывает только весною, или вообще не бывает.
Одна чаинка тонет, другая – всплывает
Мальчик спит, вспоминает подружку, пускает слюну в подушку.
Люди, как дедушкины ботинки, лежат, уткнувшись друг в дружку.

А дедушка пьет третий стакан холодного, слабого чая
ни весны, ни ночи, ни старости не замечая

***

Десять месяцев под землей в забое,
после смены – как мертвый, а отпуск – в запое,
раз в пять лет – санаторий, а там наверняка
подвернется какая-то баба то ли
бухгалтер, то ли училка в вечерней школе,
разведенка или жена моряка.
Раз в десять лет на родину к маме: чистое поле,
река, деревушка, церковь – видно издалека.

Как то раз повалили на площадь толпою,
и он со всеми, не хуже других, ногою
пинал мента – все пинали, и он – пинал.
Потом все вокруг загорелось и сразу погасло...

Оказалось – подняли цены на мясо и масло.
По толпе стреляли солдаты. Но этого он не узнал.

***

вечная жизнь переписана набело без помарок
она состоит из больших площадей триумфальных арок
мы ее никогда не заслужим это подарок
потому что небо с землей давно миновали и море
обмелело исчезло или исчезнет вскоре
и останутся в воздухе крупные рыбы с тоской во взоре

дети на трехколесных велосипедах многочисленные предметы
значенье которых забыто например сигареты
кент филипп морис баллистические ракеты
в которых мирный атом и подопытные собаки
вместе ждут сигнала атаки

вечность будет стоять на своем и молчать о своем позоре
не вступай с ней в спор она всегда побеждает в споре

Марина ПАЛЕЙ

СОБРАТЬ СОБРАТА

отход ко сну

От Великой Тьмы есть простое народное средство –
закрыть глаза. Набросить на стёршиеся глазницы
набрякшую руку. Вот она, частная тьма: сомкнутые ресницы
вместе с трусливой шторкой в прямом соседстве.

Частная тьма уютна. В конце концов привыкаешь
к факту, что сделан из флегмы, из желчи, из жил, из костей, из мяса,
из желтоватых зубов, что, как прототипы клавиш,
зачехлены губами (руками, руками!) – до зуботычного часа.

Частная тьма благодушна. Узкие шлюзы предсердий
вздымают слепой корабль совсем без усердья,
и ты дрейфуешь чёрт знает где, по закону Мёрфи,
ни Каин живой, ни Лазарь воскресший, ни Авель мёртвый –
частной тьме отдав себя на поруки,
запершись в себе, задраив лазы и люки.

В ушах, чуть шурша, аптечные чудо-затычки,
гробовые черви,
грызут балки и перекладины твоего черепа,
перегородки, оболочки, хрящики-ости,
башню из твоей собственной, не элефантовой кости,
корону инфанты, скафандр фигурки из воска,
колпак шута-джокера на виселичном помосте,
и так – пока не достигнут беззащитного мозга.

Но зато *туда* – уже не проникают никакие звуки,
кроме музы́ки сфер, неизвестных науке;
сердце-ударник, в аритмии синкопов зверея,
выдаёт all that jazz –
ямбы-мамбы! – даба-дактили! – хип-хоп! – хореи! –
и вдруг – полновесную паузу. То есть пиррихий –
амфибрахия родственник мёртвый – именно мёртвый, не «тихий».

Марина Палей родилась в Петербурге. Там же закончила медицинский институт, затем, с отличием, Литературный институт в Москве. Многочисленные публикации в журналах «Новый мир», «Знамя», «Волга», «Урал», «Нева» и др. Автор пяти книг прозы в России и шести – за рубежом. Участие в многочисленных российских и зарубежных антологиях. Проза переведена на английский, финский, немецкий, шведский, японский, итальянский, французский, нидерландский, норвежский, словацкий, словенский, эстонский, латышский языки. Финалист премий Букер, Большая книга, им. И. П. Белкина. С 1995 года живет в Нидерландах.

И вот – Великая Тьма, хоррор безликий, хор многоглоточный, безъязыкий,
обрушивается грозно и безраздельно на взятый отдельно сосуд скудельный.

...Но тот уж затоплен частною тьмою – приватизированной, беспредельной.

сон: деревья

медленные-медленные водоросли небесные,
кроны древесные... кроны древесные...

плавно помавают рукавами-руками...
плавно помавают рукавами-руками...

мне глазоньки гладят, слезу утирают
и ласково-ласково так отворяют

дверцы разума тесные...
створки сердца телесные...
ставни духа чудесные...

сон: петербургские кариатиды

Кариатиды стареются парами, но иногда и квадригами.
Канефоры с дарами Помоны, не тяжек ли крова гнёт мрачный?
Зачем вам букеты и фрукты в корзинах? Тщета камуфляжа...
Будто биндюжники! или индусские кули! или феллахи в Каире!..

Рабыни, что по двое, в браке обрыдлом хиреют-пылятся.
А те, что квадригою, напоминают о Пифагоре и школе.
Рябоватые, словно от оспы, усталые лица...
Носы, поражённые лепрой, давно отвалились...

«Майна, – шепчу я невольницам, – слышите, майна!.. –
Опустите же, сбросьте *груз жизни и смерти* на землю.
Взявшись за руки, тяжелостопые, пуститесь дорогою дальней –
В страну голубого эфира, Элладу, Офир и Шамбалу...»

сон: собрать собрата

твои волосы, Серж;
твои длани, Валерий;
твои губы, Ogaga Ogene;
твои чресла, George V.;
твой голос, Е. П.;
твоя мифология, Franky;
твой нос, Григорий и твои же глаза,

твоя дерзость, Григорий, твой бешеный норов;
твой ум, Самуил, твоя иудейская мудрость;
твой уд, Павел,
— и твой, безымянный, one-time-used;
твой смех, Алёшка;
твой свет, Андрей, и твои же стопы;
твоё сумасшествие, Henk;
твоя страсть, Hose, и твоя, Леонид,
и песни твои, Леонид, и отвага;
твоя стихомузыка, Серж;
твоя нежность, Нина, только твоя,
твои глаза, кстати, тоже – и кожа;
твои родинки, Wolfgang, татуировка созвездий;
твои плечи, Владимир;
твой запах, Rolaand;
твой язык, мышечный орган, Lorane;
твой язык, орган речи, Серж;
твой дух, брат мой, Геннадий;
душа твоя, Kenneth...

вот только сердце, Озирис, твоё не найти,
только сердце

сон: прилёт в Питер

Когда границу я пересекаю,
стараясь сохранять спокойный вид,
но офицера в будке привлекаю
невольно тем, что сердце барахлит,

и офицер, сомлевший от нагрузки
сличать печатей суть с календарём,
вдруг спросит, говорю ли я по-русски,
а я в ответ – ну да, со словарём,

я чувствую такой восторг небесный
шампанское в слезах растворено –
не умещается ни в чей параграф тесный
всё то, что без разбору мне дано:

мой берег финляндский,
мой город ингрийский,*
мой снег марсианский,
мой терем стигийский,

** «Ингрийский» – синоним названия «ингерманландский». Мой город ингрийский – Петербург.*

мой говор славянский,
мой нос иудейский,
мой паспорт голландский,
мой разум летейский.

сон: реинкарнация
(натюрморт с головкой лука в стакане воды)

В углу кладовки, где мешки и сети,
шурша, как мышь, сереет лука прах –
и шкурка распадается в руках
пергаментом каких-то там столетий...

Прах воскрешенья вовсе не просил,
но я плеснула воду. И какую?
Живую? мёртвую? лесную? колдовскую?
Нет – пресную, стандартно-городскую,
что ржавый кран с шипеньем нацедил.

Вот чудо – с безоглядностью какой
лук бодро корешочки выпускает –
и мой трусливый опыт сокрушает
своей открытостью простой.

Он корешки полощет, словно ножки,
и нет вопроса – быть или не быть.
Какая храбрость – так себя дарить
за пригоршню воды и свет в окошке!

Спадает шелуха. Доверием храним
зелёный пальчик трогательно тонок.
Он тычет беззаботно в небо... Так ребёнок,
ещё рождаясь, знает, то любим.

благодарность подушке

таким ласковым, как одеяло,
со мной никто не будет, увы,
только, разве, подушка –
она откачала
чёрный гной из моей головы,

она откачала
сукровицу саднившего дня,
какая разница для меня;

она откачала,
помпа-подушка,
юшку из лабиринта ушей,
влагу из старых слёзных каналов;

она откачала
ночной чёрный сок
иссыхающих чёрных сучьев,
повторяющих тропы извилин,
исковерканных в позах паучьих,
желчный сок моих рукописных строк,

она нагнала
под череп
прозрачную крупнопузырчатую икру
воздуха-кислорода,
наполнив ею все борозды мозга...

целую тебя, келейница,
подушка-смиренница,
наперсница,
царская чудо-подружка!

...душа после сна размягчённее воска,
и можно – снова – в игру

Рафаэль ШУСТЕРОВИЧ

ЛЕГЧЕ ВОЗДУХА

вальзеры

год на год наверху похож
снег уходит приходит снег
снова молотят овес и рожь
у ледяных истоков рек

хлеб приходит уходит хлеб
время в дорогу искать невест
каждый обычай слегка нелеп
неотделимый от этих мест

сгрудились к сердцу дома впритык
что ни дом то в полено клин
взятый в горы забыт язык
обитателями долин

для суеты не найти причин
жил ты кротом и уйдешь кротом
то ли зря принесло с равнин
то ли отложится на потом

ветка малины во сне дрожит
зверю тоже нужен ночлег
жизнь приходит уходит жизнь
снег уходит приходит снег

09.2007

дачные

В тридевятом трамвае, на дальнем дачном кольце,
Прибывая, выходишь, не изменяясь в лице.
Здесь орешник, малина, уже отошла, лопухи.
До низов здесь доходит, чего не хотели верхи.

Рафаэль Шестерович родился под Москвой в 1954 году. Окончил Саратовский государственный университет, в настоящее время живет в городе Ришон-ле-Цион (Израиль). Публикации в журналах «Волга», «Крещатик», «Иерусалимский журнал», «Зарубежные записки», «Интерпоэзия» и др. Финалист Гумилевского конкурса «Заблудившийся трамвай» (2007).

В тридевятом трамвае слегка поддавший Давид
Все в глаза норовит, норовит поставить на вид,
Говорит, пострел, ну как же ты постарел.
А тот и половины проехать еще не успел.

В тридевятом трамвае, в тринадесятом кругу,
Не приведи обнаружить, что кругом остался в долгу.
Шестизначные сальдо не подводить бы, но
Тут сирень из сада на лету залетала в окно.

В тридевятом трамвае по воле вагоновожатой
Прозвенят бубенцами доверенные салажата,
Всё слоняется Лир, ни черта не меняется мир,
В боевую бойницу выдается еще пломбир.

Приближаясь к причалу, на повороте звенит трамвай,
Остановка по требованию, не забывай.
Дверь гармошкой. Разве – помедлить немножко.
Полведерка яблок. Марья Федоровна, открывай.

08.2009

лимб

Мысок ступни над солнечным циферблатом
подрагивает – секундная стрелка;
тень шпажника вторит мгновенным тратам,
метелка дрока кивает мелко.

Механизм, заведенный волнам и скалам,
полям горчичным, пескам на пляже,
отмеренный выверенным лекалом –
присмотром занят, но дремлет на страже,

приостановлен на послеполдня.
Едва очнуться, подсуетиться –
пойдешь, размеренно разоряемый, по миру,
а вечный лимб остается светиться,

ракушкой украшенный, узкой ножкой
покачиваемый на полминуты
то вправо, то влево. Под этой ношей
к чему ты оглядываешься, к чему ты.

03.2009

приглашение на жизнь

Крестьянин выкуривал ос, поджег полуостров,
Огонь подступает к мраморам пороховым.
Он и рад бы загасить спичку, поднесенную к хворосту,
Но и сам уже не уйдет живым.

В мире воображаемых раскаяний можно начать всё заново,
Уготовляясь к высшей участи, к про-довольствию жизни
На вершине города. Или, напротив – за городом
Направляя привычный трактор рукою жилистой.

Упаси судьба выкуривать ос из гнезд,
От того, чтобы очнуться в толпе – в переулке, на площади,
Или когда ты слово неосторожное произнес,
Умолчал бы – проще бы.

Спичка времени, поднесенная к пространству хвороста,
Трепещи, дерзай, едкий серный запах вытравливай.
Вниз двенадцать уровней, до спиралек вакуумного волоса.
Мы играем по правилам. Кто-нибудь, зачитайте правила.

09.2009

al fresco

Ангел, ангел, все ангелы заняты делом,
Кто лилею несет, кто венец, кто меч,
Кто поддерживает кривостоящее дерево,
Кто помогает удобнее лечь.

Лютни, арфы, лиры, трещотки, трубы
В сопровождение важных торжеств.
Надувают щеки, трогают струны –
Отточенный величавый жест.

Только ты, отколовшись от высокой стаи,
Потеряв опору на небесах,
День за днем, год за годом неизменно простаиваешь
С золотинкой, запутавшейся в волосах.

Неприкаянный ангел, научившийся ждать
В уголке облетающей фрески,
Днесь снедь свеж дождь даждь, –
Шепчешь на ухо проходящей Франческе,

Прошелестевшей – неужели вчера,
Обмахнувшей лоб по привычке.
Там, где ночь черна, где дожди, ветра –
Материалы первичны.

Подвозите мрамор и травертин,
Обжигайте кирпич, рубите песчаник.
Неизбежность симметрии не тяготит?
Стрелоподобие не удручает?

Но пока ты помнишь: среди войны
Горстка жителей, от полуголода наглых,
Обороняет кусочек стены,
Где еще проступаешь, ангел.

09.2009

легче воздуха

дирижабль
снижается над державой
многоэтажной
это важно
дирижабль снижается
надо высаживаться
дирижабль снижается
моложавый
над державой

карманы охлопать
закопаться по локоть
пробочник
рецептурный справочник
платежные средства
плавсредства
удостоверение безупречности соседства
справка о выплате ипотеки
наконец-то
подмените мне веки

запевает жаворонок над державой
он приветствует дирижабль
аппарат снижается
приближается
приключение продолжается

10.2009

accounting

Пьеро делла Франческа,
совсем ослепший в старости, давал

уроки геометрии Луке
(о чем не сообщил Геннадий Алексеев,
а лишь об ангелах и шуме их одежд)
Пачоли. Позже – названный Лука,
прилежный ученик и компилятор,
нам описал венецианский метод
ведения коммерческих расчетов,
складского дела, и т.д., завет
оставив: честный счетовод не может
сомкнуть глаза, пока в амбарной книге
до мелкой лепты не сведен баланс –
и так возник бухгалтерский учёт.

Я думаю, в фанерном чемодане
из Невеля в холодный Арзамас
(где в 41-ом, в декабре, умрет
пейсатый дед мой, Залман) он приехал –
затрепанный бухгалтерский учебник,
и дальше, дальше – в нижневолжский город,
куда стремился беженцев поток.

На этажерке в нашей комнатушке,
где жили двое малых, трое взрослых,
обосновался этот пухлый том.

Я, грамоте узнав, его читал –
но, пятилетний, ничего не понял:
колонки, дебит-кредит, сальдо-бульдо –
всё путалось. Ах, то ли дело Гоголь
иль Пушкин, или, скажем, «Нил Кручинин»,
который будет пострашнее «Вия»,
когда дойдет до козней тёмных сил.

Кручинина я утащил к себе,
под старый клавикорд, сестре служивший
к занятью музыкой. Там, в «нижнем этаже»,
мой кабинет, и ДОТ, и мастерская,
и там хранились все головоломки –
решённые и ждущие решенья.

Теперь я знаю: за плечом Пачоли
стояли Леонардо, Гвидобальдо,
и даже сам отшельник из Ассизи,
видать, его с небес благословил
на тяжкий труд. И преуспел Лука.

Недавно я на жанровую сцену
набрел в пинакотеке Сансеполькро:
почти слепой, Пьеро делла Франческа
все тайны геометрии диктует

Луке Пачоли и еще кому-то
из молодых (по кисти – не шедевр).

О, этот миг, когда слепой художник...

О, этот миг, когда бухгалтер сводит
двойную бухгалтерию свою.

02.2010

ночное видение

Приборы ночного видения отмечают
движение лис и ланей на вражеской территории
конструктор достоин с бантами и мечами
и незабываемого места в истории

ультрафиолетовая звезда мордовника
болтается наградой инфракрасной дымке
за биение сердечного дольника
в незарастающем стыке

контрабандист перемещается с грузом гашиша
не наблюдаемый пограничной стражей
(выше шепчет лонгфелло выше выше выше)
чистота его помыслов несомненна по сравнению с длящейся кражей
права на мимолетное существование
по обе стороны рубежа

веки смыкаются дрожа
контрабандист придерживает дыхание
и проскальзывает в этот мир
стражника будит командир
шелестом в наушник
гляди
я на минуту в нужник

надвигается ослепительно-серый рассвет

09.2010

новый Санторини

– Передача мыслей на расстояние с помощью слов
натыкается на препятствие непонимания. Проще
дело обстоит с природой: она хотя бы
слышит,
пусть не запоминая...–

Но тут
его перебил водопад, протолкнув, наконец,
застрявшую в глотке глыбу гранита и сбросив её
по кулуару. Плоская глыба,
прокатившись потерянным колесом, легла внизу
посередине потока – новым
островом Санторини. Здесь, по прошествии, может быть, века,
ты и устроилась – на животе, касаясь рукой
ледяной прозрачной струи, следя
за небольшими камнями – они
неторопливо перемещались по дну. Иногда
мелькала илистая форель. А мы
на берегу собирали малину среди осыпных громадин, разгадывая загадки
местной флоры
и слушая посвист сурков.

Через несколько лет, вдвоем,
мы посетили то же ущелье. Малина ещё не поспела,
но земляника цвела.
Тайный замысел мой – лечь
на камень, которым я пренебрёг
в прошлый раз, и коснуться рукой ледяной струи –
не воплотился: и с *этой* задачей
справился горный поток
одной из вёсен.

10.2010

Алексей КОЛОБРОДОВ

РАССКАЗЫ

РУССКАЯ КРИМИНАЛЬНАЯ КУХНЯ

Дядька мой великолепно готовил голубей.

И дед моего ближайшего друга, Игоря Каирова, тоже великолепно готовил голубей.

Знаток русской жизни по одной этой кулинарной детали легко догадается, что и мой дядька, и каировский дед были мужчинами с богатым жизненным опытом. Солидный кусок которого приобретался в местах лишения свободы.

Голуби, разумеется, были дикими, дядька так и назвал фирменное блюдо – «дичь». В детстве всей глубины дядькиной иронии оценить я не мог, да и не видел особой разницы между дикими голубями и домашними.

А домашние тоже у нас водились. Я уже рассказывал: в городе К., на районе под названием Второй участок, наличествовали целых три культурных центра. ДК Строителей с индийскими фильмами и памятником Ленину на высоких каблуках (дизайн обуви напоминал страшно гламурные тогда «армянки»). Общественная баня, которая в детстве казалась мне почему-то пароходом с выдвинутой вперед капитанской рубкой пивного ларька. И – скопление низких строений: не то гаражей (автомобилей, конечно, никаких не было, мотоциклы – редко, чаще мопеды), не то сараев, не то голубятен, а точнее, всего сразу.

Голуби у любителей этого дела водились разнокалиберные и разноцветные, их гоняли, им свистели, ну да быт отечественных голубятников достаточно отражен в литературе и кинематографе. (Скажем, в первом фильме Александра Митты «Друг мой, Колька!».)

А вообще, большинству обитателей гаражей-сараев было не до голубей. Имелись дела поважнее. Пока матери и жены работали по сменам, мужчины не то чтобы пили и вели беседы, хотя было и то, и другое. Скорее, как индейцы садились в кружок с непроницаемыми лицами, курили, сплевывали и бросали в пространство короткие реплики. Про какого-то «хозяина». Паролем звучали порядковые номера, где этот хозяин либо «зверь», либо, напротив, «дает жизни». В центре компании обязательно находился кто-нибудь строгий, седой и авторитетный, иногда таких бывало и двое-трое, как в хорошем грузинском ресторане.

Так вот, я думал, что дядька мой великолепно готовит тех самых голубей, которым свистят. Но нет, зачем? Думаю, добывал он свою «дичь» на чердаках – охота, как я потом убедился, увлекательная и малозатратная; всего снаряжения – мешок и жменя подсолнечных семечек.

Алексей Колобродов родился в 1970 году в городе Камышин Волгоградской области. Учился на историческом факультете Саратовского университета и в Литинституте. Работал слесарем, грузчиком, служил в армии. В настоящее время – главный редактор саратовского общественно-политического и экономического журнала «Общественное мнение», Множественные публикации в саратовских, московских и российских изданиях, авторские телевизионные проекты, интернет-проекты. Лауреат журналистских премий (в т. ч. им. Артема Боровика). Печатается как поэт с 1995 года (альманах «Сальто-мортале», Саратов). Книга стихов (в соавторстве с С.Труневым) «День святого V» (Саратов: Контрапункт, 1998). Сборник прозы и эссе «Алюминиевый Голливуд» (Саратов: Научная книга, 2009). Автор рассказов, эссе, статей и рецензий, публиковавшихся в литературных журналах «Волга», «Новый мир», «Знамя», «Урал», НЛО, «Апрель», M-House Magazine. Живет в Саратове.

Я любил подолгу жить у родной тетки на Втором участке, даже когда мы с родителями переехали. Особенно в периоды, когда дядька был дома, а не в тюрьме. Еще утром, вставший по лагерной привычке засветло, он объявлял: на ужин будет дичь. И, набегавшись за день, голодный, я смотрел, как тетка зачерпывает из огромного чугунка и щедро накладывает в глубокие тарелки. Почему-то самыми вкусными казались кусочки шкурок в острых пупырышках, но и все остальное – огненный бульон, ржаной хлеб, упругое мясо, хрусткие косточки, молодая картошка, травка всякая, э!..

Ум отъешь, как говорит известный кулинарный авторитет, ныне и. о. главы администрации Саратова, Алексей Прокопенко.

Не сомневаюсь, что у каировского деда получалось не хуже, а может, и праздничней, ибо жили они в частном доме, как раз напротив пивного ларька – капитанской рубки.

Мы с Игорем выросли, сделавшись молодыми негодяями. Спортивные, рок-н-ролльные, наглые, распираемые цитатами из Ильфа-Петрова и Вилли Токарева, мы полагали: если не мир, то родной К. у нас в кармане батников (тоже армянского производства). И знанию этому не мешали ни родители, ни, смешно сказать, перестройка Советской власти.

Мы начинали ухаживать за барышнями. Каиров уже «ходил» с Танечкой М., а я был еще только влюблен в Олечку Я. У нас родилась идея: вывезти девочек на шашлык. На дачу к Игорю. Вспомнив кулинарные таланты наших родственников, мы решили побаловать подружек голубиной дичью.

Это сейчас шашлык привычней яичницы, для лодырей его продают в полуготовности и готовности прямо на улице. А тогда добропорядочные граждане устраивали себе «шашлыки» (с долгим подготовительным циклом) пару раз в лето, а все остальные времена года об этом вспоминали. Дичь же и вовсе свидетельствовала о крутизне парней, требуя от барышень ответной решимости.

Чердаков в К. по-прежнему оставалось много, и мешок мы набили за полчаса. Отскребли с подошв кроссовок голубиный помет (его крепко ценили тогдашние дачники) и на мопеде отвезли «дичь» на место грядущего пира. Она, живая, тревожно колыхалась и шелестела в мешке. Вопрос убийства мы обходили, но и так было понятно, что поваром, а значит, экзекутором, станет Игорь. Во-первых, его дача и мангал, а во-вторых, на мне – доставка барышень и спиртного.

Легко сказать! То были времена горбачево-лигачевского полусухого закона; выпивка для нас являлась не развлечением, но поступком, даже подвигом, когда совершенно непринципиально количество и, тем более, качество.

Впрочем, я легко раздобыл литр самогонки: мутности вполне обыкновенной, но неправдоподобной даже по тем временам вонючести.

А две бутылки сухого я выпросил у родителей – под обещание «больше ничего не пить». На такси, букеты и мороженое-лимонад средства у меня имелись собственные – накануне записал однокласснице два альбома «Модерн токинг». С «балкантоновской» пластинки на кассету, пять рублей сторона.

Словом, я не увидел самого главного – процесса. Только результат. Это было сильно: дача, покрытая слоями перьев, как будто дивизия пионеров устроила Куликовскую битву на подушках. А тут еще ветер. Лужицы крови и комочки внутренностей. Кое-чего еще: поскольку голуби даже перед смертью занимались основным своим делом, гуще и обильнее, чем обычно. И вообще, помню ощущение скотобойни и птичьего крематория одновременно.

У девчонок, как им и положено, психика пожиже. Смотрели они на все это недолго, вздернули и зажали носики одновременно. Развернулись и поцокали каблучками в калитку, благо таксист не уехал сразу, а расположился покурить...

Каиров потом объяснял, что промахнулся по хронометражу. А мобильников еще не было. Только на ощипывание одной птицы уходила чертова уйма времени. Сколько на убийство, я из деликатности не спросил.

И хорошо, что они уехали. Не зафиксировали главный наш позорище. Уже первый шампур оглушительно доказал, как бездарно мы промотали кулинарное наследство родственников. Дичь была на вкус как перегретая доска. Даже наши юношеские зубы с трудом оставляли на ней отметины.

...Кое-как прибрались, не зная, что нас, как щенков, и дальше будет сегодня преследовать небесный Гринпис. Пошли в город пешком, и, подобно булгаковской Аннушке, раскокали литровку самогона об рельсу. Оно и сейчас бы не приветствовалось, а тогда... Ну не пить же из осколков?.. Естественно, чуть не подрались. Ругая друг дружку, брели и без вкуса прихлебывали родительское сухое.

Уже в городе небесный Гринпис удалось нейтрализовать. Добрым делом и любовью к ближнему. У закрытого пивного ларька – капитанской рубки, сидел наш знакомец по кличке Ушан, умудрившийся к 16 годам сделаться вполне кондиционным алкоголиком. Он тяжело грустил и здоровался вполголоса. Мы подарили ему обе полбутылки сухого. Редко мне потом доводилось видеть столь красноречивую молчаливую благодарность.

Молодость, по счастью, забывчива: уже назавтра мы большой компанией, с мячом и «мафоном», отправились на пляж Гремячий, выделывались на турнике под взглядами девчонок (а может, они и не смотрели), ныряли с понтонов всеми известными на Волге способами... А вечером был шекспировский, феерический четвертьфинал чемпионата мира по футболу 1986 года, Бразилия-Франция. У бразильцев – Карека, Зико и Сократес, у французов – Платини, Жиресс, Тигана... Французы выиграли по пенальти, а вообще это был чемпионат, который сделал один человек. Звали его Марадона...

Дядька мне потом объяснил, что голубей, эх, вы, профессора, не жарят, а тушат. Как и любое жесткое мясо. В большом количестве воды и пряностей. А весной и в начале лета – и вовсе голый вассер, жиру еще не нагуляли... Или как с собачатиной. Убить-то псину легко, но мало кто понимает, что надо ее побить хорошенько, кровь по организму распределить, вот тогда и собачатина будет как собачатина, на баранину немного похожа...

Удивительно устроен русский криминальный человек. Нежно, с излияниями, любит всяческую живность, но не останавливается перед тем, чтобы со вкусом пообедать братом своим меньшим. Впрочем, у него масса извиняющих факторов, и вообще морали вы от меня не дождетесь. Не скажу также, что после этого случая я стал убежденным вегетарианцем, отказываюсь от приглашений на охоту, только и делаю, что помогаю приютам бездомных животных (кстати, немного помогал). Но тупые и тихие удары стыда при воспоминаниях ощущаю. Вот как сейчас.

Я понимаю, что мы с Игорем тогда сыграли сцену из очень распространенной человеческой комедии: завышенные представления о себе при заниженном понимании жизни. Как там у Довлатова? «Дешевка под законника канает»...

В Саратове на Горького, между Б. Казачьей и проспектом, еще недавно был ресторан «Корлеоне». Итальянской кухни. Почему итальянской, а не сицилийской или американской? Ведь легендарная фамилия – первая среди равных в списке пяти семейств Нью-Йорка, а происхождением своим обязана названию деревеньки в сорока километрах от Палермо? Италия (и Сицилия) – это яркое солнце, синее небо и море, а тут – темноватый подвал с красным, как расстрельная стенка, кирпичом.

Впрочем, были там и находки – счет приносили в книгах русских классиков, еще советских годов издания. Конечно, больше подошел бы Уголовный Кодекс, но, может, классиков держали из педагогических соображений? Надо сказать, мафиозных коннотаций в самом ресторане было совсем мало, название существовало как бы отдельно, и со всем этим когнитивным диссонансом можно бы и смириться. Но откуда в итальянской кухне энгельсские макароны, упорно не желающие становиться похожими на спагетти? Или полусырые баклажаны?

Ресторан «Корлеоне» предсказуемо прогорел, и теперь там мексиканский бар Cabo-Wabo. Цирк-то уехал... Девушка моя, как у героя «Криминального чтива», вегетарианка, и из мяса поз-

воляет себе только морепродукты. В данном случае позволила королевские креветки. Принесли обыкновенные, мелкие – ну, как в летних пивных. Даже, кажется, мельче. Призванная к ответу официантка сначала объяснила, что в меню – опечатка. Потом, отойдя, будто бы к поварам, сообщила, что креветки, хоть и небольшие, на самом деле королевские. По вкусу. Снова Довлатов, ага: «У нас портвейное вино продавалось за рубль четыре. А на вкус как за рубль семьдесят две...»

Когда принесли счет, там, естественно, никаких опечаток не было. Взяли, как за королевские. Но главное – предел архаического жлобства – вписали десять процентов за обслуживание... Туда я больше не ездок, как говорил ресторанный критик Чацкий.

Мне осталось сообщить, что за немыслимое количество лет, прошедшее с того неудавшегося пикника, Игорь Каиров, вернувшись из армии, женился на Танечке М., потом они разошлись, и он женился на Олечке Я., и они тоже разошлись, Ольга уехала жить в Германию, а он снова женился. Дядька мой и каировский дед умерли. Я, слава небесному Гринпису, не видел их мертвыми. Поэтому они в моей памяти, как тогда – седые строгие мужчины, с жилистыми руками и богатым жизненным опытом. Курят без фильтра и обмениваются короткими репликами.

«ЮРЮЗАНЬ», ИЛИ КАК НЕ СТАТЬ ОЛИГАРХОМ

– Так сколько презервативов? – спросила Наташка, роясь в коробке из-под «сникерсов», где у нас, не отходя от кассового аппарата, они и хранились. Россыпью, упаковка – штучка. Те самые, советские, «проверено электроникой».

– Восэмь штук. Или дэсять, как палчики. – Для наглядности он сунул, шевеля, в окошечко темные свои шофёрские руки и небритую половину лица.

– Так, пачку «Магны», бутылку «колы» и десять этих... – считала Наташка. – С вас...

Ну, что-то там теми деньгами он расплатился и закосолапил к своему, с прицепами, «Камазу». Судя по дагестанским номерам, резиновые покупки еще долго валялись без дела. Да, в дороге всякое бывает, но не в таком же количестве...

Это было мое гениальное ноу-хау. Ларек наш стоял на трассе, в Осокине, ровно между Саратовом и Волгоградом, а «плечо», где мы торговали, почему-то называлось «Пензой». Я много раз пытался выяснить этимологию названия, но местных краеведов-любителей хватало только на версии ассоциативные: дескать, дороговизна товаров народного потребления в Пензе вошла в поговорку и стала нарицательной.

Не знаю. Много лет спустя побывал в Пензе – милый городок. По ценам примерно то же самое. Китайских кабаков – больше. А литературные имена интереснее. К Пензе имели отношение Александр Куприн и Анатолий Мариенгоф – и я, не глядя, махнул бы их на саратовских Н. Г. Чернышевского с Конст. Фединым.

Палатка наша в форме строительного вагончика называлась ООО «Скиталец», и, согласно всей этой бродяжьей эстетике, мы мотались на старенькой «копейке» моего компаньона по окрестностям, с целью воплощения заветов Адама Смита: купить подешевле, дабы продать подороже.

В одном сельпо наткнулись на залежи этих самых презервативов. Чуть ли не по 00 руб. 04 коп. штука.

Шел 92-й год гайдаровской реформы, и с ценами происходило что-то сюрреалистическое. Ствол (нульсовый «Макаров» в смазке) можно было взять на той же «Пензе» за десятку баксов. Трава стоила, как водка, а водка – как девка. В городе из ларьков крали спиртное и меняли у нас на спиртное же. За бутылку «Амаретто» бартером брали литр спирта «Рояль», и оба субъекта сделки оставались довольны, каждый втайне потешаясь над контрагентом. Золото (как отменной пробы, так и туфта) шло за одинаковые копейки, но даже не припомню, что тогда стоило приличных денег. Видимо, по внезапной постсоветской нищете предметы роскоши просто исчезли, вернее всё, или почти всё – таковым казалось. Да и обычные товары были другими. Даже те, что сегодня называются, как тогда...

Столь же внезапным, беспричинным и оглушительным приключилось избирательное богатство, обрушившееся года через два-три на отдельных граждан. И с тех пор продолжает обрушиваться. Причем, по обе стороны воображаемой, между богатыми и бедными, линии иногда меняются лица (больше в силу естественных причин), но численное соотношение незыблемо.

Я уговорил компаньона скупить все презервативы. Тетка-продавщица трижды бегала в подсобку за коробками.

– Пойми, – втолковывал я. – Точка у нас на трассе. Клиенты – дальнобойщики, дачники и так, – всякий мутняк в движухе. Мужики, в основном. Как Карлсон, в полном расцвете сил. Подходит он за сигаретами, и видит за прилавком молодую деваху. Как ему за две минуты показать, что он – настоящий мужчина? А? Правильно – купить гондон. А еще лучше – несколько...

Молодая деваха – Наташка, была взята нами примерно из таких же соображений. Крутизны и мужества. Не просто барыги с «Пензы», а бизнес замутили. Продавца (то есть, конечно, «давальца») имеем. Наташке было 16, она нигде не училась, а работала теперь у нас. Была смазлива и болтлива, мучила нас телегами о своем романе с цыганом по имени Бидюня.

Я и сам не ожидал, насколько психологически точен расчет. Пакостные советские изделия улетели в неделю. Опустошив еще пару сельпо, мы взялись бомбить городские аптеки. Где подобной халявы уже не было, но прибавочная стоимость покрывала все.

Однако дагестанских дальнобоев еще надо было как-то завлечь, ибо стояли мы не слишком удачно – в самом начале длинного базарного ряда. Рок-н-ролльщики из школьных ансамблей и вообще чисто по жизни, мы торговали и кассетами, поначалу нижний предел допустимого определяя «Квином» и «Браво». Да и они шли у нас как попса. Однако вскоре жажда наживы оказалась сильней рок-пуризма: водилы, в те времена FM-безвременья, требовали от кассет блатняка, и нам пришлось откалибровать свои предложения под ихний спрос.

(Как-то в рабочей столовой я был зачарован следующей картиной: лысый грузчик Валера нес к усам ложку с супом. Это было сильно, страшно и медленно, как в гестапо. Проникающий тремор сводил на нет всю его сосредоточенность. И по усам не текло, и в рот почти не попадало. Когда я осторожно поинтересовался: в чем дело?, мне ответили коротко и важно – «попей с его». Когда сейчас меня спрашивают, отчего я так разбираюсь в шансоне, и откуда знаю столько песен, мне хочется ответить словами Валериных коллег.)

Но шансон шансону рознь. Мы открыли для себя такого исполнителя, как Ефрем Амирамов. Кто он, откуда – я и сейчас не в курсе. Но наизусть знаю и даже неплохо пою его песню «Молодая» – при моей-то вокальной бездарности. Гипнабельность этой вещи мы вычислили эмпирическим путем, и бесстыдно ее эксплуатировали. Едва какой-нибудь автоджигит с кавказскими номерами выпрыгивал из кабины, мы врубали «Молодую». (Пара кассет были заранее подмотаны до нужного места.) Звуки настигали водителя, он замирал, озирался, делал балетное па, разворачиваясь, и, как зомби, чуть ли не строевым шел к нашему шалашу. Амирамовых мы продали, наверное, если не на платиновый, то на золотой диск.

И еще одна моя нанотехнология, тоже на национальной подкладке. В Осокине годов с 70-х проживало какое-то количество чехов, строителей. «Чешские дома» – до сих пор для тамошнего рынка недвижимости понятие культовое. Правда, были они словаками, и отношения с местными у них не складывались. Сами они безобразно фарцевали, блатные осокинцы их периодически грабили. Любили «чехов» только девушки, но природа этой любви была всем очевидна; между тем, братские народы хотели немножко уважения и свои триста тридцать кубиков ласки. У нас на «Пензе» они тоже чего-то строили, бродили по окрестностям в небесного цвета робах в обеденный перерыв. И я нашел для них ласку и утешение в одном флаконе, когда привез из города упаковки баночного пива, которое осокинцы сроду не потребляли, по-старообрядчески полагая похотью антихристовой, буржуйской забавой. В ларьке, на Втором, где баня, у Раиски, хоть разбавленное, но родное.

Это я все к тому, что в бизнесе мы легко осваивали маркетинг, сегментирование рынка, всякие там таргет-группы, не подозревая о назначении терминов. И я бы к нынешнему времени вполне

мог дорасти до средней руки периферийного олигарха, но один случай в корне поменял профориентацию.

Ну, лето. Жара, пыль, мухи, как говорил один хороший писатель. Прохладительные напитки в ажиотажном спросе. Причем не минералка, которой тогда, кстати, и не было, а кислотных расцветок дрянь в пластике от неведомых производителей. Мы, единственные на «Пензе», за взятку подключены к электричеству, и холодильник у нас работает, как фордовский конвейер. Конкуренты где-то воруют промышленный лёд, но к обеду весь его эффект – в пользу бедных, которыми тогда, повторяю, были все...

Кстати, буду настаивать: капитализм в России появился не благодаря цеховикам и «лаврушникам» южной школы на исходе 70-х. Не родился от мезальянса номенклатуры и кооперации. Не стал следствием августовского путча. Он получил путевку в жизнь на тот момент, когда торговля – как частная, так и остатки государственной – взялась повсеместно охлаждать напитки: безалкогольные, а равно пиво и водку.

Очень близко подошли к истине те эксперты (Василий Аксенов и Ко), кто выводил генезис советского западничества и рынка из кока– и пепси-кол. Завороженные самой коричневой жидкостью и рекламными бюджетами мировых брендов, они, впрочем, не додумали, что дело вовсе не в фактуре, а в температуре.

Ведь было как? Само слово «лимонад» заключало в себе все характеристики напитка, химические, физические, эстетические – хочешь, пей у прилавка, добрая тетька-продавщица одним скупым движением откроет бутылку и выдаст стакан; хочешь – терпи до дома и холодильника.

Всей-то разницы: лимонад «Буратино», даже огорчительно теплый, пены почти не давал, а, скажем, «Вишня» или «Яблоко» закипали шампунем, и какой-нибудь тяжелолицый мужик, всегда случавшийся рядом, констатировал: да этим похмеляться можно!

Томатный сок наливали прямо из банок. На том же прилавке имелся стакан с крупной солью, грязноватой, как халат продавщицы, и другой, с водой – ополаскивать ложечку после подсаливания и размешивания. Вода медленно бурела; зрелище завораживало. Так, наверное, очарован бывает и злоумышленник, отмывающий в медленном лесном ручье финку. После дела.

Так что не цвет и крепость напитка, но именно холодная анестезия пузыриков, прокалывающих язык и заставлявших истомленное горло биться в оргазме, перевозили наших граждан в общество потребления. Безвозвратно, как Харон.

Так что символом 92-го и экономических реформ в России должен быть по праву признан не Гайдар, а холодильник.

...И вот именно холодильник наш, не выдержав сверхнагрузок, ломается. Без права восстановления, как презрительно обещают нам могучие ребята-«холодильщики» в мастерской.

Надо что-то решать, и стремительно. Жаркий день год кормит; конкуренты, ранее униженно просившие в аренду клочок холодильникова пространства за любые деньги, насмехаются и предлагают напрокат промышленный лёд – на стадии его превращения в грязные лужицы.

У нас, впрочем, имелся запасной, здоровенный, советский, «Юрюзань», в гараже, но там своя история. Полгода назад внезапно женился наш друг Каиров, переехал с молодой супругой Анжеликой в секцию гостиничного типа и озаботился обстановкой комнатки. Лика водрузила в центре столик, посреди столика – декоративную свечку-фаллос, засохший свадебный букет, забросала поверхность распахнутыми журналами «Бурда», накрыла софу бархатом, прочие заботы поручив Каирову. Сопроводив это интересными словами: «Пусть коноёбится».

Лучше по тем временам и не скажешь.

Каиров так и сделал. Смастерил какие-то табуретки, обтянув всё тем же ворованным с градообразующего Осокин предприятия бархатом, а холодильник занял у нас. Временно, на пару месяцев, пока раскрутится на ремонтах чужих квартир, и купит собственный. Или заберет дядькин, поскольку дядька с семьей переезжает в бабкин с дедом дом, а зачем в доме, пусть и полутораэтажном, два холодильника? Тогда не парились.

Мы хотели сделать холодильник подарком, вроде как на свадьбу. Но Каиров озверел и вос-

противился: на свадьбе вы уже подарили, перепились и подрались, а я, что – не мужик, на холодильник семье не заработаю?!

Прошло полгода, но Каирову не зарабатывалось. А тут у нас жаркий день как купюроприемник, такая засада.

Да, я пока не называл по имени своего компаньона, которого звали Митя Живой. Фамилии своей он, естественно, соответствовал, как любой бы из нас ей на данном промежутке существования отвечал, но главным живчиком в нашем тандеме был я.

Мы спорили до хрипоты, скандала и после бутылки псевдогреческого коньяка.

Не то, чтобы я скорбел об утраченных прибылях, и перед глазами у меня плыли радужные знаки. Но бизнес уже захватил меня, тащил, перемалывал, и моя личная экономика переходного периода увлекала в русло без границ.

У Митьки Живого, человека трезвого и положительного, аргументация была проста. Каиров наш друг, у него сейчас семья и проблемы. И, забрав холодильник, мы, зная Лику, рискуем разрушить первое, а второе усугубить. Ну, проживем без аппарата. Подумаешь, пять бутылок колы не продадим. Расторгуемся, купим бэушный...

А я, которому по амплуа следовало быть гуманитарием и либералом, орал, тряс конечностями, и будил в Митьке зверя и коммерса. Говорил, что Каиров сам нарушил договоренность и не надо было ему быковать, а принять холодильник в подарок. А раз уж полез в бутыль...

– Пойми, братан! Он хлестанулся, значит, подписался... Его базар, за язык не тянули.

Я говорил, что Лику мы никогда не любили, со школьных еще времен, и как она, по отзывам друзей и подруг, была неверна Каирову, пока ждала его из армии.

– Ну, разойдутся – и хорошо! Все равно он к нам прибьется. Куда ему по жизни идти еще...

...Мы подъехали к дому гостиничного типа в сумерках, коротко поговорили с Каировым. Он нам даже помогал грузить «Юрюзань» в багажник «копейки» через окно, с вечными своими прибаутками. Только кончик улыбки едва заметно подрагивал, как у Валеры-грузчика в рабочей столовой. Лики дома не было.

Недели через две я почувствовал, как противно стало заряжать баллонами холодильник, впаривать кавказцам кондомы и Амирамова, слушать в ларьке днем Наташку, а ночью, с забредающими знакомыми блатными, «Лесоповал».

Я долго не мог разобраться в причинах моего охлаждения к делу, как еще недавно казалось, всей будущей жизни. И только, пытаясь приладить на холодильник плакат Ника Кейва и Дурных Зёрен, физически, через омертвение ладоней, обнаружил, что причина – в нем. Не в Кейве, а в холодильнике.

Через несколько лет, когда я сделался выпивохой, узнал: тот комплекс вины, что испытываешь с похмелья, называется «срамотой» и имеет химическую природу.

Но у меня тогда, в августе 92-го, была срамота трезвая и стыд реально ел глаза.

Вскоре я спровоцировал, из-за коробки сигарет «Луч», Саратовской табачной фабрики, безобразный скандал с Митей Живым у себя на кухне и с облегчением ушел из большого бизнеса.

На всю взрослую жизнь оставшись без профессии.

* * *

Я, честно, не знаю, кто я. Меня называют «журналистом», но сам себя я определяю подобным образом крайне редко. Посторонние имеют на это право, я – никакого. Мне нравится ленинское честное, анкетное «литератор», но и литератор я – максимум на четверть, а куда девать остальное?

Формально я по-прежнему имею отношение к бизнесу, ибо владею какими-то медийными активами, но это уже, как у Есенина в «Стране негодяев»:

От еврея и до китайца
Проходимец и джентельмен,
Все в единой графе считаются
Одинаково – business men.

По моему мнению, медийный бизнес – не бизнес, как Финляндия не заграница.

А всё холодильник.

И самое смешное, что Каиров с Ликой, конечно, разошелся, но не из-за холодильника, а гораздо позже. Потом разошелся со второй женой и т.д. Митька владеет в Осокине магазином автозапчастей и сельхозтехники, Лика – салоном красоты, чтобы заниматься собою, не отходя от кассового аппарата. Выглядит, говорят, отлично.

ИГОРЬ ТАЛЬКОВ, «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» И ДРУГИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ

В те дни и даже ночи, 19-21 августа 1991 года, я был с моим народом и там, где мой народ, по счастью, был.

Впрочем, и другое имелось отличие от Анны Андреевны Ахматовой. Я жил в маленьком и не степном даже, а полупустынном городишке края России, выпивал и курил, работая на образующем городишку текстильном предприятии грузчиком.

Теперь, кто был моим народом. Бригадир с очень бригадирской фамилией Бусыгин, Сашка, человек с кудлатой головой и неровной сединой, как часто бывает у пьяниц-рабочих, с такого же цвета шерстью в ноздрях, куда глубоко было видно.

Бусыгин обладал громким, с хрипотцой и даже подвизгом голосом, слыл скандалистом. Что не мешало ему прекрасно ладить с начальством, а регулярное и, подчас, запойное пьянство этот лад только укрепляло.

«Жила» с ним бригада наша очень неплохо.

Вторым, по старшинству и пьянству, был Валера по прозвищу Хухуй. Валера как-то причудливо заикался. Большинство слов у него выходило так-сяк, а короткое и главное ругательство затягивалось. Допустим, «бля» звучало, как у всех людей, а вот Валерино «хухуй» сильно подкупало наших мастеров, трех дам между тридцатью и сорока – видимо, в увеличении размера, хоть бы и на словах, воплощались их представления о горьком бабьем счастье.

На Валеркины позывные они сбегались из диспетчерской, соседней с нашей бендежкой, и замирали, когда раз, еще раз, еще много-много раз, звучало заветное.

Оно звучало постоянно, Валера был словоохотлив, их любимой темой с Бусыгиным были жены. Называли они своих половин «баба». Или «моя».

– Позавчера случай был, – говорил Бусыгин, мешая домино. – Шли бабы со второй смены, через третью проходную. Мимо парка. Из кустов, где пивной ларек у Раисы, два молодяка каких-то... «Стоять!!», туда-сюда, с заточками... У одной всю получку отняли, у другой не нашли... А всё перестройка и Меченый этот. Распустили поколение, потеряли.

– Как-кая, ху-хуй, перестройка, – возражал Валера. – Всегда там, в парке, го-гопничали, бля... У Горбачева своя голова, у людей своя... Вон моя баба кошелек на постоянку в лифчик прячет. И ху-хуй найдешь...

– Тебе хорошо, у тебя у бабы сиськи есть. А если у моей сисек нету?..

– Не си-сиськи здесь важны, а, бля, голова...

«И ху-хуй» – хором выдыхали слушательницы и, трепеща, скрывались в диспетчерской.

Для меня тогда стал открытием весь даже не сериальный, а полноформатный драматизм взаимоотношений коллег со своими «бабами». Базирующийся на явлении, прямо противоположном пролетарскому алкоголизму – ревности. Жены ревновали работяг исступленно, по-латиноамерикански. Если в понедельник «на территорию» каким-то образом проникала жена Бусыгина, атакуя его, прямо в коллективе, обезоруживающим вопросом «Блядовал?!», можно было быть уверенными, что во вторник, самое большее, в среду, тот же номер повторит супруга Валеры Хухуя.

Я полагал, будто всё это театр, со временем ставший жизнью, ибо Бусыгин и Валера являлись однолюбами водки, и даже футбол с рыбалкой их почти не занимали, не говоря о прочем.

То есть, наверное, когда-то и занимали, но горбачево-лигачевский сухой закон, к тому време-

ни только прекративший работать, сделал миллионы русских мужиков мономанами. Если раньше последовательность «взять и употребить» легко вписывалось в режим дня и оставляла время для других хобби, своих, чужих и ничьих жен, то в конце 80-х повестка дня сменилась на «достать и употребить», что выливалось в сплошное нарушение режима. Не столько в спортивном, сколько в метафизическом смысле. И дело вовсе не в легендарных тогдашних очередях.

Страну попросту сбили с ритма, и назвали это, по-своему логично, «перестройкой».

Так я думал тогда плохо, а, может, хорошо, о семейной жизни своих товарищей, и ошибался. Бусыгин с Хухуем, наслушавшись вопросов «Блядовал?!», любопытство своих баб иногда удовлетворяли эмпирически.

Помню рассказ Валеры про дачный стриптиз какой-то Мули (парикмахерши, конечно) и все, что произошло дальше, по-японски, под сливами; впрочем в истории, наравне с Мулей, фигурировало пиво, «ба-бархатистое такое». Муля, как всегда почему-то в подобных случаях, на хухуевых шести сотках позабыла трусы, и они сделались символическим стягом Валеркиной супружеской жизни на многие годы.

Словом, если пролетариев первых десятилетий советской власти гегемоном делал агитпроп, то в последние годы они полагали себя доминантными самцами по инерции, а в большей степени возносила их ревность собственных жен. Хоть с сиськами, хоть без.

Еще в бригаде у нас были «французы». Двое глухонемых, обоих звали Витями. Грузчики они были золото, и что-то французское в них действительно присутствовало – один Витя осанкой, инженерской какой-то, скупостью и рассудительностью каждого жеста напоминал Атоса, другой Витя имел лихо, по д`артаньяновски закрученные усы и то ли гасконскую, то ли обезьянью ловкость рук и гибкость ног. Когда я по блату (да! грузчики, особенно в бусыгинской бригаде, зарабатывали немало стремительно обесценивающихся денег) на лето устраивался в транспортный, как это называлось, цех, мне сказали:

– К французам в бригаду пойдешь...

Я был поражен всеохватностью пролетарского интернационализма, и только в бригаде осознал его фольклорную природу. Она распространялась и шире – соседнюю бригаду грузчиков металлолома называли «арабами». Происхождение этого прозвища осталось для меня загадкой, хотя в наколках и повадках «арабов» смутно угадывалось.

Ночь на 19 августа я провел у подруги Илги. «Подруга» – до сих пор затрудняюсь определить, в каком смысле. Были ли эти отношения, затянувшиеся на несколько лет, романом? С моей стороны, наверное, да. С ее – кажется, тоже. А сложения никак не получалось, сплошное вычитание.

Илга училась в соседнем областном центре, понарошку там хипповала, и тогдашний неоригинальный леди&джентльменский набор у нас совпадал: Сальвадор Дали, Сергей Соловьев, Серебряный век, Василий Аксенов.

БГ, разумеется.

В чем-то мы расходились (она была страстной битломанкой), а в Высоцком и Вудстоке совпадали.

Я, конечно, неформала не лепил, был короткостриженным, отслужившим срочную, что-то царапал в рифму, и даже Илге не показывал. Когда в соседнем областном центре попал в ее компанию и договорился с будущим близким другом на предмет редких квартирников М. Науменко, тот уважительно отметил:

– Надо же, гопник, а Майка знает...

Тогдашняя Илга была, конечно, чудесной девушкой и чудесности ей добавляло то, что жила такая фигуристая блонд, фенички, косметики ноль, попа в линялых джинсах, у нас на Силикатном поселке.

Да, в нашем макондо есть и Силикатный, сразу после Второго участка. Но если Второй беден и карнавален своим советским средневековьем, то Силикатный пещерно серьезен, как сам социалистический реализм; несколько вполне зажиточных домов впечатление только усугубляют.

Мне, однако, никогда не были понятны тамошние топографические ужасы, которых пугались порой не только барышни, но и вполне амбалистые парни. Малая родина не может быть страшной, иначе она и не родина вовсе.

Так вот, накануне, мы с Илгой, по обыкновению, проговорили полночи, а во вторую половину решились раскурить гашиша, который мне, в дописку к магнитоальбомам Янки и «Гражданской обороны», привез из Питера старый друг.

Нет, я не соблазнял девушку кайфом, и не думал, будто после него у нас продвинется. Тогдашние девушки, а хиппушки особенно, сначала выпивали и курили, а уж потом – все остальное. Причем между первым и остальным проходил не час и не два, а нередко – годы.

Ну да, дальше умных разговоров у нас... увы. И не в Илге проблема: она то и дело бросала мячики. В несвойственной ей жеманной манере сообщала, что спит в одних трусиках. Или объявляла: бабушка ночует сегодня в городской квартире.

А я немел и каменел.

И ведь не был на тот момент последним девственником бригады французов!

Вырос если не на улице, то в спортлагерях, где физкультура, как в древних Афинах, упрощала нравы. Был ведущим школьных дискотек, что автоматом вело к возникновению и расширению круга поклонниц... В студенческих общагах живал, самоходы в армии...

Словом, утром 19-го, я, с легкой, как облако, головой после гашиша, но с привычной уже чугунной болью промеж ног, прибыл на работу после Илги и ночи без сна. Последнее в юности почти не ощущается, как и гашиш, но в совокупности раздевает реальность до рваного мистического исподнего. Это как ролевые игры на чердаках хрущевок.

Поэтому бросившихся ко мне Бусыгина с Хухуем я и воспринял соответствующим образом. Точнее, их рассказ, с попытками перебить друг друга, об арестованном Горбаче. Мне показалось, что вопреки установленному порядку, заикается Бусыгин, злорадствуя над завернутым в одеялку президентом СССР, а Хухуй речью плавной и напевной жалеет горемычного Михал Сергеича. Ненавидели они его, конечно, оба, подобно всем русским пьяницам, но Хухуй был объективней: он даже для «бабы» своей находил добрые слова, не говоря о Горбачеве.

Больше всех, видимо, понимал в происходящем старший Витя-француз, Атос. Откуда к нему, по глухонемой его инвалидности, пришла информация? Похоже, из «Лебединого озера», где Витя прозрел не только случившееся, но и последующее.

Вообще день, даром что понедельник, выдался почти праздничным. Начальство куда-то запропастилось – закручивание гаек наверху первое время всегда оборачивается анархией внизу. Мы до одури сражались в «поку». Так называл доминошный покер фанат и, кажется, изобретатель этой игры Бусыгин. Потом, традиционно, перешли на «морского». Я пребывал в прежнем отвязном состоянии, но партнером у меня стал Витя-француз-младший, игрок стремительный и умелый, однако в одиночку против пары Бусыгин-Хухуй и он не тянул. Через час нам повесили и «сопливого» и «вонючего», а в финале оставили «с яйцами». Бусыгин, обрушив победоносный камень, провозгласил:

– Коккинаки!!

Значение фамилии он едва ли знал, но с яйцами она у него ассоциировалась.

Грохот стоял такой, что даже Слава Бурцаев снял наушники, в которых слушал «Кино».

Да, был в бригаде еще один народ – этот самый Слава, парень старше меня на несколько лет, качок и меломан. У него была прямо противоположная Бусыгину и Хухую жизнь – он совершенно не пил, не говоря – блядовал. Жена его, Генриетта (это не литературный изыск, как, впрочем, и Илга, в нашей онемеченной еще Екатериной степи Генриетт с Гертрудами хватало), подозревала Славу в тайном пьянстве, ненавидя этот порок почище всякого арестованного Горбачева. И естественно, Слава, когда Генриетта отбывала на свою заочную сессию в соседний областной центр, полюбил вкушать запретный плод, в основном, в компании со мною. А сошлись мы на музыке. Хотя расходились в пристрастиях куда больше, чем с Илгой.

В тот август Слава фанател от «Кино», которое для меня стало пройденным этапом еще до армии. Уже потом я понял, что Слава любит не столько музыку, сколько мертвых – ровно год назад, в августе 90-го, погиб Виктор Цой. «Зоопарк», рекомендованный мною, Слава поначалу забраковал, но узнав о смерти Майка, повернулся к группе живым интересом. Когда от СПИДа

скончался Фредди Меркьюри, он влюбился в QUEEN, утопив в скорби естественную гомофобию. Потом надолго увлекся Игорем Тальковым... Но о Талькове речь впереди.

Я дразнил Славу придуманным сравнением «Кино» и «Ласкового мая». Он, человек основательный, требовал аргументов. А их не было, и Слава огорчался.

Вместо аргументов у меня было воспоминание, поставившее «Кино» с ЛМ в одну ячейку подсознания: бренды популярной музыки, как мизера, ходят парами, а образуются пары, подобно подлинным любовям и дружбам, уверен, на небесах.

***

Было это еще в Советской Армии, и даже, о боги войны, в учебке её.

Один из нашего взвода, Валюн Приваров, краснодарский, через пару месяцев после присяги, уехал в отпуск. Что-то у него там дома случилось, а может, просто семейная алхимия, заверенная тамошним военкоматом по блату. Потом приехал, и мы, взвод, тридцать невольных аскетов, изнурявших плоть священным долгом и почетной обязанностью, встретили его, как инопланетянина. Отдав колбасно-промасленные свертки в каптерку, Валюн оделял нас сигаретами с фильтром, ростовским «Космосом», каких ни в одном чипке не встретишь. Он стоял в курилке в парадке, сверкавшей под безжалостным солнцем, окруженный желтыми хебе. Валюн заговорил, как проповедник, не замечая даже сержантов, слов было много, и все какие-то гражданские. Я задал вопрос, нарушающий устав – не по букве, так по духу. Хрипло:

– Валюн, а что там... они... ну, слушают сейчас?

– Новый концерт «Кино», восемьдесят восьмой год как раз... «Группа крови, на рукаве, мой порядковый номер...» Про солдат. Мы про них, они про нас. А еще группа появилась, «Ласковый май», нууу, просто каску сносит. Такая музА... Ребятки поют, пацаны совсем. На гражданке фигеют толпами от них.

Меня смутило приторное название – вкусом ириски, прилипающей к зубам и к нёбу. Однако я решил, что это концепт, хотя термин тогда еще не знал. В соединении с рассказом получалось нечто припанкованное; для круга, в котором я вращался, «каску сносит», было многие годы лучшей рекомендацией.

Впоследствии я с остолбенением открыл, что «Ласковый май», по рассказу Валюна, показался мне «Комитетом охраны тепла», никак не меньше...

...После учебки, я отъехал в войска. ПВО. И сразу попал «на точку», подземный командный пункт, с голубоглазым именем «Парадиз» – такой был там позывной. И то верно: от перемены мест закладывало уши, я понял, почему штатные зеки, выходя, воздевают руки: «свобода!», «свобода!». Отношения между призывами, при всей дедовщине, были без напряжения: как в семье, где ругаются и дерутся, но без участковых и товарищеских судов.

Хозвзводовский замкомвзвода, сержант и аварец Мухтар, навещал наших старых, пил чай с печеньем, косился на бутерброд с салом – видит, аллах, не видит? – и вел разговор, рассказывая, как погулял в городе. Самоход это был или увольнение – я так и не понял; впрочем, для Мухтара это, похоже, никакого значения не имело.

– Похавал в кафе, – перечислял Мухтар. – Но на ужин все равно в часть зашел, на кухню к Анварику... Взял чай, хлеб, масло духам дал, и штук шесть рыб...

(На ужин в Советской армии, как известно, дают морскую рыбу – минтай или хек – и Мухтар говорил не о целой рыбе, но о порциях.)

– В городе кассету дали. «Ласковый май» называется. Сколько слышал, мечтал сам послушать. У вас же мафон тут есть, радисты, да?

И тут я сделал, видимо, то ли звук радости, то ли движение, нарушившее вековой, как в Китае, уют стариковского чаепития, Мухтар на меня покосился, увидел, конечно, насквозь, но ничего не сказал. Ухмыльнулся, угадав природу моего порыва.

– Эй, Поп! – подозвал он своего ординарца, моего призыва. – Сюда иди. Вот ключи, в 66-м, в бардачке кассета лежит. Принеси.

Магнитофон был «Квазар», а первой песней, натурально, «Белые розы».

Эмоции мои тогдашние легко представить – солдатом я был чуть более полугода, а рок-н-ролльным слушателем – лет с двенадцати. Однако подлинность – не чувств, конечно, и не слОва, но дела, – лихого и одновременно трогательного коммерчески-прикладного жеста, родного и чуть противного – я оценил. И зауважал.

Если вам интересно мое мнение, все это было у «Кино» и составляло во многом обаяние Цоя – хоть раннего, хоть... поздним он стать так и не успел. К лучшему.

По причине «Квазара» я не мог тогда заценить приютского уровня первой записи ЛМ – явно на бытовой магнитофон, с заваливающимися каналами; саундом – гаражным, не по сути, но по звуку.

Потом пошло. Августовский, опять же, выходной день, казарменный комфорт, черпаковские радости – «стираться» не торопясь, перекуривая, а когда хебе выстиран, в трусах под варёнку и майке валяться за казармой на теплой травке. Из окна на втором этаже, где кубрик батареи управления, как из облачка:

Пусть в твои окна смотрит беспечно
Розовый вечииир
Пусть провожает ласковым взглядом
Смотрит нам вслед
Пусть все насмешки терпит твои...

Щемяще; и не надо надо мной смеяться, из моего подъезда, пацаны.

Когда, за полгода до дембеля, уже я поехал в отпуск, сестренка рассказывала, как у них в классе все девчонки, представляешь, пишут дневнички, рассказы и даже романы о своем романе (воображаемом) с Юрой Шатуновым, солистом ЛМ. Не говоря уж о песенниках. Одна так навоображалась (но у нее и дневник был самый классный), что увезли в дурку.

Не худший вид писательского успеха.

***

К концу не начавшегося рабочего дня, Слава стал подмигивать мне из-под наушников. Отвел из бендежки в клумбы.

– Бухну́ть можно. У меня. Гетка уехала.

– Так лето же, никаких сессий... Вон в стране чего твориться.

– А, племяшку поступать повезла. Гетка там все знает, заканчивает, свой человек. А что в стране... Мне не до того, мне успеть надо. Она через три дня вернется.

Водка к тому времени появилась в открытой продаже, без всякой очереди, но народ по-прежнему предпочитал свое, не привозное. Самогонное, по-булгаковски выражаясь, озеро, клокотало за каждой второй дверью, а на Втором участке – так и за каждой первой. Мы приобрели литровую банку (пластиковой тары еще не было), от щедрот нам преподнесли и бонус – четвертинку.

Она-то нас и добила, уже когда танцевали под винил «Бригады С», на другой стороне – «Наутилус Помпилиус». Нет, барышень никаких не было, просто Слава был педант: выпили – значит, танцевать. Часть программы. Хоть вдвоем, да и какой понт с этих баб? Тут за пьянку-то: узнает – убьёт. Не окончив пляски, Слава побледнел, покрылся испариной и нетвердым шагом потащил свое твердое тело спортсмена в туалет. А я, слушая его звуки вперемежку с «Нау» (получалось интересно и неожиданно), отрубился.

Сказалась прошлая ночь, да и устал.

Следующий день выдался уже не столь юбилейным. Погрузка пары вагонов и десятка контейнеров, кипы «экспорта» по шестьдесят килограммов каждая, «это вам, молодяки, вместо поправки» – подвизгивал, заливался сбоку Бусыгин.

А в обед в бендежку зашла одна из мастеров, Татьяна. Подрабатывала она у нас же уборщицей, чего остальные мастера брезговали. «Галя институт заочно кончила, скоро сама начальником будет, а у другой Татьяны муж ха-харошо зарабатывает», – пояснял объективный Хухуй. В результате уборщицкого труда Татьяна не стала ближе к народу, а зависла прослойкой, отчего

терпеть нас не могла.

Поэтому я сначала, наткнувшись на ее нехороший взгляд, не придал значения. А потом понял, в чей это адрес, и к кому она сейчас начнет обращаться.

– Скоро, скоро теперь – Татьяна запричитала почти по-фольклорному. Села на лавку, обитую дермантином. – Видите в стране, что стало, наконец-то, – она указала на коричневое радио, передававшее «Маяк» и погоду. – Всех счас задавят, кто начальство ругал и руководство.

(Бусыгин с Хухуем заскучали, хотя сразу почуяли, что не про них, крывших матерно Горбачева, Татьянины угрозы.)

– Набрали блатных! – распалялась Татьяна – Попрятали партбилеты, и решили, что всех к нам, на шальные деньги, можно. Позвонил – и устроили: хоть племянника, хоть карманника. От таких, как вы, страну сразу спасать было надо! И спасаем уже.

– Слушайте, Татьян, чего наезжаете? По работе есть претензии? – огрызнулся я; Татьяна была теткой вредной и явно многим обделенной, но советской ортодоксии в ней раньше не замечалось.

– Есть! Пришел с запахом!

Работяги скучно рассмеялись.

– Если по этой причине до работы не допускать, вы одна вагоны грузить пойдете...

– Запах, да не тот! – Татьяна вдруг широко распахнула глаза и уставилась своими осенне-серыми. Сделавшись даже интересной. – Видела, какие ты книжки тут носишь... (Я и впрямь имел дурную привычку мусолить в перекурах, второй, а потом третий том «Архипелага Гулаг». Издательства, кстати, «Правда», в каждой «Союзпечати» стоял). – Какой музыке Славку, нормального человека, учишь. Это ж смотреть страшно. Вот придут проверять, первая на тебя покажу, во все списки внесу. Будет тебе и Москва, и институт. Сдохнешь у меня на «экспорте»...

Я открыл было рот, закипевший ругательствами, но Татьяна засеменила, согнув сколиозную спину, в диспетчерскую, явно исчерпав запал. То ли пот у нее был таким обильным и едким, то ли мастер-уборщица сильно замочилась, отрабатывая полставки, но, вскочив, она оставила на буром дермантине два влажных полужопия. Я на них тупо уставился.

– Не обращай, – посоветовал Хухуй. – Чего возьмешь с недоёба-ба-баной бабы... Думает, ГКЧП, бля, в стране, так теперь на мужиков тянуть можно? Ху-хуй угадала. Она и ко мне подкатывалась.

– Ко мне тоже, – сказал Бусыгин. – Когда еще, до перестройки. Но баба моя заявилась сюда, так Таню отхуесосила, она, бедная, и наряды мне закрыла, каких не было. Эх, и чего я не племянник? Вообще б не работал.

А Слава даже обиделся:

– Корова, наглухо. Кто еще кого учит... Ты вот «Ласковый май» слушаешь, а меня и под пистолетом «макаровым»...

Надо сказать, в области популярной музыки о вкусах спорят издревле, на точке кипения, изнуряющее. Меряются скрипичными ключами и гитарными грифами.

До глупостев.

Окуджава сказал: «Это у Алены Апиной творчество, а у меня работа».

Юрий Шевчук раз пошел бить физиономию Филиппу Киркорову, и потом много лет неинтересно об этом рассказывал.

Земфира: «эти серые лица не внушают доверия/ теперь я знаю, кому поёт певица Валерия».

И даже Макаревич сочинил частушку «Рассмеши меня, Петросян».

А итог подвел Александр Лаэртский: «странно, что Окуджава оперировал таким понятием, как Алена Апина. Хм...».

Но и он неправ: из истории и практики известно, что самая непримиримая борьба – внутривидовая. А в той сфере, о которой я рассуждаю, внутривиды бьются на крохотном клочке подкорки одного-единственного индивида. С переменным, как сама вечность, успехом. И под влиянием привходящих обстоятельств. У меня, например, многое зависит от беспокойства и перемены мест.

Живал я как-то в монастыре Оптиной пустыни. Про массу аналогий между Советской армией

и практикой православного монашества сказано много, природа обеих институций разительно схожа. Кстати, в монастырях тогда много послушалось бывших военных, прошедших, в том числе, выражаясь неточно и официально, горячие точки.

Сейчас волна монастырского неофитства схлынула, потому некому говорить и о сходстве во вкусах, опять слажаю штампом контингента. Но я скажу.

Монашествующие, конечно, сначала предстают знатоками-адептами духовной музыки, но поскребешь – и выплывает, как расписная, любовь к «песням отца Романа», эдакий православный КСП, бардовщина совсем невысокого пошиба. А когда ты еще не свой, но уже привычный, то проникаешь в стыдную тайну восприимчивости к попсе, которой, оказывается, густо набита вся тамошняя атмосфера.

А может, монастырь и не при чем, то есть как раз при чем, ибо беси, конечно, водят вокруг дискотеки, играют окрест глубоко свое. Противное и приятное. Заразное.

В то лето была группа «Шоколад», учредители которой, может, и не осознавали подтекста. Групп таких тогда наросло, как делириозных грибов, мелко и множественно, и все с подтекстом – «Комиссар», «Маленький принц», «Лунный свет»... Традиция, понятно, шла от «Бед бойз блюю».

«Шоколад» среди них считался особенно лиричным:

Ты на звонки не отвечай
Как будто дома нет
Пусть телефон звонит «прощай»
Гудками мне в ответ...

Вся Калужская губерния, исполать ей, слушала «Шоколад». Получал ли я послушание на огороде, который был расположен трассой, шли ли мы пешком двадцать верст в женский монастырь Шамордину на службу – из каждого «Жигуля», а особенно «Волги», пела группа с подтекстом.

Русскому человеку всегда лучше там, где его нету, хоть в пространстве, хоть во времени, и посреди доброго среднерусского июля из полей доносилось:

На белом-белом покрывале января...

Цепляло; из тараканьих лапок драм-машины, голоса испорченной сироты и слов, похожих на ладно упакованные презервативы, вдруг распускался у меня внутри дичок древнерусской тоски в миксе с верой и пониманием бренности сущего...

Из какого сора, писала уже та, что тоже бывала со своим народом.

***

Илге, вечером, я про истерику мастера-уборщицы рассказывал со смехом, повысив градус, не забывая несчастную Таню демонизировать и добавлять себе диссидентских очков. Дескать, предъявила не только Солжа, но и Галича. Посадить обещает. Злопамятная, и руки, сука, длинные.

Илга оказалась серьезной. И вдруг затеялась меня лечить: в Москве действительно происходит странное и страшное, наши забились по флэтам и впискам, ждут, когда начнут хватать. Совки подняли голову, такие, как эта ваша Татьяна, ты ее точно в нескольких словах описал, талант, стучать начнут дико, и не за страх, не за совесть, а по любви. Вернее, все вместе.

Илга умела себя накрутить, я ее такой еще не видел, тем паче не ощущал – через мелкую дрожь. «Колбасит» – сказал бы я про кого-то другого; вдруг мы оказались так близко, как никогда не были: руки в руках и дыхание дуэтом.

Через множество лет, целых три или четыре, замужняя не за мной Илга, с не очень естественным смехом, и уж вовсе фальшивыми пассами рук рассказывала, будто ее просто увлекла игра в знакомую до боли картину неизвестного передвижника «Ночь перед арестом». Забавляла новая роль жены декабристов.

Коммунисты поймали мальчишку, но свое он успел получить.

Ну не знаю. У меня есть железные, даже кровавые доказательства того, что все было настоящее.

Девственность, надо заметить, странный предмет: в процессе, конечно, угадывается, но результат все равно оглушает. Видимо, у палачей на работе развивается близкая гамма чувств.

Проснулись мы синхронно и поздно, пили бабушкин чай, осторожно ловили и сплетали пальцы, медленно говорили, заново привыкая друг к другу.

Потом я ушел, но обещал вернуться: мои, конечно, привыкли, но третий день вне дома... Конечно, я все понимаю, маме привет.

Мама, пребывавшая в очередном отпуске, рассказала, что там происходило, пока меня где-то носило, практически по часам, употребляя новое словцо «путч», которое у меня прежде ассоциировалось только с Гитлером и Мюнхеном. Телевизор ей взахлеб суфлировал. Мелькали то Горбачев, согласно Бусыгину – жалкий и в одеялке, то ражий Ельцин на танке, грубый Руцкой в камуфляже, лукавый Растропович с автоматом АКС 74 У, который он держал, как левый гонорар – застенчиво, но с большим достоинством, «за бесплатно пусть птички поют».

Презентовалась матрица – всей противной и искренней, как «Ласковый май» стилистики наступившего десятилетия в заново родившейся стране. После того, как она чуть не подохла в реанимации с тусклым кафелем и серым потолком.

Начался концерт, похожий на субботник, прямо перед Белым домом: махались, трехцветные флаги – точь-в-точь футболки команд второй лиги, вокруг звуковыех систем пионерами бегали маленькие распорядители.

Вышел какой-то нервный, в преувеличенно черном, с бородой и гитарой. Посмотрел на нас с экрана недоверчиво. Голос показался мне слабым, но слова были отчетливы:

И слетит шароголовый
С пьедестала прямо в ад
И ему там черти новый
Мавзолей соорудят...

– Это кто?! – прямо-таки завопил я.

– Игорь Тальков, ты разве не знаешь? – удивилась мама. – Гражданственные у него песни, очень популярны сейчас. Чуть ли не наследником Высоцкого многие называют...

Да, конечно. Пахнуло КВНовским мессианством. Видел в армии, и тоже по телевизору. Что-то про генеральскую тетрадь. Генерал в академии забыл тетрадь в классе, а срочники-дневальные нашли и теперь потешаются, ибо что мог творить там генерал, лекции вполуха, за окном апрель? Огромные погоны и звезды, да сходных объемов дамские зады.

Припев песни про тетрадку можно воспроизвести, если как следует сначала вдохнуть и дыхание задержать:

– Ра-ссс-ияаа! Ра-ссс-ииияаа!!

С Владимиром Лениным у меня, как у всякого в моем поколении, сложные отношения. Вернее – разные и пройденные стадии отношений; на тот момент было больше отрицания. Но не мышам, до которых таки дотрахались в позднейшем анекдоте, низводить его масштаб до своего уровня, подписывая подрядчиков, что тебя по-любому круче, на потусторонние архитектурные проекты...

С мамой я тогда, как и всегда, поспорил.

Заигрался парень. Не сойдет ему это просто так. Увидишь, мам...

Много лет спустя, в довольно убогой медиа-тусовке столицы региона, меня пару раз признавали «пророком года», поскольку предсказывал я лишь отставки да посадки. Всерьез относится к этому двусмысленному статусу сроду не хотелось. Но когда я вспоминаю 91-й и Талькова, внутри у меня становится торжественно и неуютно.

Процитирую, пожалуй, «Википедию»:

«На концерте, проходившем 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный», выступали многие исполнители. Подруга певицы Азизы по её просьбе попросила Игоря Талькова выступить первым, так как Азиза не успевала подготовиться к выходу. Игорь позвал к себе в гримёрку телохранителя певицы — И. Малахова, и между ними произошёл словесный конфликт. После этого двое охранников Игоря Талькова увели Игоря Малахова из гримёрки. Игорь начал готовиться к выступлению, но через несколько минут к нему прибежал администратор его

группы «Спасательный круг» — Валерий Шляфман с криком о том, что Малахов достал пистолет. Тальков вытащил из сумки газово-сигнальный пистолет, который приобрёл для самообороны, выбежал в коридор и, увидев, что его охрана находится под прицелом Игоря Малахова, сделал в него три выстрела. Телохранитель Азизы пригнулся, и охранники, воспользовавшись этим промедлением, стали его обезвреживать. Тогда он сделал два выстрела, но они попали в пол. Охранники стали бить стреляющего и, закрывая голову, он уронил свой пистолет. Через несколько мгновений раздался ещё один выстрел, который попал в сердце Игоря Талькова. Когда прибыла скорая помощь, врач сразу установил биологическую смерть»

***

И снова, множество лет спустя, мы сидели у меня на кухне, утром, с прославленным Чёрным Лукичом и похмелялись абсентом. Это была щёлочно-зеленого цвета «Ксента» – богомерзская, но термоядерная.

Накануне Чёрный Лукич (Вадим Кузьмин – поэт, музыкант, кораблестроитель, устный мемуарист, отличный человек) – успешно концертировал в рок-подвале «Медная башка», а потом, толпой, с гитарами и бутылками, как в бедной молодости, двинули ко мне, жившему тогда просторно и одиноко.

Было, разумеется, шумно, бестолково, немного агрессивно, Лукич играл и пел, я, окончательно попутавшись во временах, смазал какого-то юношу по физиономии – долго потом искал его, чтобы униженно попросить прощения.

Но пока утро – светлое и абсентное – мы вдвоем, разговор беспорядочен, и снова о коммунистах, не простых, а 96-го года, за которых Лукич тогда политически агитировал в составе панк-движения «Русский прорыв».

А где 1996-й, там и 1991-й, и я рассказал про Талькова и «шароголового», закончив пророчеством и всем последующим.

Дима, до рассказа хмельной и светлый, вдруг обеспокоился.

– Так ведь у меня... Сам знаешь...

Ногу на ногу Черный Лукич.
Пасть поперек, сухие губы.
Мальчик в зипуне, маленький старик.
Грянули марш зеленые трубы.

Мы из Кронштадта.
Мы из Кронштадта.

Возле сортира латышский стрелок,
Красные звезды на серой папахе.
Зорко глядит, чтоб не убег.
Трудно вязать петлю из рубахи.

Белые ноги на белом снегу.
Тело распухло, и все непонятно.
Будет весна, и я убегу
Голос грустящий, обрубок невнятный.

– Ну, Вадим, о чём ты, ради стёба, что ли? Я же тебя, когда только познакомились, первым делом спросил про эту вещь. Жгуче меня она всегда занимает, пробирает. А ты сказал, что, молодым, еще при глубокой Советской власти, увидел во сне всю картинку. И Его, именно так: черный, ногу на ногу... Это визионерство, а не наезд. Поэзия, а не картонка, где написано «проблемы и

перспективы».

Да и если брать сугубо земной, и даже внутриполитический план, у Лукича к Черному Лукичу, совсем и насквозь красному, точно не могло быть претензий. Если только к сравнению... Ты ж не Окуджава с Апиной и не Шевчук с Киркоровым.

– Точно не Окуджава, – сокрушенно помотал головой Дима.

– Тогда поехали обедать.

И мы поехали обедать, зазвав еще нескольких друзей и фотографа Василису. Чтоб запечатлела. В ресторан русской кухни «Индивид», где в рюмках потела водка, блестела икра и холодцы, а Чёрный Лукич был опять в ударе – и рассказывал, вспоминал героико-легендарные времена сибриского панка, Янку и еще живого тогда Летова, Эжена, Махно и Селиванова...

На поезд он успел, хотя обнимались, после обеда и по кругу, еще долго.

Осталась фотосессия; всё никак не напомню Голицину, чтобы сбросил мне на флешку.

Игорь СОРОКИН

СТИХИЯНВАРЯ

***

Вот оно, новое время двух ежедневников.
утро и вечер сместились. разъехались все, разбрелись.
все собираются жить по-другому и много успеть.
ёлки мигают. снежинки и зайчики спят.

***

А живу я на станции
с круглым названием «Сокол»,
улицу я запомнил, представив Уборевича с усами,
номер дома путаю до сих пор,
квартира 461.
лифт переставлен из соседнего подъезда.
по утрам я учу английский.
в 9.00 урок.
мой учитель, парень из Лондона, Лоренс,
на год младше моего сына Петра.
Теперь меня учит Сара, тоже из Лондона –
возраста я не знаю.
Она говорит очень быстро.
Я думаю о Казахстане
(там ползут, излучаются, травы).
Возвращаясь с урока я вспоминаю,
что живу на станции
с птичьим названием «Circle»

***

Вот, Иосиф, твой мёртвый заяц.
Вот твой войлочный телевизор.
ну и что? всё как прежде: айн-цвай,
драй, фир-фюр и, конечно, зибн.

В голове твоей лязг и трепет
за спиной парашют и море.

Игорь Сорокин родился в 1965 году. Закончил филологический факультет СГУ. С 1989 по 2007 – заведующий домом-музеем Павла Кузнецова. Стихи и проза публиковались в журналах «Волга», «Знамя», «Дети Ра», в альманахах «Дирижабль» (Нижний Новгород) и др. изданиях, а также в самиздате. Редактор журнала общества любителей вольных прогулок «Околоколомна».

***

чу! одиночества войска
вошли в расположенье ветра
мы стали музыкой для сна
и палочками для симметрий

лондон-на

1.
веришь ли наперёд
кони стоят на месте
поверхность воды дрожит
крестики на полу

если войной дружить
симметрию вспомнишь чести

в прекрасном каком-то месте

не понимаешь жить
для эти дни в полу-
денной и нощной крепости

правда ли нами движет
двигатель неизвестности?

2.
хорошо начинать стихи
строчкой, давно созревшей
ну, например, «когда срывает шайбу»

3.
видение звёзд налету –
учебник созвездий будто
со скоростью утра:
ту-ту-ту!

4.
кончилось путешествие

***

шапка на мне горит
ярко связала Светка

(верхняя полка, поезд
Москва-Раненбург, мандаринк)

Серёга – художник, может
бороду сделать синей

(ночь, Становая Ряса,
горка, Вергилий, Дант)

так в новый год легко
стать дважды два героем
Шарля Перро, Перро

(четвертинка куда-то делась)

***

над степью, над Волгой
над городом вывернут-т-треугольным
с именем древнего солнца в сердцевине
за стяжкой ж. д.
за пряжкой вокзала

Алма-аты-Саратов - темир жол: жола-
ушылар - Саратов-Москва

сандали-песок

в запотерянности аульской
между стрельбищами
и кладбищем кулугурским
маастрихт-кайнозой

выходи на зов –
это берег последнего моря
говори “чигирь!”

мезозой-юра
возле самого сердца слушай

у самого родника.

новая жизнь может быть в саду
с дочерью яблок.

Александр КОСТАРЕВ

***

Если будет тоннель, если будет в конце тоннеля
ослепительный свет, как свидетели говорят,
то и должен быть лавок торговых нестройный ряд,
то и нищий обязан быть в серой смешной шинели,

со ржавеющей баночкой, чтобы идущим к свету
оставалось хоть что-то, на чём задержать свой взгляд –
то есть нищий в шинели, да лавок торговых ряд.
Ибо где не кончается жизнь, там и смерти нету.

А идущие вдруг тормозят и стоят несмело
где-то между двумя измереньями. Нищий спит.
И так хочется дать на табак ему и на спирт.
Только нужно вернуться, забрать из карманов мелочь.

***

За проезд платили, в билет смотрели,
и автобус ехал сквозь долгий сумрак,
потому что счастье на самом деле –
совпаденье суммы.

Совпаденье суммы случайных чисел.
И автобус ехал, битком набитый,
мимо банков, рынков, аптек, училищ –
по своей орбите.

Потому что счастье – почти работа,
соблюденье, некая завершённость.
Потому что цифры считает кто-то
с видом отрешённым.

***

Один мудрый поэт говорил мне: зоркость и ясность,
больше реальности, там, «закурил», «перешёл дорогу».
Нужно просто писать о чём знаешь и не бояться
рифм-нимфоманок, а опыт придёт понемногу.

Фразы шаблонные действуют моментально,
повышают никчёмность стиха на ноль пять промилле.
А ещё говорил, чтобы было документально,
ты добавь, как приправу к бульону, имён-фамилий.

Александр Костарев родился в 1990-м году, живет в Екатеринбурге, учится на философском факультете УрГУ. Лонг-лист премии ЛитератуРРентген (2010). Публикуется впервые.

И садится на стул с размаху Кирилл Месилов,
а Киргинцева рядом с ним, перекинув ноги
через его колени, как всё же сильно
я люблю их. Красивых. Верных. Смешных. Немногих.

***

Если нам повезёт, если нас не убьют
террористы и вирусы,
мы, должно быть, навеки останемся тут,
зарубцуемся, вырастем.

Будем мёрзнуть зимой, и планировать как
оторвёмся на майские,
ждать пока перескочит весенний сквозняк
через горы Уральские.

Да пойдём по прямой от отеля «Хайятт»,
под стадами овечьими,
до моста, где замки с именами висят,
что любви долговечнее.

***

О.Л.

Всё о тебе, да о тебе
и не могу переучиться.
Наверно мне пора лечиться.
Всё о тебе, да о тебе.

Иначе нужно, о другом.
Я пробовал – не получилось.
Я пропитался, облучился
и вот отныне ты кругом.

Кафешка, университет,
нелепые, смешные встречи,
скупые, сдержанные речи.
– Привет.
– Привет.

Обнять тебя. Прижать к груди.
Не уходи. Не уходи.
Останься пёрышком на свитере.
Февральским прошлогодним Питером.
Полоской света позади.

***

В моей руке твоя рука
и это первая строка.
Строки второй не удержать –

руки твоей не удержать.
И очень может быть, что рок
судьбы не даст и десять строк
нам на свидание с тобой
в тетрадке тонкой голубой,
а жизнь – бумага и туман –
ужасна как анжамбеман,
и как последняя строка
бессмысленна и коротка.

***

Когда нам будет не о чем молчать,
мы не заговорим,
как если бы росли среди волчат.
Танцуют дикари

свой танец без начала и конца.
Но я учил другой
язык, каким от первого лица
не объяснюсь с тобой.

***

Когда я вырасту, я буду
водить второй вагон трамвая,
мне кажется, я справлюсь. Это
нетривиально, и к тому же
не причинит стране вреда.

Я думаю, что всех поэтов
нужно учить на машинистов
вторых вагонов, выдавать им
права особых категорий
и семинары проводить

два раза в год по повышенью
квалификации. Работа
что надо! Так же актуальна,
как актуальные стихи.

Светлана КОФ

В ИЕРУСАЛИМЕ СЕКСА НЕТ

Под Новый год меня ждал сюрприз. Точнее, не под Новый год, а в первый день нового, 2010-го года.

Дошагав по улице Яффо до филиала банка Апоалим на площади Сиона, я, подождав в очереди, всунула карточку в банковский автомат.

«Слолько шекелей желаете снять?» – вежливо поинтересовался автомат.

«500», – вежливо ответила я, тыкая пальцем в кнопки.

«Обрабатываю Ваш заказ», – сообщил автомат, затем с минуту трещал, тужился, но банкнот не дал.

Карточка высунулась, в то время как неизменно вежливый автомат попрощался: «Спасибо за Ваш визит».

Вынув карточку, я обернулась на очередь, почувствовав, что краснею. Но решила мгновенно повторить процедуру. С каким-то недоверием ввела родную мюнхенскую карточку в этот устаревший банкомат, и он проглотил ее как-то громко, со щелчком, по-допотопному.

«Сколько шекелей Вы желаете снять?»

Мои аппетиты уменьшились: вспотевшими пальцами я набрала «200», но результат был прежний – жужжание, выпрыгнувшая карточка, спасибо за визит.

Выругавшись (пожелала автомату подавиться своими банкнотами), я спустилась по ступенькам банка Апоалим, в ужасе недоумевая.

Рядом два панка чокнулись бутылками пива, какой-то дяденька средних лет крикнул им по-русски, пробегая мимо:

– Ребята, с Новым!

К моему удивлению, один из панков кивнул ему в ответ, а по площади Сиона в это время медленно и наискосок ехал фургон. По пояс высунувшись из машины, хасид в вязаной кипе скандировал в громкоговоритель, на английском и иврите – поочередно:

– Граждане, готовьтесь, придет Мессия!

Причем звучало это у него не радостно, а скорее угрожающе.

Временно впав в состояние транса, я присела на затоптаные ступеньки банка Апоалим и пару минут смотрела вслед дяденьке средних лет, тому, что поздравил «ребят» «с Новым». Он полушел, полубежал, то и дело разворачиваясь к отдельным прохожим и поздравляя их.

Вновь придя в себя, пошарила по карманам и в сумке, выудив 16 шекелей, что в переводе на евро означало 3 евро.

Была, кажется, в России такая передача – люди без копейки денег должны были как-то выжить. Я видела короткий отрывок: зима, Москва, рынок какой-то, и девушки-участницы вдвоем пристают к проходящим мимо мужчинам, попрошайничают и кокетничают. А на приобретенные гроши там же, на рынке, сразу приобретают что-то съестное. И отрывок этот почему-то запомнился на долгие годы. Наверное, немного потряс.

Светлана Коф родилась в 1980 году в Барнауле. С 96 года жила в Германии, затем во Франции, снова в Германии. Окончила мюнхенскую школу моды и дизайна, работала иллюстратором в рекламном агентстве. Учится в Мюнхенской Академии художеств. Публиковалась в газете «Молодежь Алтая», журнале «Сибирские огни».

Но попрошайничать вдвоем и рядом с камерами наверное даже весело. А еще здорово знать язык страны вашего пребывания. А если к языку добавить разрешение на работу, то, наверное, шансы заработать и вовсе как-то увеличиваются.

А вот если ничего из этого нет... Отсутствуют галочки рядом с перечисленными пунктами...

И вы не просились вовсе участвовать в этой передаче, и вообще не понимаете – что за чертовщина, не может быть... Тогда вы идете, покачиваясь, будто вам на голову упал из окна горшок с цветами... До ближайшей скамейки... (Одно хорошо: улица Бен-Егуда, начинающаяся на площади Сиона, вся уставлена скамейками.) Садитесь и с отвисшей нижней челюстью замираете минут на пять... Последние копейки тратите на 2 банки пива, похожие на те, что пили панки рядом с банком Апоалим... Потому, что очень, очень хочется пить... А вот на сигарету уже не хватит...

Сначала я решила, что меня ограбили. Точнее мой счет. Какой-нибудь умник переводил себе суммы. Да, такое бывает. И я, находясь в стране, где нет ни одного филиала Deutsche Bank, не могла напечатать пару выписок со счета.

Неприятно, однако. Описать, насколько это неприятно, я не в силах – здесь уже не словесность, а тошнота, крупное полупрозрачное темное пятно перед глазами, особенно в силу описаной ситуации.

Напротив меня, на широкой бетонной клумбе сидел хасид лет 35-и, курил, подставляя лицо солнцу и щурясь. Затягивался глубоко, со смаком, выдыхал то через нос, то через рот, и чуть-ли не колечками, как хоббиты. Очень, очень помедлив, я все-таки пошла в его сторону неуверенным шагом с целью попросить сигаретку.

«А что?– сказала я себе.– У меня, если видели, что курю, в последнее время то и дело просили».

Но стоило хасиду понять, что приближаюсь я именно к нему, как он, бросив быстрый взгляд на юбку, показавшуюся ему слишком короткой (кончалась чуть выше колена), закрыл себе глаза кистью руки, и так и сидел. Чем-то это напоминало детей, закрывающих глаза, считая, что теперь-то их не видно.

Я тут же остановилась, на приличном расстоянии – метрах в двух от него, но выговорить мою просьбу так и не смогла. Он перебил меня, когда я успела произнести:

– Excuse me...

И, не дослушав, выкрикнул:

– No thanks! – (спасибо, не надо).

«За что-то не то он принял меня, что ли? Вроде, не вульгарно выгляжу. Но очень по-русски...» – думала я по дороге обратно в Старый Город, недоумевая и негодуя.

...Точно помню, что первое января 2010-ого была пятница. Даже не стану проверять в календаре. Праздничное, отпускное настроение в религиозной столице было навеяно скорее приближающейся Субботой и солнцем, чем не-еврейским Новым годом.

Недалеко от входа в Старый Город – у Яффских ворот – я снова присела, на теплый бежевый булыжник, и снова задумалась. Как-никак, на данный момент было бесплатное жилье, а не это ли главное? Жила я в сам м старом городе, там, где еврейский квартал еще не кончился, а армянский уже начался. Заведение называлось «Heritage House» – «Дом наследства». Кто-то придумал, что молодые люди, имеющие еврейскую мать (руководствуясь Торой, еврейство передается по матери) должны иметь возможность бесплатно останавливаться в Иерусалиме. Хотели как лучше...

Я посмотрела на часы – одиннадцать утра. В девять часов утра всех гостей выставляли на улицу, с еще мокрыми после душа волосами. Полусумашедшая комендатша выполняла эту единственную свою обязанность с большим смаком, а тех, кто спускался вниз по ступенькам в 9:01, отчитывала высоким писклявым голосом. Или вовсе запрещала возвращаться ночевать в последующую ночь – где хотите, там и ночуйте. Выросшая в Америке, в детском доме, она дала нам понять, что дедовщина – явление, распространенное не только в армии, и не только в России.

«Я могла бы попросить кого-нибудь заказать мне в интернете обратный билет – в Мюнхен», – подумала я.

Эта мысль успокоила и привела в ужас одновременно. Ведь именно в Иерусалиме мне постепенно удалось провести черту между произошедшим со мной в Мюнхене и – настоящим. Побеседовав с очередным раввином, я порой звонила маме со словами «снова была у экзорциста». Естественно, я шутила.

Вообще говоря, всех молодых людей (и девушек, и парней), прибывавших в Иерусалим из западных стран, можно было условно поделить на три категории:

1. Приезжавшие на психотерапию: пообщаться с раввинами, прижаться щекой к Стене Плача;

2. Искатели приключений. Обычно американцы в возрасте от 18-и до 23-х лет, просто радующиеся каждой минуте вдали от родителей;

3. Скрывающиеся от юстиции или больших долгов в стране, где проживали раньше. Я знала как минимум двух таких американцев, одного из которых любила больше жизни. Нет, не больше жизни: собственная жизнь превыше всего.

По-прежнему сидя на теплом булыжнике недалеко от Яффских ворот, я поймала на себе беглый взгляд одного из проходивших мимо пингвинов (так здесь же, в Иерусалиме, называли религиозных евреев – в связи с черно-белостью прикида. Зачастую они сами употребляли этот нелестный, казалось бы, термин.)

...Взгляды встретились, щеки пингвина едва заметно порозовели, и он поспешил надвинуть на глаза шляпу и опустить голову. Так, глядя под ноги, а не перед собой, он продолжал путь, доверившись Всевышнему, не опасаясь врезаться в дерево или столб.

В груди моей вскипело негодование. Я по-английски достаточно громко прошипела:

– Кому ты сдался!

На что он лишь ускорил шаг.

Желудок мой, словно догадавшись о внезапном безденежье хозяина, жалобно заурчал. «Теперь терпи», – мысленно скомандовала я желудку, и тот, казалось, послушался. Затих.

Я снова вспомнила отрывок из российской передачи, девушек на рынке. Меня вдруг – вопреки всякой логике, ведь денег-то не было – потянуло на базар. Хотелось хоть полюбоваться на прилавки, ломящиеся от дынь, булочек, сыров, спелых помидоров... Просто походить-посмотретъ – так люди ходят в Лувр или в Musée d'Orsay.

Уже на входе на рынок свело скулы, рот наполнился слюной от одного вида разных сортов орехов, рассыпанных на первом в ряду прилавке. Я прикинула, что последний раз ела 20 часов тому. И представила, как нагло, глядя в глаза продавцу, загребаю горсть орехов и насыпаю себе в рот. И вдруг вспомнила диснеевский мультфильм «Аладдин». Ему за апельсин хотели отрубить правую руку! Конечно, мы не в Персии, но все же...

«Нет, только не правую руку, я рисую комиксы, карикатуры, делаю гравюры! Я иллюстратор, прошу вас!» Но палач лишь презрительно посмотрит, сплюнет...

Из моих фантазий меня выдернул молодой араб, несший над головой необъятный противень с горячей выпечкой, от которого я увернулась в последний момент. Запах свежеиспеченных булочек и вовсе заставил меня прослезиться, померещился аромат кофе.

А ведь я всегда была мастак голодать – но то было добровольно, во имя худобы...

В родительском доме холодильник всегда ломился от вкуснятины, а я спокойно от всего отказывалась, неделями не ела. А почему сейчас не могу – потому, что недобровольно?

На ходу оглядываясь на противень с булочками, я плечом врезалась в крепенькую тетеньку, которая по-русски посоветовала мне открыть глаза. В руках она держала сетки: одну с овощами, вторую с синенькими сырыми курицами. И вот, после этого столкновения, я снова шла, оборачиваясь, на этот раз тронутая видом красных сеток, каких не видела со времен отъезда из России. И сетки эти, и синие птицы повергли меня в состояние блаженной и грустной ностальгии.

Вновь о кого-то или о что-то споткнувшись, я оказалась перед сырами. Здесь же блестели горы крупных разноцветных маслин. Я остановилась, как вкопаная.

Владелец лавки, выучивший, как и многие другие продавцы на базаре, некоторое количество фраз на русском языке, обратился ко мне со словами:

– Хочешь попробовать сир, дэвушка?

– Хочу, – ответила я я дрогнувшим голосом.

По интонации можно было подумать, что не ела я не двадцать часов, а двадцать дней.

– Заходи, – сказал он, и я зашла в тень, внутрь лавки, где за стеклом прилавка красовалась пышная глыба брынзы. Вокруг нее, как ребята, водящие хоровод вокруг елки, кружком плавали маслины.

– Сир, – вновь пояснил продавец, когда меня буквально парализовало при виде этого нехитрого кисломолочного изделия.

Справа и слева от брынзы были и другие «сиры», среди них и терпкие, твердые, крошащиеся, пахнущие как старый носок деда Пихто – такие я тоже очень люблю.

Но на пробу продавец отрезал мне тонюсенький кусочек желтого, мякгого, неинтересного сыра.

– Муж ест?

Я сначала не могла понять, что ест или не ест некий муж, но потом догадалась, что продавец интересовался наличием такового.

Дожевывая, я из стороны в сторону помотала головой.

– А мама ест?

«Ест-ест, еще как ест!»«– подумала я. И ответла:

– Мама – есть.

Затем стала оглядываться в поисках деревянного предмета, дабы постучать – чтоб не сглазить, но, не найдя дерева, постучала себе по голове.

Вообще-то я не люблю подобные расспросы. Но ему я спокойно отвечала, все-таки у него был веский аргумент: сир.

Он вновь нагнулся над прилавком, и снова отрезал крохотный ломтик от того же, неинтересного, который я уже пробовала.

– Мама гдэ? – произнес он очередной вопрос, протягивая мне наколотый на ноже ломтик. – Мама в Израэль?

Я помотала головой из стороны в сторону.

Задав с двадцать дальнейших вопросов и угостив всего еще тремя ломтиками сыра и двумя оливками, он в какой-то момент торжественно вышел из-за прилавка и, по-хозяйски обсмотрев с головы до ног, произнес:

– Хочешь быть мой жена?

Я попросила стакан воды и всерьез задумалась. Попивая прохладную воду, я тоже оглядела его с головы до ног. Довольно высокий, лет 35-и; лицо, хоть и не обезображено интеллектом, однозначно красивое.

Я оглядела лавочку: на полках вдоль стен стояли вина. Вина – это хорошо. Потом представила себе, как торгую сыром. В глубине лавки – послушные, спокойные детишки, еще совсем крошки, еле ходят, соски сосут, а уже сами нарезают сыры и бутылки от пыли протирают. А я, значит, стою-торгую. Солнышко светит. И только я собираюсь отрезать себе кусочек брынзы, как вдруг раздается грозный голос мужа:

«Не трожь, это на продажу!»

– Я подумаю, – пообещала я властелину сыров и вышла из лавки.

Сейчас думаю, что если бы он тогда отрезал мне кусок сыра побольше, к тому же того сорта, что я хотела, я бы согласилась.

Чтобы четвертый раз за этот день не шагать по неуютной улице Яффо, где уже в течение многих лет кладут трамвайные пути, я от базара решила пойти «в обход». Про трамвайные пути же многие говорили, что их достроит Мессия, когда придет. А иные – например, иерусалимский му-

ниципалитет – Мессии решили не дожидаться и привлекли к этому делу французскую строительную фирму. По-моему, даже в России с подобными делами справлялись куда лучше.

Погруженная в такого рода размышления, я дошла до какой-то небольшой круглой площади, где в силу мнимого изнеможения решила снова присестъ. Присела и увидела, что сижу напротив русского книжного магазина, где в витрине красовались двое чебурашек. Чебурашку я увидела впервые за очень, очень долгие годы, и сердце мое сладко забилось при виде знакомых черт и давно забытых продолговатых черных глаз.

«Граждане, готовьтесь, придет Мессия», – раздалось где-то неподалеку. Я оглянулась по сторонам. Узнала белый фургон и голос обьявлявшего, теперь охрипший, но не лицо: бородатые дяди в вязаных кипах по крайней мере издали все казались мне одинаковыми.

Белый фургон подъезжал все ближе, призывы готовиться к Приходу, раздававшиеся за моей спиной, звучали все громче.

Чтобы окончательно не оглохнуть, я поспешила зайти в книжный магазин, несмотря на свою полную неплатежеспособность.

Больше, чем обилие книг на русском, меня впечатлила сама продавщица, восседавшая за столом между кассой и стопками книг. В больших, чуть затемненных очках, она выглядела так, словно ее заморозили в восьмидесятых и, только что разморозив, бережно поместили сюда. Девяностые и двухтысячные прошли мимо этой симпатичной женщины, не задев и не повлияв.

Чебурашки стояли не только в витрине, но и внутри магазина – десятками. Они занимали несколько полок вдоль стены напротив входа. Когда я взяла одного из них в руки, женщина вдруг сказала:

– Пожми ему лапку.

– Что-что?– переспросила я, не поверив своим ушам. Но она спокойно повторила:

– Пожми ему лапку.

Я удивленно смотрела на нее и моргала, в полной уверенности, что тетя «того». В конце концов, все окружение, весь город к тому располагал. Тогда она не поленилась встать из-за стола, на шпильках прошла через магазин, покачивая пышной шевелюрой, и, взяв с полки одного из чебурашек, крепко сжала его пушистую ладошку.

– Давай познакомимся, – вдруг произнес чебурашка в ответ на рукопожатие.

Я поспешила взять игрушку у нее из рук и сама повторила сжатие лапки.

– Погладь меня, я такой пушистый, – раздалось из чебурашки.

– Кокетничает! – с восторгом сказала я продавщице.

При следующем нажатии из чебурашки раздался смех, затем он сообщал:

– Щекотно!

Развернувшись к тетеньке, снова восседавшей у кассы, я радостно спросила:

– А материться он умеет?

– Неет, не умеет... – грустно и как-то виновато ответила она.

За последующие десять минут, успев пожалеть о том, что указала мне на говорительные способности игрушки, она жалобно попросила:

– Не надо все время жать..У него кончатся батарейки..

В этот момент на улице начали раздаваться очень странные звуки. Развернувшись к окну, я увидела, как на белый фургон с балкона или из открытого окна некто невидимый мне начал кидать помидоры.

Бородатый в вязаной кипе вместе с рупором залез внутрь машины, на какое-то время замолчав, но минутой позже опять высунулся и, вновь прижав громкоговоритель к губам, снова что-то скандировал, теперь в адрес кидавшего, и речь уже явно не шла о Приходе.

Особо громко вдруг приземлилась на крышу фургона короткая, но толстая палка копченой колбасы. Разгневаный шумом житель дома очевидно был щедр и в состоянии аффекта не мелочился. Палка колбасы начала медленно и лениво скатываться по едва округлой крыше автомобиля.

С секунду помедлив, я поставила чебурашку на место и вышла из магазина. Подойдя к фургону, я поймала палку колбасы в тот момент, когда она, наконец докатившись до края фургоновой крыши, упала вниз.

На балконе второго этажа стоял, в спортивных штанах и халате, мужчина с густыми пепельными волосами – такой растрепанный и сердитый, словно его подняли из зимней спячки.

Немного иврита я все-таки знала, и потому обратилась к разбуженому с вопросом:

– Ата од царих эт зэ? (тебе это еще нужно?)

При этом я помахала колбасой.

Но разгневанный разбуженный был слишком занят перепалкой, и когда из громкоговорителя раздалась очередная реплика, он снял с ноги тапочку и замахнулся. Я подумала: «Он не блефует. Он – кинет» и решила во избежание травм покинуть поле боя. Крепко сжимая палку колбасы, я была такова.

Облака, на короткое время затмившие приятное теплое солнце, снова исчезли. И, несмотря на то, что дело было первого января, а не в середине месяца, вполне довольная качеством манны небесной, я, мысленно запела:

Это было прошлым летом
В середине января
В тридесятом королевстве
Там, где нет в помине короля

Зовите меня Леа

Суббота в доме наследства была благоговением и кошмаром одновременно. Благоговением, потому что в этот день могло обойтись без комендантши. За весь день ее можно было не встретить ни разу, отчего все расслаблялись и веселели. Кошмаром, потому что в пятницу вечером помимо немногочисленного постоянного состава прибывали девушки из религиозных школ и других городов. Двухэтажные кровати, обычно используемые нами вместо шкафов – на них возвышались стопки вещей – приходилось освобождать. Все одновременно жаждали дорваться до постоянно кем-то занятых душевых, а между кроватей наступить было некуда от открытых чемоданов, сумочек с косметикой и луж, накапавших с чьих-нибудь волос.

С покусаной палкой колбасы, которую никак не могла осилить, преследуемая все большим количеством иерусалимских кошек, я добрела до Дома наследства в час дня. Когда стояла перед дверями посреди узкой улочки, меня то и дело одолевал порыв присесть, прислонившись спиной к стене, на корточки. Но я опасалась, что тогда кошки съедят и колбасу, и меня.

Вскоре подошла Сигалит, хрупкая девушка из Лос-Анжелеса, которую я считала – и до сих пор считаю – единственным нормальным человеком, с которым довелось познакомиться в Иерусалиме.

Она держала в руке красивое красное яблоко, и я заподозрила, что на другом конце Иерусалима, в другой хабадский фургон, сегодня кидали яблоками.

Вход в Доме наследства представлял из себя нечто вроде двойной двери. Снаружи имелась плетеная калитка. Отпиралась она только ключом, или нажатием кнопки изнутри. За ней была вторая, обыкновенная деревянная дверь, которая часто по неусмотрению или из-за устаревшего

замка до конца не захлопывалась и то и дело оказывалась полуоткрытой или попросту распахнутой.

Потому, придя слишком рано и стоя перед входом, мы видели пустые кровати, манившие, как оазис в пустыне, и, прислонясь спиной к стене, не чаяли дождаться открытия. Также мы видели, как по пустому помещению первого этажа пару раз прошла туда-сюда комендантша. С очень деловым видом она взяла телефон и описала несколько кругов в прихожей, затем поставила телефон на место. Решив больше не делать вид, что нас не видит, она подошла к калитке и, растянув губы в улыбке, произнесла:

– Открытие через час.

– Мы знаем, – ответила Сигалит. – Просто ждем.

Комендатша резко развернулась к нам спиной и вдруг побежала вверх по лестнице мелкими, быстрыми шагами , неожиданно рассмеявшись на бегу.

К счастью, в эту пятницу почти никто не приехал. Когда мы часом позже наконец добрались до кроватей, то сразу буквально рухнули. Лежа снять с себя сапоги было не так-то просто, но, едва покончив с этим, я уснула.

И приснился мне престранный сон. В этом сне иерусалимский трамвай был достроен и ехал вовсю. Тут и там вместо билетных автоматов стояли банкоматы, и я бегала от одного к другому, толкая в них карточку Deutsche Bank, но и в трамвае снять деньги никак не удавалось.

В вагоне ехала группа от французской строительной фирмы, парни и девушки, по виду скорее интеллектуалы, чем строители, но все в строительных касках. Они весело пересмеивались, до моей беды им дела не было. То и дело целовались, отчего сидевшие неподалеку «пингвины» взвывали и прятали лица в ладонях.

И вот, когда трамвай начал подниматься по какой-то крутой горке, я вдруг заметила, что у одного из окошек сидит тренер немецкой футбольной команды Егги Лев и с отсутствующим видом смотрит на улицу.

– Was machen Sie denn hier?– спрашиваю я его. (А Вы что здесь делаете?)

Он лишь легонько пожимает плечами. Как всегда кажется грустноватым.

Я подсаживаюсь к нему. Он дальше смотрит в окно.

– Joggi, du bist nicht zufällig Jude? (Егги, ты случайно не еврей?) – спрашиваю я.

– Не знаю, отвечает он.

Вдруг я замечаю, что трамвай ведет комендантша Дома наследства.

Она оглядывается, смеется, как дьявол, и я понимаю, что из этого трамвая нужно как можно скорее выйти.

Во время следующей остановки я вскакиваю, говорю:

– Joggi, komm, wir müssen hier raus! (Егги, пойдем, выходим отсюда!)

Тяну его за руку, но он весь как ватный, полумертвый. Когда двери снова захлопываются, трамвай едет дальше, а за окном вновь мелькают бежевые строения, я в ужасе: а вдруг больше не остановится? Но он остановился. Не медля, я выскакиваю. Улица Яффо. Почему-то пуста. Я смотрю вслед исчезающему из вида трамваю и вдруг осознаю: Егги уехал. От этой мысли меня во сне охватывает настолько реальное ощущение горя, что я просыпаюсь.

–Тьфу, бред какой, – прошептала я, открыв глаза.

Повернувшись на бок, я снова стала думать о «новогоднем сюрпризе».

Как выяснилось много позже, причиной моих мучений была всего лишь программная ошибка. Какой-то недотепа-программист не предусмотрел переход через десятилетие – с 2009-го на 2010-й год. Этой ошибки опасались в 2000-м году, всем советовали запастись на первое время наличными, но уж никак не в 2010-м. В некоторых мюнхенских банкоматах через непродолжительное время ввели специальную функцию, которая корректировала ошибку, и на лавину звонков и

Mail-ов отвечали: «А Вы вставьте карточку в определенный банкомат и все будет в порядке». Но во-первых, я этого еще не знала, а во-вторых, соответствующего банкомата под рукой как-то не было.

Сигалит сидела в кровати, развернувшись к окну, где виднелся знаменитый золотой купол. В одной она руке держала зеркало, а второй интенсивно что-то делала со своим лицом.

– Сигалит!..– зашептала я громким шепотом. – Сигалит!

Она, чему-то усмехнувшись, вдруг резко развернулась. Лицо ее, все кроме глаз, было покрыто толстым слоем светло-зеленой маски.

– Бу!– сказала она.

Я бы с удовольствием снова уснула, но пятничный вечер и суббота в Доме наследства состояли из обязательной программы.

Сначала пионеры – то есть мы – вместе шли к Стене Плача.

На площади перед Стеной Плача, спешно помолившись, тусовались с кислыми мордами. Но сразу сделаю оговорку, дабы не разгневать любимого Всевышнего: молиться в пятницу вечером было тяжело, т.к. создавалось впечатление, что весь Израиль и все Соединенные Штаты, нарядившись, приходили сюда.

Жаждущие Господа образовывали плотную толпу. В нос то и дело попадал чей-нибудь шампунем пахнущий локон, на ноге плясали хасидята на тоненьких ножках, а хасид-отец семейства, на площади случайно врезавшись Вам плечом прямо в грудь, подпрыгивал, как ошпаренный.

Пробираясь сквозь плотную толпу, мы натыкались на обитателей мужского Дома наследства. Они выглядели пободрее – в их доме не царил гестаповский режим.

Темнело, толпа редела и сходила на нет. Освещенные каменные здания выглядели на фоне темного неба, как голливудские декорации, и требовалось осознанное усилие, чтобы напомнить себе о древности окружения.

Вам постепенно становилось хорошо, но тут появлялся Джефф Зайдел.

Ростом он был, казалось, метр сорок сантиметров. Волос, казалось, не было вовсе: ни бровей, ни ресниц, ни на голове. Эти не совсем оптимальные внешние данные он старался компенсировать эксцентричной манерой одеваться: обычно носил какие-то странные лакированые ботинки, наполовину белые, наполовину черные, и особо широкополые шляпы.

От человека, одетого таким образом, ожидаешь чувства юмора и мягкости. Но – нет. Он жаждал власти и повиновения, повышал голос и надрывно кричал, а главное – обожал расставлять людей в шеренги.

Великой его задачей было распределять молодых людей на ужины и обеды – в семьи, которые в пятницу вечером и субботу днем открывали свои дома для незнакомых молодых людей. Мероприятие это я не любила. Даже теперь, когда «дармовое» питание вдруг оказалось единственным возможным.

Процедура распределения была торжественной, Джефф Зайдел учинял его с громогласностью и решимостью фельдмаршала. Казалось, речь шла не об обедах в пятницу вечером, а о сверхважной военной операции, решающей судьбу государства.

В своей маленькой крепкой руке он сжимал сложенный листок бумаги, но то не была карта Страны с окружавшими ее враждебными государствами и планом военных действий по пунктам. Это был всего лишь список семей, желавших субботних гостей.

– O.K. guys wie start.. NOW! – обьявлял он и окидывал группу людей взглядом прищуренных глаз. – Все встаньте передо мной, я должен всех видеть! Я сказал, Я ДОЛЖЕН ВСЕХ видеть! Так.. – снова прищуривается. – Ты, ты, и ты.. – указывал он пальцем.

Тут раздавались высокие девичьи голоса:

– Но мы вместе! Мы втроем!

– Опять вы мне все перепутали! Вы мне все перепутали!– в такой момент он мог затопать. – Встаньте здесь, в стороне. Вы, Вы и Вы идете к Шварцам. Нет, стоп! Вы идете к Вайссам! А также ты, ты и ты..

В этот момент я каждый раз вспоминала один детский анекдот, рассказаный мне в барнаульской художественной школе:

– *Сегодня будем есть пельмени!*

– *Урра!*

– *Ты, ты и ты..*

– *А можно я?*

– *Можно! На фарш!*

Так, одни дома находились здесь же, в Старом Городе, а другие за тридевять земель... В одних устраивали «пир на весь мир» в богатой гостиной, а в других в тесной кухне подавали худую куриную ножку, и в обстановке напряженного молчания вы спрашивали себя, зачем эти люди вообще приглашали субботних гостей... – Джефф Зайдел считал, что у него была власть.

Указав на вместе стоявших: Сигалит, меня, Лори, Лею I и Лею II, он объявил фамилию: «Machlus!», что означало сорок минут быстрой ходьбы в одну сторону, по темноте через арабский район.

«Таки на фарш», – подумала я.

– Oh no, not tonight, – прошептала Сигалит.

– Но мы не успеем вернуться! – восстала Леа I. – Дом наследства закрывается в полночь!

– Они недовольны! Они опять недовольны! – затопал Зайдел и схватился слева и справа за край своей широкополой шляпы.

Менеджер обоих Домов наследства, мужского и женского, решил заступиться:

– Может, поближе?

Неожиданно его заступничество помогло. И мы попали в гости к миссис Фокс-Ашрэй.

...Миссис Фокс-Ашрэй было хорошо за семьдесят, ее мужу – тоже

– Так, – обратилась она к девушкам, указывая на стулья со «своей» половины стола, – а вы – сюда.

На первое были салаты, холодная рыба, маринованные баклажаны. С радостью я увидела, что можно будет вкусно поесть...

Пока я наслаждалась салатом, миссис стала по очереди спрашиватъ у присутствовавших их еврейские имена. Оказывается, даже у Лори таковое имелось.

– Леа, – скромно ответила она.

Леа I и Леа II, естественно, тоже представились Леями.

Для меня же это дело за последние недели стало дилеммой. В то время, как все вокруг из Дженифер и Скарлет с легкостью становились Эстэр и Меирами (процесс выбирания еврейских имен даже был какой-то особой радостью, словно жизнь – театр, где наконец-то сам можешь выбрать желанную роль)...

В то время, как Аня, тоже проживавшая в Доме наследства, наотрез отказалась от имени Хана и стала Бэллой, а Даша – Рахелью, отыскать подходящее еврейское имя для меня оказалось задачей не из легких. Всему виной была моя русская физиономия.

Много раз я ставила этот вопрос на повестку дня, точнее, вечера – на кухне в Доме наследства.

– Может, Рахель? – спрашивала я, сидя на табуретке и листая цветную книжку «Библия для малышей». Тогда я поднимала взгляд на подруг.

– Рахель, – задумчиво произносила одна из них, глядя на меня. Тогда оборачивались и другие

и тоже задумчиво произносили:

– Рахель..

Сначала все подавляли рвущийся наружу смех, кончалось это взрывом хохота. Я тоже смеялась – до слез.

– Понимаешь, – говорила Бэлла, до возраста десяти лет жившая в России, – есть персонажи библейские, а есть – из русских народных сказок.

– На Василису Премудрую потяну? – скромно спрашивала я.

– Не только на Василису, на избушку потянешь! – уверяла Бэлла.

Конечно, дня три после такого «собрания» она упорно называла меня Рахелью. Голос мои хрип, вместо смеха вырывался лишь жалобный надрывный стон, шеки болели.

Ор означает свет, и потому Светы, приезжавшие сюда, обычно становились Орами. Но от имени Ора, казавшегося мне грубым, я отказывалась категорически. Единственным, нравившимся мне по звучанию , казалось «Леа», но так как в Библии Леа была нелюбимой женой, я медлила.

Миссис Фокс поспешила заверить всех троих Лей:

– О, замечательное имя – Лея. Эта женщина (имея в виду библейскую Лею) могла влиять на свою судьбу при помощи молитв.

– А разве не все мы можем влиять на свою жизнь при помощи молитв? – спросил один из юношей.

– Все, – ответила миссис Фокс, – но Леа – особенно.

«Замечательная штука,– подумала я, – влиять на свою судьбу при помощи молитвы».

Поэтому, когда очередь представляться своим еврейским именем дошла до меня, я уверенно ответила:

–Леа.

Подруги посмотрели на меня.

«Да, да – Леа», – сказала я им.

Вечером в Доме наследства в руки мне попал листок с напечатанной на нем субботней программой.

17:30 – Meeting rabbi Jeff Seidel in front of the Kotel, гласил он.

– Рабби Джефф Зайдел? – удивилась я. – Рабби Джефф Зайдел? Неужели этот тип – раввин?

– Да, – ответили мне.

Потрясение мое было велико, слишком явно нарушал Джефф Зайдел самые элементарные и важные заповеди. Нельзя, например, публично обижать или унижать людей, в то время как последнее было неотъемлемой частью его распределительной программы. Я вспомнила, как только сегодня он в присутствии всех надрывно орал на обеих Лей, Лори, Сигалит и меня. А послать девушек через арабский район после наступления темноты, тем самым подвергая опасности? К счастью, похода этого удалось избежать.

Таковы были последние мысли того долгого дня, и последовавший сон обыгрывал их.

...А приснился мне аукцион, где один американского вида толстячок, то и дело от души ударяя молотком, продавал титул(ы) раввина.

В публике царило оживление, пингвины и покупатели в штатском выкрикивали цены, и, хотя никто из присутствующих не курил, в зале клубился дым, как в немецких пивных до запрета курения.

Неуместный дым, возможно, был навеян гравюрой «Аукцион» какого-то французского художника, современника Эмиля Золя, уделившего табачным облакам не меньше внимания, чем

развеселой разношерстной публике.

Оттого же, наверное, присутствовала на аукционе в моем сне Нана, актриска, героиня романа Эмиля Золя.

Но жаждущие титула раввина ее присутствием не смущались, а бодро выкрикивали цены. Одни не шли дальше трехсот долларов, иные не жалели десяти тысяч. Выходило, что абсолютно одинаковые грамоты с титулом раввина уходили за очень разные цены.

– Продано! – то и дело кричал американского вида круглячок, раздавался удар молотка, и новоиспеченный раввин бежал вверх на невысокую сцену. Имя его вносилось в грамоту, аукционист жал ему руку, и начиналась продажа следующего титула, следующей грамоты, ничем не отличавшейся от предыдущей.

Присутствовавшая Нана тоже то и дело выкрикивала суммы.

«Неужели она тоже хочет быть раввином?» – удивилась я во сне.

Но ее предложение аукционист проигнорировал, что придало сну, и без того очень четкому, дополнительную правдоподобность.

Табачная дымка поредела, приподнялась, и я узнала сидящего недалеко от нее тренера немецкой футбольной команды Егги Лева.

В отличие от остальной публики – сосредоточенно следившей за торгом, эмоциональной, суетливой – он был абсолютно спокоен и не заинтересован в происходящем, словно посажен сюда против воли.

Сразу после того, как я узнала его, аукционист вдруг нагнулся вперед и прокричал:

– Herr Löw, а Вы хотиле быть раввином? Хотите титул? Забесплатно!

Лев пожал плечами, но весь зал, развернувшись на него, вдруг зааплодировал, тем самым вынуждая принятъ предложение. Лев скромно прошел через зал, поднялся на сцену. Нана приблизила к глазам театральный бинокль.

Аукционист сначала долго тряс руку тренера. Затем показал грамоту зрителям, на что они захлопали еще сильнее. Новоиспеченный раввин Лев свернул грамоту трубочкой и спустился со сцены.

– Бороду не обязательно! – сообщил ему вслед аукционист.

Нана, до этого к апатичному Леву особого интереса не проявлявшая, двинулась к нему. Она отказывалась распрощаться с мечтой о титуле и решила попробовать перекупить грамоту.

И вот Нана, единственная женщина в зале, к тому же легкого поведения, пробиралась сквозь толпу религиозных евреев, шурша пышными юбками конца девятнадцатого века. Одной рукой придерживая платье, другой шляпку.

Какие-то пингвины при виде глубокого декольте и вываленных белых грудей негодующе качали головой. Иные радовались, оживлялись и клали ей руку на попу – жадно, с расставленными пальцами, дабы захватить максимальную площадь. В ответ на это Нана тут же ударяла их по руке.

Неподвластная мне камера сна на мгновение показала происходящее на сцене. Аукционист вносил в очередную грамоту имя, рядом стоял с чрезвычайно важным видом Джефф Зайдел и торопил его.

Нана в это время говорила с Егги, и, хоть голоса их и утонули в толпе, содержание разговора угадывалось. Тряся позолоченным кошельком, она указывала на Еггину раввинскую грамоту. Егги же наконец-то улыбнулся, глаза его загорелись, взгляд блуждал по лицу Нана, на секунду задержавшись на губах и несколько раз упав на пышную грудь.

...Проснулась я в четыре утра в субботу от звуков, доносившихся из мечети Аль Акса. Все спали, чья-то рука в смешной пижаме со слониками на роликах свешивалась до пола. Я села в кровати и посмотрела в окно. Через стекло представлялся вид, многим известный с открыток и

плакатов: над золотым куполом и округлыми крышами Старого Города поднималось солнце.

Независимо от того, какая погода держалась всю неделю, в субботу всегда сияло безоблачное, бирюзовое небо. Часам к десяти все улочки и маленькая площадь Старого Города переполнялись принарядившимися обитателями, виденными-перевиденными, одними и тем иже, давно намозолившими глаза. Иврита почти нигде не было слышно. Только английский – обнесенный каменной стеной Старый Город был своего рода американско-арабской деревней.

В двадцать минут одиннадцатого обитатели Дома наследства вяло пересекали площадь перед стеной плача, заранее «радуясь» очередной встрече с Джеффом.

Вернувшись с обеда из далекого далека, куда мы – на этот раз непредовратимо – были усланы Джеффом Зайделем, я сказала всем:

– Присоединюсь к вам в Доме наследства через пару минут.

В Старом Городе был армянский магазин, где религиозные евреи в субботу брали продукты в долг.

Я зашла в магазин, где в долг приобрела банку пива и две сигареты.

– Вы ведь живете в Старом Городе! – сказал старый продавец. – Не надо Вам публично курить в субботу.

– А я спрячусь,– ответила я, радостно засовывая сигареты в карман рубашки.

Выйдя из магазина, я осмотрелась в поисках убежища. Налево уже начинался арабский район, и я спряталась за аркой, где проходила невидимая граница. Так, стоя в углу, я принялась курить и пить пиво. Но удовольствие продлилось недолго, так как из сумрачного прохода то и дело стали выбегать обитатели арабского района, то бишь арабы. Показывая на меня пальцем, они что-то по-арабски сообщали соплеменникам, на что те тоже выбегали из сумерек. Все это явно отличалось от той нирваны, в которую я надеялась окунуться с сигаретами и пивом, и мне пришлось покинуть убежище за аркой.

Теперь с открытым пивом и еще горящей сигаретой я шла по субботнему еврейскому кварталу. К тому моменту я уже знала почти весь лабиринт старого города как свои пять пальцев. В моей голове мелькнуло, как в рекламном ролике, новое возможное убежище. Выбрав самый пустынный из путей, я ускорила шаг.

В какой-то момент я воровато обернулась по сторонам и, не останавливаясь, поднесла сигарету ко рту. Затем закрыла глаза и жадно, неженственно затянулась.

А когда, уже выдохнув дым, снова открыла глаза, то увидела стоявшего посреди улицы «пингвина». Внезапным своим появлением и кошачьими глазами он напомнил кота Бегемота из «Мастера и Маргариты». Вместо того, чтобы взглядом выражать негодование по поводу пива и сигарет, отвести глаза или отскочить в сторону, как это подобает «пингвину», он стоял и по-кошачьи улыбался, несколько раз обсмотрев с ног до головы. Казалось, он не просто не осуждал, а одобрял и приветствовал женщин и девушек, среди религиозности и чопорности Старого Города не гнушающихся курением и питьем.

Он однозначно кого-то напоминал, но кого? Вдруг кто-то окликнул его:

– Rebe!

Выходит, и он раввин? И вдруг я вспомнила, где его уже видела: в своем сне прошлой ночью, на аукционе, где торговали грамотами с титулом «раввин».

Свернув на другую улицу, я мгновенно забыла о нем, еще не зная, что увижу снова.

Журналистка из Франции Далия уезжала на следующее утро, в воскресенье. Ее пребывание в Доме наследства ограничилось одним лишь вечером, и одной лишь ночевкой. Я искренне завидовала ей, когда она, покидав свои вещи в легкую спортивную сумку, посмотрела на часы и сказала:

– Пора обратно в Тель-Авив.

Узнав, что в доме находится настоящая журналистка, наша домомучительница засуетилась. Что тут общественная работа в виде сводничества, перезвонок, посещения занятий и попыток организовать театральную группу еврейских женщин. Все это лишь кошкины какашки, тщетное подпрыгивание на стульчике по сравнению с возможностью засветиться в газете. Она засуетилась настолько, что, казалось, потеряла голову.

Время было пятнадцать минут девятого. В обычные дни она, убедившись, что кто-то стоит под душем, сломя голову бежала отключать горячую воду. Отопление было центральное, и потому намыленные имели честь смывать шампунь ледяной водой. Затем великодушная комендантша спешила выставить подопечных за порог независимо от погоды, иногда под дождь или град, и пискляво желала прекрасного дня, закрывая дверь перед носом.

Но в это воскресенье она заметалась между кроватями и, то и дело косясь на журналистку, принялась напевать.

– Ну, подпевайте! – призывала она.

Я и Сигалит, сыгранная команда, машинально переглянулись. Домомучительница представилась Далии как «House mohter» – «мать дома», что у меня лично вызвало ассоциации с борделем. По-прежнему напевая, она снова убежала вниз, а когда вернулась, то с улыбкой присела на одну из кроватей и склонила голову набок. Когда Далия вышла из ванной комнаты, она объявила:

– Кто хочет завтракать – внизу есть хлеб с маслом и кофе.

Обрадовавшись, все Леи, Сигалит и Лори собрались поживиться, мотивы внезапной щедрости нас не интересовали.

Но Далия, едва заметно кивнув в сторону разволновавшейся комендантши, по-французски сказала мне:

– Во Франции таких убивают. Один голос чего стоит. Идем завтракать в кафе, я приглашаю.

Старый Город жил своей утренней жизнью. Маленький зеленый комбайнер собирал выставленные на улицу пакеты с мусором. По ужайшим улочкам между домов из бежевого камня бегали кошки.

Было еще рано, а по моим понятиям – безумно рано. Вокруг кипела жизнь, Старый Город кишел туристическими группами, а я сидела за столиком кафе с дефективно-отсутствующим видом. Как жертва кораблекрушения в первые минуты на острове.

– Улица такая-то, здесь римляне в таком-то году до нашей эры...

Туристические группы чередовались со знакомыми обитателями старого города в неравной пропорции: на три группы – один знакомый обитатель. Причисляя себя к последним, я вдруг почувствовала нечто вроде претензий собственника: в зависимости от языка, на котором говорил экскурсовод, я то разваливалась в кресле, то подбирала ноги, скромно отвернувшись к столику. (Россияне, французы и итальянцы, конечно, пусть приезжают, но немцы, с их неизменными шарфиками а ля Арафат вокруг шеи...)

–А ведь у тебя скоро день рождения, – сказала Далия, поднося к нашему столику второй полный кофейник и молоко в картонном стаканчике.

– Не напоминай, – махнула я рукой.

Мимо террасы гордо промаршировал Джефф Зайдел в одной из своих шляп, настолько широкополых, что я вдруг вспомнила о Незнайке.

Я смотрела ему вслед, как он шел среди оживленных, в этот утренний час еще бодрых туристов. Намного ниже большинства, весь в черном, он с напущенной деловитостью рассекал толпу. По всему видно было, что он не просто имел по отношению к Городу абстрактные претензии собственника – он ощущал себя чуть ли не хозяином Иерусалима.

Я глотнула кофе, снова подняла глаза и с легкостью нашла среди пестроты маек и бежевого камня маленькую черную кляксу. Странно, что даже в те моменты, когда он, наливаясь краснотой, махал коротенькими ручками и расставлял нас в шеренги, он не вызывал у меня такой неприязни, как теперь.

Я физически ощущала, как ненависть – это отвратительное чувство – свинцовым холодом растекалась по моим жилам именно в эти секунды.

– Tu te sens mal? (Плохо себя чувствуешь?) – спросила Далия.

Я пожала плечами и вдруг заметила, что пальцами надломила последнюю сигарету, так и не закурив.

Далия как-то странно посмотрела на меня, она уже сидела, как на иголках, порывалась уходить, тем более что от моей вечерней веселости и приколизма не осталось и следа, была только каждоутренняя занудность и трагизм.

В сторону нашего столика смотрел хозяин этого преуспешного кафе. Он был старый, и смотрел туповато, нагло и неотрывно, из-за чего на несколько секунд тоже стал объектом моего кипения:

«Ах ты хрыч, – думала я, – каждое утро уставляться – это в порядке, а чтобы хоть раз хоть чем-то угостить – фиг, как говорится, с маком, выкуси-накуси!»

Негодующе отведя глаза, затем снова взглянув на него и убедившись, что полусенильный старик по-прежнему смотрит, я даже вспомнила какую-то детсадовскую поговорку: «За просмотр деньги платят!»

«А комендантша?!– вдруг подумала я. – Почему в общепризнанном эпицентре святости, в старом городе Иерусалима, не меньше, чем в других местах мира, процветает очевидное г-о? А может, может даже и больше? Неужели нужно ждать прихода какого-то Мессии, чтобы наступило сиятельное торжество добра, а пока он не придет, по солнечному старому городу будет бегать злой незнайка Джефф Зайдел, а комендантша – вверх-вниз по лестнице, от душевых до центрального выключателя горячей воды и обратно?..»

– Ты уже не голодная? – спросила Далия.

– Нееееет, – ответила я сытым басом. Хотелось добавить: «Ты это, приходи, если что».

...Далия прекрасно владела локтевой техникой и садиться в израильские автобусы умела. Причем получалось это у нее само собой, играючи, без напряга и элегантно.

В последний момент, уже завидев автобус, Далия сунула мне какой-то конверт. Эта хрупкая девушка одной из первых вспрыгнула на высокую ступеньку передней двери, даром маленький ешибохер в широкой шляпе и смуглый израильский подросток норовили пролезть перед ней.

Я махала ей рукой и улыбалась, пытаясь сгладить свою утреннюю дерьмовость, а когда автобус отъехал, опустила глаза на конверт. И тут мне за уже упомянутую утреннюю дерьмовость стало по-настоящему стыдно: на конверте фломастером было написно «Леа», а вокруг нарисованы клеем и обсыпаны блестками сердечки-цветочки.

Я по-варварски разорвала конверт, разрушив сие произведение, и обнаружила внутри 550 шекелей и музыкальную открытку «jom oledet» – с днем рожденья.

К тому, что шекели по сравнению с благородно-бледными евро и зелененькими долларами выглядели, как игрушечные, я на тот момент уже привыкла. Но внезапное приобретение пестрых бумажек не изменило моих планов на то утро.

Деловито маршируя, я направлялась в одну из приглянувшихся мне галерей, с целью предложить свои рисунки на продажу. В стране, где культура изобразительного искусства в связи с древним запретом как таковая отсутствовала... И за редким исключением, подтверждающим

правило, уровень работ был несравненно ниже, чем в Америке, Франции и Италии... В стране, где примитивизм являлся не временным модным движением, а зачастую единственной доступной художникам формой выражения. И грубо соседствовал с соцреализмом советской школы, бесцветным, написанным не красками, а разными оттенками серого. В общем, я рассчитывала положительно выделиться на этом фоне.

Но покурить мне было тоже невтерпеж, и потому, спеша к успеху и известности, я свернула в одну из арабских лавок рядом с Яффскими воротами.

– Сигария ахат, – сказала я, с детской важностью положив на прилавок деньги – вновь обладать небольшим количеством таковых оказалось блаженством.

Но вместо того, чтобы, встряхнув упаковку, дать мне самой взять сигарету, арабский продавец засунул пальцы в пачку и, вытаскивая, впился грязными ногтями в бежевую полоску фильтра .

На улице, так и не закурив, я спросила себя: «Интересно, он моет руки, сходив в туалет? Два раза с мылом?»

Решив, что парой минут раньше он этими же пальцами держал свой темный грязный член, я кинула купленную сигарету в кусты неподалеку от Яффских ворот.

Вот как хотелось, но все не удавалось мне в то воскресное утро получить маленькую порцию никотина, и оттого все больше хотелось... И потому, издалека завидев на улице Яффо парня, который со слишком явным удовольствием курил, почувствовала, как у меня задергалась мышца сбоку на шее.

Вот этот парень – по его виду непонятно было, восемнадцать ему или тридцать – и оказался владельцем галереи, куда я направлялась. Еще не зная этого, я попросила прикурить.

Завораживающий щелчок зажигалки, первая затяжка, приятная слабость в ногах и подрагивание пальцев...

Мы зашли вместе в его галерею.

– Хочешь кофе? – спросил израильтянин-галерейщик.

Я так удивилась, услышав настоящий иврит, словно напрочь забыла, что Иерусалим находился в Израиле. (В Старом Городе я привыкла слышать только английский или арабский.)

В просторной комнате за галереей удвоилось впечатление, что я совершила межпланетное путешествие: покинув Старый Город и придя сюда – за пять минут.

Из ноутбука, стоявшего на полу рядом с одним из диванчиков, певец группы «Этникс» хрипло повествовал о солдатском бытии. Рядом, под пепельницей – стопка «Плэйбойев».

Я чуть было не села на большую черепаху, по цвету так подходившую к дивану. С ее панциря на меня смотрели буквы кирилицы, по-детски заглавные, несмывающимся маркером: «Век свободы не видать».

«Ничего себе», – подумала я. И спросила:

–Ты что, говоришь по-русски?

– А, это? – произнес Хен – так звали галерейщика. – Это один мой друг постарался, Леха.

В тесном туалете, который закрывался на допотопный огромный крючок, тоже имелись следы Лехи. С угла раковины на меня снова смотрела кирилица.

Там лежал «Справочник по элементарной физике». Похоже, он был у Леши туалетным чтивом.

«Ух ты, – подумала я. – Во дает Леха».

Когда я вышла из туалета, Хен уже вовсю листал рисунки в папке А4, которую я сунула ему в руки перед тем, как пошла в туалет.

– Да, ты умеешь рисовать, – сказал он.

Хотелось ответить нечто вроде: «Фирма веников не вяжет».

– А почем ты думала их продавать?

–Три рубля кило, – ответила я.

Хен как-то удивленно посмотрел, и я на всякий случай пояснила:

– Шутка.

В этот момент черепаха «век свободы не видать» вдруг поползла мне по ногам. Я решила не отвечать на вопрос о цене, так как помнила, что сумма, названная, скажем, шефом в рекламном агентстве или покупателем, будет всегда выше той, что назову я.

Но Хен, взяв из папки один из рисунков, вдруг сказал:

– Шекелей тридцать?

– Что?!!– невольно выкрикнула я. – В Европе я похожие рисунки продавала за 300-400 евро!

– А я в Америке продал картину за 20 тысяч долларов, ну и что? Все равно здесь ее и за 100 шекелей никто не купил бы. Люди или вкладывают в имя, или...

– Или? – спросила я.

– Или сделай что-нибудь цветное, большое.. Желательно женщину, желательно с длинными рукавами.

«Вот это да,– подумала я, – таких критериев изобразительного искусства я еще не слышала».

– Если хочешь, краски я тебе дам, – щедро предложил Хен и принес коробку с ссохшимися, потрескавшимися красками, местами покрытыми не то плесенью, не то пылью.

«Еврейские красочки», – подумала я.

– Хочешь, дам тебе и кисти? – спросил Хен.

– Нет, спасибо, я могу только своими, – поспешила ответить я.

К двум часам дня была готова «Рахель, читающая сидур» (молитвенник).

Или, если хотите, «Сара». Во всяком случае она была явной еврейкой: глаза немного навыкат, хоть и опущеные в книгу, обрамлены черными ресницами. И зачем-то я нарисовала высоко поднятые брови, что превращало ее, прямо скажем, в высокомерную жидовку. Мне казалось, что границу к антисемитским карикатурам из St rmer'а тридцать девятого года я все-таки не переступила, но явно паслась неподалеку.

Сама работа мне скорее нравилась, по крайней мере хотелось смеяться, глядя на собственное произведение. И все же сказала себе: нет, так, конечно, дело не пойдет.

Во время второго захода, словно ударившись в другую крайность, я сделала ее скуластой блондинкой, даже чуть раскосой. Одарила пышной грудью – конечно, никакого декольте, и, конечно, длинные рукава. Всем своим видом моя крепкая северянка клянчила в руки серп и молот, но вместо этого получила тот же сидур. На заднем плане, на высокой такой тумбочке, семисвечник.

Для пущей убедительности – цепочку с шестиконечной звездой ей на шею.

Получилась «Василиса, читающая сидур».

В четыре часа дня сие произведение уже висело – украшало, если хотите, пресловутую улицу Яффо. Галерейщик Хен вывесил ее в вертикальном ряду картин рядом с входной дверью. Наклонив голову, я пятилась, и, уже выйдя на проезжую часть, продолжала смотреть на Василису.

А к вечеру достала со дна сумки книгу «иврит для начинающих», которая оказалась составленной ну очень интересным образом, являя собой апофеоз маразма и абсурда.

Нужными элементарными понятиями там, как говорится, и не пахло. Зато уже во второй лекции зачем-то были перечислены названия сказок:

кот в сапогах – хахатуль бапагамаим,

белоснежка и семь гномов – шилгиа вэ шив'ат хагамадим,

алиса в стране чудес – алиса бээрец хафлаот и т.д.

Ну конечно – что еще нужно знать приезжему или иммигранту, чтобы осилить лабиринт повседневности! Хотите выпить кофе, найти отель, закупить продуктов или снять машину – объясняйтесь на пальцах. Зато, гордо оперевшись на нераспакованный чемодан, вы можете вдруг и как бы невзначай выдать: хахатуль бапагамаим – кот в сапогах. А затем – снова на пальцах

– добавить: не пробегал?

Во второй же лекции перечислялись пять чувств человека, первым из которых было названо осязание. Осязание: хуш хамишуш.

А затем глагол лаарог – убивать.

Тоже очень важно для первых шагов в новой стране, не правда ли?

Вообще из этого самоучителя создавалось особое впечатление об Израиле: кот в сапогах здесь соседствовал с Алисой, регулярно посягая на ее жизнь – лаарог. В то время как семь гномов осязали белоснежку, от удовольствия нашептывая: хуш ха мишуш, хуш ха мишуш

Вытирая со лба капли пота, я то и дело закрывала самоучитель и вертела книгу, осматривая со всех сторон. Словно отказываясь верить, что подобная вещь существует на этом свете. С ярко желтой обложки на вас гордо смотрели имена составителей: Сара Мендель и Григорий Шмендель.

– Продали, уже продали! – сигналил Хен издалека, когда я шла по улице Яффо на следующее утро в понедельник.

Я подошла, и он купюрами по 20 и 50 отсчитал 200 шекелей. Затем сложил втрое и сунул мне их прямо в карман джинсовой юбки. Как и днем раньше, я по его приглашению зашла в галерею. В стекле рамки напротив входа отражались ленивые «чуваки» с кирками – укладчики трамвайных рельсов. Сегодня они и вовсе не ударяли по асфальту, а только разгуливали по улице Яффо, перекинув орудие труда через плечо. Регрессия была налицо: «Завтра просто сядут и будут сидеть,– подумала я, – а послезавтра – лягут».

– Нарисуй еще одну такую, – начальственно произнес Хен, и мы пошли пить кофе.

В следующую минуту мне довелось живьем увидеть того самого Леху, уже ставшего для меня легендарным. Я заочно уважала его за чтение «Справочника по элементарной физике» в туалете, но... Во-первых, имя Леха подходило ему примерно также, как оно подошло бы Еггипетскому фараону. Как-никак, когда днем раньше я услышала «Леха», мне отчетливо представился некто Иван царевич, но взору моему предстал загорелый, смуглый, ежиком стриженый израильтянин.

Во-вторых, он снова мучил черепаху.

Вообще-то, сама черепаха не подавала признаков страдания. Лапы ее безучастно свисали вниз, и она как ни в чем не бывало вертела головой, когда Леха несмывающимся маркером увековечивал на ее панцире очередной мат. По вдохновенному выражению Лехиного лица было видно, что он очень гордился знанием русского ненормативa. В то время как «век свободы не видать» было написано «вкруговую», вдоль подола панциря, заборное слово из трех букв Леха старательно-заглавно выводил в самом центре.

Увидев меня, Леха поздоровался, скрипящим маркером вывел крючочек над «и» и отпустил черепаху. Слово из трех букв медленно поползло через комнату.

На этот раз вместо кофе с молоком я пила пиво, несмотря на утренний час. Леха принялся говорить со мной на ломаном русском, а я, допив бутылку, вдруг вспомнила о факте существования секса.

– Хватит флиртовать, – вмешался Хен, – ей надо идти рисовать.

Леха проигнорировал замечание, но неосознанно. Он по-детски увлеченно рассказывал о клубе, в котором крутят современные российские фильмы.

– Давайте сегодня вечером пойдем? – предложил он.

В шесть часов вечера я ждала Леху на улице...

Еще издалека, завидев Лехину машину, я почувствовала, что это она – как мне показалось, она как-то по-особому ехала. И оставалось только убедиться, что я угадала, когда через лобовое стекло я завидела уже знакомые бычью шею и кожаную куртку.

– Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, – сказал Леха, когда я садилась в машину.

– Вообще-то, оно уже село, – ответила я, и мы поехали.

Клуб современного российского кино представлял из себя комнату, уставленную рядами пластиковых стульев. Мне почудился специфический запах российского детского сада (запах хороший). Сходство с детским садом усилилось от самодельных стенгазет с фотографиями членов клуба на одной из стен. Также висели плакаты с российскими киноактерами. Причем цены плакатов варьировались, под ними висел следующий список:

Гурченко – 7 шекелей
Леонов – 3 шекеля
Куравлев – 7 шекелей
Боярский – 10 шекелей
Янковский – 15 шекелей
Миронов – 10 шекелей
Ширвиндт – 9,75 шекелей

Я обратилась с вопросом к дяденьке в кипе, читавшему список вместе со мной:
– А почему Леонов настолько дешевле остальных?
Он пожал плечами, подумал и сказал:
– Толстый он...

Здесь же висели плакаты для тех, кто интересовался политикой. Оттого в списке стояли и следующие имена и цены:

Нетаньяху – 3 шекеля (чем он приравнивался к Леонову)
Путин – 9 шекелей

Рядом с Нетаньяху висел молодой Абдулов – этот плакат я действительно с удовольствием купила бы, но именно Абдулова в списке не было.

– Почем Абдулов? – спросила я на так называемой кассе. (За накрытым скатертью столом восседала тетя в телесах и продавала билетики: промокашки с печатью клуба – буквой «Г» в кружочке. Клуб назывался «Город».)

– Вы член? – ответила она вопросом на вопрос.

– Нет, кажется, не член, – ответила я, улыбаясь.

– Не член... – на полном серьезе повторила женщина и открыла тетрадку с ценами, – сейчас я Вам скажу... Абдулов... 17 шекелей.

– Как? – сказала я. – 17 шекелей за плакат? Почему настолько дороже остальных?

Тетенька по-деловому закрыла тетрадку, сверху положила железную баночку с деньгами и шариковую ручку, подумала и ответила:

– Умер он, от рака...

Когда тетя встала из-за «кассы» и принялась деловито задергивать шторы, народ начал рассаживаться. Я вообще забыла кто я, где я, а точнее – напрочь забыла, что в Израиле. Непосредственно за нами с Лехой сел очень русского вида мужик, достал из сумки какое-то принесенное с собой пойло. Отчпокснул бутылку, и в нос ударил запах спирта – настолько сильный, что уже до начала фильма пробило первую слезу.

Фильм назывался «Похороните меня за плинтусом» и оказался роскошным. Ко всему прочему он вызывал жуткую тоску по настоящей зиме и скрипучему снегу.

Но первые технические неполадки начались уже минут 15 после начала фильма. Изображение исчезло, а звук продолжался, отчего проклятия бабушки главного героя вдруг зазвучали в темноте.

– Будь ты проклят – рыбами, птицами, – раздавалось в кромешной мгле под мощный запах спирта.

В какой-то момент звук наконец остановили, свет зажгли. Пауза затянулась.

Какие-то молодые люди громким басом внесли предложение – «пустить по кругу» ведущую.

Затем некто белобрысый курносый Костя, с длинными пейсами, заправленными за уши, явился – пощелкал, похлопал, и изображение возобновилось, а через пару минут снова включили звук и погасили свет.

Потрескивание снега и замерзшие окна растрогали не меня одну: откуда-то сзади донесся такой грустный и глубокий вздох, что я подумала: «А вдруг эти парни воплотили свое предложение насчет ведущей?»

Увидев маму главного героя в белой пушистой шапке, я начала беззвучно плакать: ручьи слез текли по моим щекам, капали с подбородка. Дело в том, что именно такую шапку носила в России моя мама. Я почему-то придумала, что мне уже не суждено ее снова увидеть.

И пять, и десять минут спустя я плакала с прежней силой, но уже не из-за пушистой шапки, и не из-за скрипучего снега. Я сама не знала, почему.

Б. АГЕЕВ

ГЕНОЦИД В ЦЕНТРЕ БОЛЬШОГО ГОРОДА

Журнальный вариант

Предисловие 1. Первая шутка

Если кто-то из читателей всерьез думает, что события, описываемые здесь, на самом деле могут происходить в XXI веке в цивилизованном демократическом государстве, в центре огромного губернского города, под пристальным наблюдением сотен должностных лиц, тот либо болен тяжелой душевной болезнью, либо является обычным жителем этого города.

Предисловие 2. Экстраполяция

События, на основе которых автор строит свои умозаключения, происходили в 2004–2005 годах. Логично предположить (да так оно и будет в устах тех, кому это выгодно), что уж сейчас-то все обстоит совсем по-другому. Гораздо лучше. Совсем хорошо. Лучше и быть не может.

Охотно верю. Вполне вероятно, что кафель в коридоре покрасили новым слоем краски. Допускаю, что кислой капусты в похлебке-баланде стало меньше процентов на десять. Понятно, что некоторая часть особо «опытных» сотрудников могла уйти на пенсию. И уж совсем здорово, что в числе автозаков увеличилось количество автобусов.

Однако подросло новое поколение профессиональных тюремщиков, проходившее практику у тех «зубров» отечественной пенитенциарной системы, которые заложили ее монолитный фундамент. Все еще находятся у руководства «талантливые» люди, определяющие принципы ее функционирования. Наконец, не иссякает людской поток, вливающийся в гостеприимно распахнутые двери СИЗО-1, все ширятся ряды «воспитанников», «исправленных» этой системой и добросовестно передающих ее традиции новым поколениям зэков. Так что сказанное в этой рукописи вполне может стать основой для очередного разговора о деликатных проблемах правоохранения, судопроизводства и исполнения наказаний в нашем, конечно же, правовом государстве.

Предисловие 3. Извинение

Автор заранее просит извинения у читателя за то, что текст перегружен словами и выражениями в кавычках и в скобках. Дело в том, что в этой книге описываются события, происходящие в «параллельном» мире, своеобразном «зазеркалье», где традиционные понятия и слова либо искажены, либо используются по другому назначению. А порою их смысл изуродован до неузнаваемости, так что приходится давать дополнительные пояснения в примечаниях и кавычками обращать внимание читателя на то, что смысл слова изменен или оно используется в порядке вполне понятной, обычно горькой, иронии над происходящим.

Предисловие 4. О том, что Читатель и так знает

Архипелаг «ГУЛАГ» – всем известная государственная система исполнения репрессивных решений, подавления инакомыслия и «перевоспитания» уголовных преступников.

Талантливым наследником этой системы является ФСИН – федеральная служба исполнения наказаний. Вначале ФСИН функционировала в системе Министерства внутренних дел. Было много, мягко говоря, нареканий в ее адрес по поводу массовых нарушений прав человека и законов в подведомственных ей колониях, тюрьмах, следственных изоляторах. Поэтому, в условиях демократизации, под давлением внутреннего и международного общественного мнения, ФСИН была передана в Министерство юстиции Российской Федерации. Таким образом, были разделены функции сыска, раскрытия преступлений и содержания подследственных и осужденных в местах заключения. Этими решениями пытались исключить возможность применения незаконных методов различного рода воздействия в процессе следствия и преследования заключенных сверх определенных судом рамок в процессе исполнения наказаний. Сделано это было по-российски просто: тюрьмы, колонии, следственные изоляторы, тюремные больницы вместе с их сотрудниками и «спецконтингентом» и бюджетом были одним «росчерком пера» отнесены к Минюсту, который ранее этим никогда не занимался. Минюст – это «белые воротнички», служители Закона! И вдруг – зоны, тюрьмы с их грязью и «понятиями». Офицеры, сержанты и рядовые привыкли все проблемы решать зуботычинами, прикладами, матом. И вдруг – примат Закона?

Страна прожила уже 10 лет в 21-м веке! Что же получилось из этого благого начинания? Свежий и независимый взгляд изнутри позволяет с наибольшей объективностью оценить реальные процессы, происходящие за толстыми стенами и решетками и, во всяком случае, зафиксировать реальное положение дел на начало 2005 года на примере «лучшего» в стране СИЗО-1 города Саратова.

К сожалению, «свежих» взглядов изнутри, помимо желания их владельцев и вопреки требованиям Закона, в последнее время становится все больше.

Вхождение в «рай». Прописка

«...И ведь я знаю, как там говорится:
Ты из тюрьмы не улетишь, как птица.
А те, что птицы над тюрьмой летают,
Мне все о доме напоминают»

(Из тюремного творчества зэков)

В три часа ночи меня втолкнули в камеру. Перед этим часа полтора держали в «решке» (так здесь называют небольшое пространство, огороженное со всех сторон решетками).

В камере все спали, кроме одной личности. Как выяснилось позже, это был ночной дежурный (чеченец по национальности, Хасан по имени), а камера № 11, куда я попал, относилась к сборно-пересыльному отделению (СПО). В просторечии СПО называют карантином. Здесь содержатся подследственные, пока не оформлено их личное дело, не пройден медосмотр, не сделаны анализы крови с целью выявления инфекционных заболеваний и последующей сортировки следственно арестованных. Сортировка производится по признакам тяжести совершенных преступлений и по характеру заболеваний. Номинально для всех этих процедур достаточно 3–5 дней. На практике дело обстоит совсем по-другому. Но об этом – позже.

Дежурный, казалось, обрадовался моему появлению. Понятно, что скучно сидеть всю ночь одному. Коротко расспросив, кто я такой, по какой статье Уголовного кодекса (УК) попал в СИЗО, решил мрачно пошутить: как же, мол, ты к нам попал: у нас тут все либо «вичевые» (ВИЧ-инфицированные), либо сифилитики, либо «тубики» (туберкулезные). Потом настороженно сообщил, что по камере дежурят все (по поводу чего у меня не было никаких возражений – даже в голову не пришло: всю жизнь я где-то кем-то дежурил, за что-то где-то отвечал). Вслед за этим, без каких-либо дополнительных разъяснений, велел приложить красную повязку к руке, а затем – взять мочалку в туалете и один раз провести ею по «утке». Все это действие выглядело загадочно и бессмысленно. Однако очень скоро выяснилось, что в нем заложен очень глубокий смысл: этот ритуал является своеобразной «пропиской» в тюрьме и свидетельством того, что ты готов подчи-

няться режиму, установленному администрацией Учреждения.

Здесь необходимо остановиться, чтобы подробнее объяснить смысл произошедшего.

По традиции все тюрьмы и «зоны» в России подразделяются на «черные» и «красные». В «черных» тюрьмах внутренний распорядок поддерживается воровскими традициями – «понятиями». Установленный порядок поддерживается ворами и «авторитетами». При этом, безусловно, присутствуют и здравый смысл, и своеобразная «справедливость», понятия о которой складывались десятилетиями. В «черных» тюрьмах дежурят не все. Воры и нормальные «мужики» считают ниже своего достоинства («понятия» не допускают) мыть пол, туалет, вообще выполнять любую «черную» работу. Любое отступление от этого принципа грозит переводом нарушителя в более низкую категорию на социальной лестнице тюрьмы, даже в категорию «обиженных». Совершенно изумительным является то, что информация о том, что кто-то нарушил «понятия», чрезвычайно быстро становится известной не только всей тюрьме, но и во всех «зонах», куда впоследствии этапируется этот «нарушитель». Так что ему не позавидуешь.

В «красных» тюрьмах внутренний распорядок определяется требованиями режима, установленного администрацией Учреждения. При этом декларируется, что этот режим введен в противовес воровским традициям, с целью их искоренения. Считается, что соблюдение режима обеспечивает справедливость и защищенность всех содержащихся в тюрьме, равенство их перед Законом, поскольку номинально режим основан на требованиях Федерального Закона – Уголовно-исполнительного кодекса (УИК). Практически работой по обеспечению соблюдения требований режима занимаются офицеры-инспекторы по режиму («режимники»). «Режимники» – очень разные люди, со своей индивидуальностью, с разным образовательным уровнем и так далее. Поэтому постепенно требования режима УИК подменяются требованиями «режимников»: такими, как они их понимают. Однако внутри камер инспекторам по режиму проводить эту работу очень сложно, практически невозможно, поскольку заходить в камеры по одному им категорически запрещено (опасно!), а по двое или по трое – никаких штатов не хватит на такое количество инспекторов. Поэтому фактически «несут» требования режима в «массы» так называемые «старшие» по камерам, негласно назначаемые «режимниками». Эти лица – полуофициальные. Их назначают из числа следственно арестованных, знакомых с требованиями режима, то есть из числа тех, кто уже ранее отбывал наказание в местах лишения свободы или уже долго содержится в СИЗО. Совершенно обычным является назначение «старшего» из числа уже осужденных, которые, вопреки категорическому запрету, содержатся в одной камере с еще не осужденными лицами. Этот факт тщательно скрывается от прокуроров, ведущих надзор за соблюдением законности в СИЗО.

«Старшие», являясь разными людьми, с разным тюремным опытом, а зачастую и просто подонками, «творчески» перерабатывают требования режима и выполняют прямые заказы «режимников». Поэтому двух одинаковых камер в смысле реализации их обитателями требований режима в тюрьме нет. Вообще, о «старших» – особый разговор, позже.

В Саратове и Саратовской области все тюрьмы и колонии – «красные». «Знающие» люди говорят, что не просто «красные» – «краснее» не бывает! А система исполнения наказаний в Саратовской области, по мнению чиновников из Министерства юстиции, – одна из лучших в России.

Именно поэтому процедура «прописки» в камерах СПО очень важна для «режимников»: если вновь прибывший отказывается надеть повязку или мыть туалет – он, по их мнению, стремится поддерживать воровские «черные» традиции. Об этом сразу же становится известно от «старшего», и с таким человеком – разговор особый, система должна перевоспитать его. Вот уж, поистине: от чего уходили, к тому же и пришли. Вместо одних уродливых традиций сформированы другие, не менее уродливые!

Известны немногие арестованные, сумевшие выдержать прессинг администрации, вплоть до физического воздействия, и не выполнившие эту процедуру, например, некий Петрович. С такими упорными пытаются заключить нечестную договоренность: ты, дескать, сделай вид, что признаешь режим, а сам можешь его и не выполнять, мы закроем глаза. Петрович на это не пошел и хлебнул полной мерой все прелести «режимных» воздействий (психологических и физических). Кстати,

уголовное дело в отношении него было прекращено, и он был освобожден из СИЗО, так и не будучи «окрашенным» в красный цвет.

Войдя посреди ночи в камеру СПО-11, я об этом ничего не знал, потому что никто никому этого не объясняет, все познается на практике, постепенно, из намеков сокамерников, из наблюдений, методом проб и ошибок.

Таким образом, мое пионерско-комсомольско-коммунистическое прошлое, когда бесконечные дежурства, сборы макулатуры, металлолома, уборки улиц, парков чередовались чуть ли не ежедневно (о, ирония судьбы!), позволило мне без каких-либо затруднений и душевных мук пройти «прописку» и влиться в ряды пока еще спящих сокамерников.

Хасан тем временем достал откуда-то бритву и мигом обрил мою предварительно намыленную голову. Голове стало легко и прохладно. Дикость этой ситуации шокировала слабо ввиду крайней усталости и подавленности всем происходящим. Господи! Что же еще? Но на сегодня, по-видимому, лимит абсурда был исчерпан. Хасан растолкал двоих парней, заставил их раздвинуться и предложил ложиться спать, грубо пошутив, чтобы я опасался спать задом к этим парням. Время подходило к четырем часам утра. Закрыв глаза, лежа на одном боку (как выяснилось утром, в камере на 24 спальных места было 47 заключенных), пытался как-то осмыслить то, что со мной произошло и, может быть, заснуть. В 6.30 заорали: «Подъем!»

Жизнь в «раю». Карантин

«...Я тебя полюбил –
я тебе объясню...»
(Чатланин Уэф. К/ф Кин-Дза-Дза)

Заорали диким матом сразу несколько голосов. Началась суматоха. В чрезвычайной тесноте скатывали в рулоны матрасы с постельными принадлежностями, забрасывали их на верхние нары. Личные вещи отправляли туда же. У меня не было никаких вещей, даже зубной щетки. И постели, и места в этой камере тоже не было. Поэтому я стоял в стороне и наблюдал за происходящим, кое-как умывшись ледяной водой и почистив зубы пальцем, не вытираясь полотенцем ввиду его отсутствия. Горячей воды не было, хоть кран для нее имел место. Как выяснилось позднее, горячей водой поливали тюремный двор, чтобы очистить его от снега – это гораздо важнее, чем не дать арестантам заболеть.

Все суетились, кроме двух человек, продолжавших спать. Как вскоре выяснилось, это были старший по камере (камеру здесь называют «хата») и его помощник. Следовательно, режим существует все-таки не для всех и, прежде всего, он не обязателен для тех, кто обязан контролировать его соблюдение?

Орали «подъем» несколько добровольных помощников, которые всегда находятся из числа желающих приобщиться к власти. Как правило, это лица, уже ранее имевшие конфликты с Законом или находившиеся в данной камере уже некоторое, более или менее длительное, время.

Вообще, контингент заключенных в камерах карантина чрезвычайно непостоянный: почти каждый день приводят новых арестантов и уводят прошедших процедуру медосмотра и дактилоскопирования в камеры постоянного содержания. Поэтому большинство их не успевает элементарно познакомиться, а не то что установить какие-то дружеские связи. Кроме того, состав арестованных – очень разнородный: от директоров и владельцев предприятий, писателей, адвокатов и преподавателей ВУЗов до «бомжей», предельно опустившихся личностей. Все эти люди содержатся вместе, вперемешку, что, конечно же, является дополнительным наказанием для них для всех, так как процесс их вынужденного общения друг с другом неизбежно опускается на уровень неандертальца. Кроме того, стиль общения сотрудников администрации СИЗО и их «полномочных представителей» – старших по камере со следственно арестованными сформирован в расчете именно на предельно опустившихся людей, подонков. Отсюда – мат-перемат в обращении к заключенным, друг к другу, даже в присутствии женщин, и самих женщин в присутствии мужчин; крайний цинизм

в подборе выражений, определяющих суть происходящего.

Нецензурная брань здесь не является бранью. Нецензурными словами здесь разговаривают на все бытовые темы, общаются, обсуждают юридические проблемы, рассказывают о дорогих и близких людях, о детях (например, любимого сыночка со слезой на глазах называют «пиз...юк»). Это же характерно и для служащих, конвоиров, охранников, должностных лиц и т.д. Если же хотят действительно обидеть, обозвать, обругать за что-то или без какой-либо причины, говорят: «Конь фанерный! Мутант! Дятел пропиленовый!» В принципе, любое цивилизованное слово здесь может быть использовано в качестве ругательства. И это на самом деле реально обижает людей. Вот уж, поистине, «королевство кривых зеркал», социум, «вывернутый наизнанку». Кстати, слово «обижать», «обиженный» само по себе здесь является сильным оскорблением, поскольку означает сексуальное надругательство в извращенной форме. Вместо этого слова используют застенчивое «огорчить».

Итак, добровольные помощники, при помощи дикого мата, зверских рож и малопонятных «ученых» слов-оскорблений стимулировали перегрузку постельных принадлежностей и личных вещей с первого этажа нар-шконок на второй, обеспечив тем самым прозрачность пространства камеры и удобство для ее ежеутренней проверки сотрудниками СИЗО.

Несколько слов о том, что представляла собой камера карантина № 11. Это полуподвальное помещение площадью метров 40 квадратных. На этой площади размещено два десятка нар. Нары здесь называют «шконками». Шконки расположены в два ряда – вдоль стен и в два яруса. Они представляют собой цельносварные стальные конструкции непромышленного изготовления. Занимаются их изготовлением «умельцы» из отряда обслуживания СИЗО – заключенные, осужденные к лишению свободы, оставленные «по их просьбе» администрацией СИЗО здесь же для полного технического обслуживания учреждения. Отряд обслуживания состоит из специалистов: строителей, электриков, сварщиков, плотников и так далее и из неквалифицированных работников: уборщиков, разносчиков пищи и всяких других. Вот эти умельцы, ранее сами сидевшие в карантине, занимаются его обслуживанием, содержанием, ремонтом с использованием инструмента и расходуемых материалов, приобретаемых самими заключенными на собственные средства «добровольно». Состав этих чудо-работников очень пестрый и своеобразный. Поэтому и технические решения, применяемые ими, очень своеобразны: решетки окон приварены к трубам отопления; шконки приварены друг к другу, к оконным решеткам и трубам, лежанки шконок набраны из полос листовой стали, сваренных, как «у пьяной лошади зубы», так что спать на них – дополнительное наказание, не предусмотренное Законом. Скамьи, на которых невозможно сидеть; столы, за которыми неудобно есть; электропроводка, смонтированная с двукратным нарушением каждого правила – все это рядовые явления, представляющие собой абсолютную реальность, на которую никто из проверяющих «законников» не обращает никакого внимания, а сами заключенные смиряются как с неизбежностью, поскольку эти неприятности не идут ни в какое сравнение с их личными проблемами.

У входа в камеру с одной стороны расположен цельносварной стол, приваренный к полу, со стальными скамейками, приваренными к столу и к полу. Обитатели камеры называют это сооружение «общак», хотя администрация резко протестует против этого, поскольку это слово – из лексикона блатных и как бы продолжает их традиции. С другой стороны – одноместный туалет типа ватерклозет. Он несколько приподнят над полом камеры и зрительно отгорожен от нее перегородкой высотой по пояс. При отправлении своих естественных нужд страждущий не имеет права изолироваться от сообщества зэков «для его же собственной пользы», дабы не делать «чего не то» или не посягать на собственную жизнь каким-либо примитивным способом. Поэтому никаких дверей и занавесок конструктивно не предусмотрено. Но самодельные занавески все равно вешают (уж больно стыдно), и на это нарушение все закрывают глаза. Все это сооружение именуют «дальняк». Этимология этого жаргонизма производит его от существительного «даль» или прилагательного «дальний», по-видимому, по той причине, что туалет расположен на самом дальнем расстоянии от окна, являющегося лучшим местом в «хате», где и занимают места «старший», его помощники и приближенные. Рядом с «дальняком» – раковина, над ней – зеркало.

Вот и вся обстановка – более чем спартанская. Все личные вещи, личный гардероб почти полу-

сотни зэков – под «шконками» навалом. Рядом со «шконкой» «старшего» – тумбочка, обычно самодельная, на которой стоит телевизор (из «гуманитарной» помощи заключенных), а в тумбочке – личные бритвы всех заключенных (под контролем «старшего»), писчебумажные принадлежности «старшего» и кое-какая художественная литература (преимущественно детективы с частично отсутствующими страницами и дамские романы).

В окне – полуразвалившаяся рама, в которой бессистемно «в одну нитку» кое-как вставлены разноразмерные стекла. До них невозможно добраться, чтобы их протереть, потому что имеется дополнительная, более мелкая решетка-отсекатель, препятствующая подходу к основной решетке (подход к окну категорически запрещен во избежание «высовывания» заключенных из него и общения с обитателями соседних камер. Занавески на окнах – тоже запрещены).

На потолке – разукомплектованные светильники, которые не выключаются ни днем, ни ночью.

С 6.15 до 7.00 – время завтрака. В двери открывается окошко 25х25 см для передачи пищи – «кормушка». Предполагается, что к этому моменту все 47 человек успели сходить в одноместный туалет, умыться под одним краном, почистить зубы; предполагается, что у всех есть зубная паста, щетка и полотенце (хотя, откуда бы им взяться, если тебя задержали внезапно и тут же автоматически арестовали, ближайшая передача возможна только через несколько дней, а администрация ничего такого заключенным не выдает?).

Пищу разносят заключенные из отряда обслуживания. Здесь их называют «шныри», потому что целый день они бегают по тюрьме туда-сюда, выполняя самую разную неквалифицированную работу. Подъем у них – в 5.00, к 5.30 человек 10 уже убирают внутренний двор: если лето – подметают; если зима – убирают снег лопатами, сметают самодельными метлами, смывают горячей водой (той самой, которая не доходит до камер). К 6.00 они должны это закончить и весело, под музыку делать утреннюю гимнастику (в камерах СИЗО делать гимнастику запрещено: это расценивается «режимниками» как подготовка к побегу). Кстати, работников администрации нисколько не интересует, откуда «шныри» берут инвентарь: он должен быть – и все! К 6.15 они разносят завтрак, приготовленный в тюремном пищеблоке, в опечатанных флягах по этажам тюремных корпусов. Затем, обрядившись в номинально белые фартуки и нарукавники, раздают по порциям через «кормушки» в камеры. То же – в обед. Ужин заканчивается в 19.00. После этого они должны вымыть фляги, кухню... Рабочий день у них заканчивается часов в 8-9 вечера. Труд этот – подневольный, постылый; состав «шнырей» часто меняется: за малейшую провинность их отправляют в ШИЗО (штрафной изолятор), за повторные нарушения – в колонии, без возможности досрочного освобождения. Нарушениями считается все: общение с содержащимися в камерах; передача записок; прием сигарет или чего-то вкусного; непочищенная одежда; плохо выбритое лицо, в общем, что угодно. Следствие такого труда и режима – молчаливая озлобленность и полное безразличие к тем, кого они обслуживают. Отсюда – совершенно бессмысленные «накладки», например, в 6.15 раздают капусту (кислую, вроде бы тушеную, нарубленную крупными кусками – больше ничего, кроме капусты, в этом блюде нет), через 15 минут приносят чай; еще через 15 минут передают хлеб – по 0,5 кг на человека сразу на весь день; и, наконец, к 7.00 – по столовой ложке сахара на каждого человека на весь день. Самим «шнырям» сахар не положен (дабы не гнали самогон). По-видимому, кто-то из них «экономил» его, образовывая излишки. Поэтому позже стали разливать чай уже с сахаром. Сразу же чай стал приторно сладким (правда, выдают его только утром, в завтрак: ни в обед, ни в ужин напитки не положены). В обед раздают два блюда: похлебку (назвать ее супом нельзя, правильное слово – «баланда») и что-нибудь «второе»: сечку, реже перловку или тушеный картофель комками темно-серого цвета). На ужин – одно «второе» блюдо из приведенного выше перечня. В похлебку и вторые блюда добавляется свиная тушенка или, чаще, соевая «тушенка». В связи с этим питательность рациона – «убойная». В сочетании с регулярностью питания и малоподвижным образом существования (слово «жизнь» здесь не подходит) такая диета приводит к дистрофии мышц рук и ног и бурному росту живота: перемещаются по камере этакие уродцы с тоненькими ручками-ножками, бледным лицом и большим животом. Внешний вид заключенного, не ограничивающего себя в еде, напоминает рахитичного ребенка с лицом и глазами старичка. Сами

зэки называют это зеркальной болезнью: свое мужское «достоинство» можно увидеть только в зеркале. Есть и еще одна неприятность: все продукты питания в результате их приготовления принятым в тюрьме образом становятся чрезвычайно газообразующими. В сочетании с постоянной перегруженностью кишечника это создает чрезвычайные звуковые эффекты при метеоризме и пользовании санузлом. С учетом количества заключенных в одной камере и нахождения унитаза непосредственно в помещении камеры, это создает почти непрерывный своеобразный звуковой фон из трубных звуков. Конечно же, это обстоятельство является основной темой бесконечных циничных шуток, ругательств, скандалов, взаимных обвинений в, мягко говоря, нечистоплотности. Кстати, администрацию нисколько не интересует наличие туалетной и иной бумаги в камерах, газеты тоже появляются крайне редко. Заключенные, которые получают передачи от родных, обеспечивают этим дефицитом и себя, и остальных.

«Посадочных» мест за столом-«общаком» не более восьми. Поэтому остальные 25-30 человек завтракают, стоя кое-как на площадке 3х3 м перед «дальняком». Половина продуктов не доедается и выбрасывается в унитаз. Посуды в карантинах не хватает: администрация посудой не обеспечивает, а арестанты далеко не все могут получить ее в передаче, поэтому не всем на первых порах удается поесть тюремных разносолов. На ежедневных обходах «режимники» задают вопрос: «У всех всего хватает?» И получают неизменный ответ: «Да!»

– Вопросы есть?

– Нет!

Другие варианты ответов на эти вопросы не предусмотрены.

За этим пристально следят и обеспечивают путем угроз «старшие»: зачем создавать администрации головную боль?

После завтрака и мытья посуды холодной водой добровольные помощники («старший» и его помощник еще спят) загоняют всех на второй этаж «шконок» криками: «Все – на пальму!» и тычками, если кто-то замешкался. Очередной дежурный производит влажную уборку: моет «дальняк», раковину, пол; протирает трубы, зеркало, «общак», кормушку и так далее. В качестве резервуара для воды при уборке используется унитаз, наполняемый водой доверху, для чего отверстие в нем затыкают самодельной пробкой-«кляпом». Изготавливать и применять «кляп» запрещено. Поэтому при каждом обыске камеры (что производится регулярно, по секретному графику, утвержденному начальством) его изымают. Сразу после обыска «кляп» снова изготавливают из ваты, надерганной из матрасов, и полиэтиленового пакета и используют до следующего обыска. Иного выхода нет, поскольку ни ведер, ни тазов администрация не выдает, как и всего прочего, а чистоты требует чрезвычайно строго. Умиляет трогательная забота администрации о наличии графика дежурства в камере на очередной месяц. Этот график изготавливает «старший» (на деле – поручает это сделать кому-то из «добровольцев» и строго контролирует исполнение поручения), а визирует лично начальник корпуса – офицер внутренней службы! График – предельно недостоверный, поскольку состав заключенных в камере ежедневно изменяется, кроме того, часть заключенных увозят на допросы, в суды, еще куда-нибудь, и они не могут дежурить. Тем не менее, график должен быть и, главное, внешне должен быть оформлен безупречно для услады глаз проверяющих – прокуроров и уполномоченных по правам человека.

На «пальме» «контингент» сидит, матерясь, до 9 часов утра, после чего под крики про фанерных коней, пропиленовых дятлов и мутантов выстраивается возле входа в камеру для ежедневной утренней проверки. В это время торжественно просыпаются «старший» и его помощник. Матерясь, перед стоящими в строю следственно арестованными они мочатся, сморкаются, умываются. Затем начинают воспитательную работу: проводят репетицию приветствия входящей администрации дружным криком «Здрасть!» (бальзам на истерзанные служебными ранами сердца сотрудников администрации). Репетируют раз по 10-15, пока не надоест самим. Стоя в строю, все дожидаются проверки от одного до двух часов. В камеру входят несколько сотрудников СИЗО во главе со старшим смены или начальником корпуса. Сотрудники «вооружены» деревянными молотками на длинных ручках – «киянками», которыми обстукивают стены, полы, решетки, шконки в поис-

ках мест возможной подготовки к побегу. Вместе с ними заходит военврач, обычно – женщина. Она интересуется жалобами на здоровье, записывает на прием нуждающихся в осмотре. Проверяющие, добродушно матерясь, общаются со «старшим»; по-отцовски строго матерясь, наставляют на путь истинный «контингент» (врач скромно пропускает брань мимо ушей). Затем следует сакраментальный вопрос: «У всех всего хватает, жалобы на режим содержания есть?» И получают ответ, сами знаете, какой. Впрочем, они его и не дожидаются, предугадывая заранее. Действительно: в чем могут нуждаться люди в перенаселенной камере, не имеющей элементарных условий для жизни? Изредка проверку проводит кто-нибудь из заместителей начальника СИЗО или прокуратуры. Перед этим «режимники» предупреждают категорически: «Глупых вопросов не задавать!» При этом глупостью считается само появление вопроса, а не его содержание. Если все же, паче чаяния, состоится такая глупость, как вопрос высокому чиновнику, неприятности «старшему» обеспечены, а от него транзитом – и задавшему вопрос.

После ухода проверяющих – новый матерный аврал – нижний ярус «шконок» застилается «по-белому», верхний – «по-черному», и все снова взлетают на «пальму» вплоть до обеда. В это время «старший» с «присными» приступает к завтраку, для чего используются продукты, получаемые сокамерниками в передачах. Причем, «старший» или кто-либо еще никогда ни у кого насильно ничего не отбирает. Это жесточайшим образом наказывается администрацией по первой же жалобе пострадавшего, без какого-либо расследования. Принцип: никаких жалоб не должно быть вообще – действует и в этом случае. «Старший» с приближенными кушает и параллельно воспитывает следственно арестованных. У него всегда есть список лиц, сообщаемый ему оперативником, на которых он должен обратить особое внимание. Внимание он обращает в разных формах, которые, впрочем, весьма стандартны. Одних угрозами и матом (рукоприкладство запрещено категорически, но только что прибывшие об этом еще не знают!) заставляют чистить зубной щеткой «дальняк», других – наизусть учить распорядок дня, обязанности дежурного.

Доходило до идиотизма: в качестве наказания заставляли наизусть учить Гимн России. Узнав об этом, слава Богу, начальство запретило дискредитировать таким образом государственный атрибут.

Иногда на «воспитателя» находит просветление, и он в духе Макаренко-Ушинского изобретает нестандартный прием. Мне повезло наблюдать за одним таким феноменом.

Однажды попал в эту камеру некий люмпен, видимо не очень замечательно питавшийся на воле. Бомжи, попадая в карантин СИЗО, первоначально отъедаются, сметая баланду «на ура». При этом некоторые стараются прихватить что-нибудь еще не вполне легально. По инерции и этот субъект (не со зла и без умысла) съел чего-то лишнего, не из своей порции. Это, разумеется, вызвало праведное возмущение и презрение общественности. Такие вещи в тюрьме не прощают, а описываемую категорию людей вообще не любят. А этот вечно голодный индивид одним своим присутствием доводил обитателей карантина до нездорового ажиотажа, а уж когда видел «харч», крыша у него съезжала абсолютно конкретно. Надо же такому быть, что у «старшего» именно в этот момент проснулся особый педагогический дар! Вылечить гада от сей неправильной черты характера он решил по принципу «клин клином вышибают». Когда Витя-бомж съел не свою норму баланды и сделал это весьма неэстетично, «старший» не выдержал. Он не стал бить и даже материть «паскуду», а велел свалить в одну очень глубокую «шлемку» три порции синей-пресиней каши-«сечки», добавил туда же целую пачку сливочного масла (впрочем, не своего), несколько столовых ложек сахара (тоже не своего – педагогика требует жертв ото всех!), отрезал полбуханки тюремного бурого хлеба, налил литровую кружку приторно сладкого чая. Витя на все это взирал со скучным видом. С удовлетворением глядя на дело рук своих, в предвкушении феерического педагогического эффекта, с дико-угрожающим выражением рожи «старший» в категорическом тоне предложил «падле» все это сожрать, раз он такой «крысятник» и вообще нехороший человек. А если, мол, означенный негодяй этого не сделает, то постигнут его кары, еще не виданные никем в камере №11. Мол, с «дальняка» не слезешь, гад, пока тебя отсюда не заберут! Камера оживилась: не каждый день такая «развлекуха» выпадает. К тому же и Витя – не больно

симпатичный. К тому же каждому приятно сознавать, что лично ты находишься на более высокой ступени социальной лестницы в камерной иерархии. Зрелище обещало быть занимательным.

Негодяй-люмпен, конечно, никаких кар себе не желал, флегматично взял ложку, поудобнее уселся на скамье «общака» и с предельно виноватым видом приступил к поеданию абсолютно несъедаемой порции эрзац-продуктов. Весь партер и вся галерка зрительской аудитории замерла в сладком предвкушении справедливой мести, заранее планируя не допускать гада без очереди на парашу. А бедный воспитуемый ритмично жрал и жрал немереную груду несъедобной органики, пока все не съел, облизав ложку, и запил очень кстати имевшимся на этот случай чаем. Немая сцена «толпа безмолвствует»! Ну, не скотина ли? Никакого мата не хватило, чтобы описать разочарование коллектива явным поражением от социального отщепенца. Сложная комбинация чувств: злорадство – по отношению к «старшему»; изумление – по отношению к Вите: где вся эта бурда у него разместилась; разочарование от несостоявшегося шоу «Витя-дальняк» – все это в различных пропорциях, строго индивидуально, отражалось на лицах зрителей. Надо было видеть несчастные физиономии «старшего» и «присных»: гениальный педагогический прием потерпел полный крах. Покачнулось все монументальное здание великой тюремной педагогической науки. Непререкаемый авторитет «старшего» дал трещину, что он и сам косвенно признал, выдав подряд весь запас ненормативной лексики. Тем не менее, определенный воспитательный эффект все же был: «старший» зарекся от педагогического выпендрежа и вернулся к старым, хорошо зарекомендовавшим себя методам воздействия.

С некоторыми упорными зэками «старшим» приходится работать особенно внимательно, проводя углубленные беседы. Такие беседы могут проводиться и до глубокой ночи, когда от арестанта добиваются нужного признания (в письменной форме), не давая ему спать. А если он все же противится, то, для его же пользы, применяют пинок (и один, и другой – сколько надо!), не оставляющий на теле следов, и угрозы. Большинство обрабатываемых таким образом бедолаг приходит к закономерному финалу: признается в том, о чем его «просят». Для чего это нужно «старшим»? Во-первых, чтобы комфортно отбывать наказание за совершенное ими преступление (поблажки, питание «с воли», телевизор, отсутствие физической работы); во-вторых, при положительных результатах их работы им гарантируется условно-досрочное освобождение (УДО) в соответствии с Законом. Работа «старшего» по камере для нормального человека – очень тяжелый труд, без всяких шуток. Потому что, фактически, он отбывает наказание не в колонии, как это предусмотрено приговором, а в тюрьме, а это самый тяжелый режим (прежде засчитывали 1 день пребывания в тюрьме как три, а затем как два дня пребывания в колонии). Кроме того, вероятность получить взыскание очень велика: поди пойми, что там в голове у «режимника», чего он захочет от тебя в следующий раз! А полученные взыскания сильно затрудняют УДО. Очень тяжелым является и постоянная смена лиц, находящихся в камере, отсутствие постоянных привязанностей, товарищей, устоявшегося быта, необходимость быть в постоянном противостоянии со многими реально испорченными людьми, зачастую опустившимися людьми, не имея выбора и возможности уклониться от общения. В таких условиях весьма вероятно заработать серьезное расстройство нервной системы, а при неправильном понимании своих функций очень легко стать законченным подонком.

Итак, «старший» с приятелями до обеда кушает, ковыряет в зубах, смотрит лежа телевизор, остальной «контингент» «отдыхает с баснями Крылова»: кто играет в шахматы, шашки, нарды; кто обсуждает подробности своих уголовных дел; кто ожидает своей очереди покурить.

Курение – особая сторона тюремной жизни. Указом Президента курение в общественных местах запрещено. Тюрьма – место, скорее, антиобщественное. Но администрация, по умолчанию, распространяет этот Указ на свою подведомственную территорию и свято заботится о его соблюдении. Поэтому она ничего «не знает» о том, что в камерах курят. В передачах передают сигареты? Так передавать – не запрещено, курить запрещено! Если при входе в камеру проверяющие почувствуют запах дыма (впрочем, и любой другой запах: чистота в камере должна быть идеальной), замечание следует мгновенно, а замечание для «старшего» – сами знаете что.

Среди «вольного» населения России курят процентов 40-45. Среди заключенных курят 100%. Попадаются, конечно, дураки вроде Вашего покорного слуги, которые принципиально не курят и не курили никогда. Так им приходится просто невыносимо: они вынужденно становятся пассивными курильщиками. И если истинные курильщики курят по очереди (не более чем по два человека строго в разрешенное время), то некурящие пассивно участвуют в курении с каждым предающимся этому пороку. Отсюда – хронический кашель курильщика даже у некурящих.

Запрет курения кому-то – самый популярный и действенный способ наказания провинившегося или человека, от которого нужно чего-то добиться. «Старшие» широко пользуются этим наказанием и применяют его, при содействии Президента, очень эффективно. Поддержка администрации ему в этом обеспечена: курить-то запрещено! Заметьте: бить не надо, оскорблять не надо, запугивать – зачем? Запретил курить (как крайняя мера воздействия) – через 3-4 часа человек неизбежно понимает свою «неправоту». Справедливости ради необходимо признать, что такой «страшный» способ воздействия применяется редко. «Старший» – сам курильщик и знает, насколько тяжко это зверское наказание. Поэтому чаще используется крайняя степень устрашения: до обеда (вариант – после обеда) никто не будет курить из-за того, что такой-то, сякой-то позволил себе что-то недопустимое. Праведный гнев курящей общественности мгновенно дает понять провинившемуся, кто он такой есть, кто есть его родственники, каким образом он от них отпочковался и куда он проследует, если не отнесется критически к своему поступку и не раскается, искренне посыпав голову пеплом от сигарет, которые будут выкурены этой общественностью в ближайшем будущем. При этом часто звучат жаргонные наименования мужских и женских половых органов, подробное описание актов половых взаимоотношений применительно к провинившемуся, просторечные пожелания уроду всего самого нехорошего в будущем и прямо сейчас. Единственный, кто не желает бедолаге адовых мук – это некурящий. Он не то чтобы симпатизирует незадачливому зэку, а просто считает сей блаженный миг посланием свыше, праздником души.

Правильная реакция прогрессивной общественности камеры не оставляет «старшего» равнодушным, он никогда не доводит угрозу до конца, распоряжаясь продолжить процесс курения строго на основе очередности, своевременности и в направлении вентиляционного отверстия. Для некурящего наступают суровые будни.

Такой или другие конфликты позволяют скоротать время до обеда, между обедом и ужином. Сразу после обеда – опять влажная уборка с мытьем пола, «дальняка», уборка «общака» силами дежурного. Поскольку обитатели камеры карантина постоянно сменяются, на долю каждого выпадает не более одного дежурства, которое становится для него подлинным мучением, приносит множество отрицательных эмоций и даже стресс, поскольку на воле вряд ли кому-то приходится мыть полы, окунаясь в общественный сортир.

Остальные фигуранты опять-таки до 18.00 сидят на «пальме», убивая время ничегонеделанием. Есть, правда, телевизор. А по телевизору на его двенадцати каналах показывают фильмы, познавательные передачи. Но, во-первых, просмотр телепередач разрешен почему-то только в строго определенное время, а, во-вторых, спецконтингент никогда не придет к согласию по поводу того, какую программу смотреть. Поэтому «старший» предельно «демократично» включает MTV, где Катя Лель по пятьдесят раз в день эротично исполняет «муси-пуси» и четыре «телки», корчась от текста своей «песни», упрекают весь мужской состав камеры: «Ты спросил, у лифта стоя, сколько мое сердце стоит!» Другая «певица» сообщает: «Я беременна, это временно...». На том же канале молодежь обоих полов играет в интеллектуальную игру на раздевание.

Культура чтения художественной литературы обитателей камеры не изуродовала, поэтому те три с половиной книжки в мягких обложках, которые здесь имеются, остаются невостребованными. «Муси-пуси» – как раз тот уровень развития, который большинство их привел сюда.

В 18.00 с грохотом открывается кормушка. Без энтузиазма народ принимает баланду, половину которой относит в канализацию сразу, а вторую, пропустив через свой организм, относит туда же в порядке живой очереди на следующий день.

После ужина: «пальма», третья влажная уборка камеры, с 20.00 до 21.00 – стояние в строю

в ожидании вечерней проверки и репетиции ответа «Здрасть!» на приветствие проверяющего «Добрый вечер!» (Ага, он, конечно же, добрый – почти подмосковный!)

Трехкратная влажная уборка, постоянное сливание воды в туалете и при мытье рук, а также интенсивное дыхание людей в переполненной камере приводят к 100%-ной влажности и образованию конденсата на стенах и стеклах окон. Вода ручейками стекает по стенам и подоконнику на пол; вентилятор (из числа гуманитарной «помощи» арестантов) не справляется с проветриванием. Из-за повышенной влажности большинство зэков страдают респираторными инфекциями, кашляют, сморкаются, создавая типичный звуковой фон процесса исправления заблудших душ, и так – всю ночь! Особенно трудно приходится астматикам, пока их не поместили в специальные больничные камеры: в карантине сочувствия не дождешься!

Нужно сказать, что, несмотря на специфический состав обитателей карантина и их чрезмерную скученность, конфликты возникают чрезвычайно редко, несравнимо реже, чем при такой же скученности на базаре, в кинотеатре, в столовой и т.д. Все стараются держать себя в руках, не реагировать резко на случайные толчки, неосторожные слова. С этой точки зрения период пребывания в карантине является чрезвычайно интенсивной школой поведения в тюрьме, воспитывающей терпимость, способность прощать мелкие обиды, способность сосуществования с чрезвычайно пестрой по составу массой людей, которые оказались несовместимыми в этот период своей жизни с правилами человеческого общежития на воле.

Сразу после вечерней проверки – форсированный переход ко сну. Свет не выключается, все ложатся головами к проходу, чтобы ночной дежурный контролер, находящийся в коридоре, мог пересчитывать всех через глазок в двери. Ночные дежурные в камерах, по мнению администрации (основанному, очевидно, на практике), необходимы для исключения случаев суицида и «извращенного» сексуального поведения. Для затруднения же попыток самоубийства у следственно арестованных отбирают все веревки, шнурки, резинки (кроме используемых в трусах и спортивном трико), отбирают и хранят в одном месте все бритвы под контролем «старшего»; в камере нет вилок и ножей (хлеб ломают руками или делают эрзац-ножи из крышек от консервных банок – «резки». Сотрудники СИЗО прекрасно знают, что зэки делают «резки» и сплетают веревки для поддержки штанов, сушки белья и изготовления шнурков для обуви и регулярно отбирают все это на «шмонах». Но каждый раз этот инвентарь возрождается, как Феникс из пепла.). Ложки разрешены только алюминиевые, пластмассовые или деревянные, так как из стальной можно сделать «заточку»; консервные ножи – без лезвия; кружки и миски – алюминиевые или керамические.

Кроме того, существуют самые разнообразные ограничения и запреты на предметы и продукты, которые можно передавать арестантам. Эти ограничения появились, по-видимому, в разное время на протяжении всей истории советского ГУЛАГа и явились реакцией на бесконечную изобретательность заключенных и их родственников, находящихся на свободе. Например, нельзя ничего передавать в закрытых, даже фабричных, упаковках: сигареты и спички – россыпью; конфеты – без оберток. Консервные банки – без этикеток, и определенная их часть вскрывается на приемке; фрукты, колбаса, хлеб – нарезанные на куски; обувь – без супинаторов и другой металлической фурнитуры. Запрещены любые аэрозоли: одеколоны, дезодоранты, кремы (скорее всего потому, что они часто содержат спирт). Запрещено иметь авторучки с цветной пастой, гелевые авторучки, фломастеры (чтобы зэки не делали цветных татуировок. Во избежание изготовления татуировок запрещено также иметь электробритвы, потому что тюремные умельцы могут сделать из них аппараты для татуировки). Запрещено иметь при себе лекарственные препараты. И уж совсем запрещено иметь транзисторные приемники, плееры, мобильные телефоны. Запрещено громко разговаривать в камерах, стоять возле входной двери, подходить близко к окну, высовываться из него и высовывать какие-либо предметы (например, телеантенну). Запрещено делать в камерах гимнастику, вообще выполнять физические упражнения (это, якобы, может быть подготовкой к побегу). Одним словом, масса всяческих запретов, знание которых составляет значительную часть тюремной науки. Трудно сказать, какие из этих запретов законны, а какие – нет. Никаких письменных инструкций по этому поводу в камерах нет, инструкции ГУФСИН зэкам

недоступны, а «режимники» на просьбу разъяснить непонятные требования либо многозначительно молчат, либо осведомляются: «Ты чо, самый умный?»

Своеобразно нормативное обращение к сотрудникам СИЗО. Ко всем, включая рядовых и женщин, следует обращаться: «гражданин начальник» (о, великий и могучий!). По-видимому, «гражданка начальник» звучит не так гордо. В этой связи вполне актуально выглядит тюремный порнографический стишок, сделанный под Маяковского:

Я достаю из широких штанин
Зал...пу с консервную банку!
Смотрите, завидуйте: я – гражданин,
А не какая-нибудь гражданка!

Удивительно, но тотальное ежедневное ничегонеделание в течение 16-ти часов чрезвычайно утомляет. Наверное, сказывается сильное напряжение и нервная нагрузка. После такого обычного дня зэки спят, как убитые, даже в условиях предельного неудобства.

«Подъем». Второй ярус «рая»

«Чудище обло, озорно,
огромно, стозевно и лаяй!»
(Тредьяковский. Телемахида)

Сборно-пересыльное отделение (СПО), в просторечии «карантин», конечно, объективно необходимо. Хотя бы для того, чтобы отделить больных от здоровых. Раньше только этим и ограничивались. Все инфекционные больные «сидели» вместе; все здоровые – отдельно от больных, но вместе в одной камере – и административно арестованные за незначительные правонарушения, и рецидивисты за тяжкие преступления.

В последние годы ситуация в этом плане значительно изменилась. Несовершеннолетние следственно арестованные содержатся в отдельном корпусе в 4-местных камерах с горячей водой и «настоящим» унитазом. В этом же корпусе содержатся арестованные женщины в таких же камерах. Этот корпус – новый: полы в камерах – деревянные; подход к окну перекрывает решетка-отсекатель высотой от пола до потолка; оконные рамы – с открывающимися(!) створками; предусмотрено «ночное» освещение камеры, не слепящее сквозь закрытые веки глаз. В большинстве камер – холодильники и телевизоры, приобретенные каким-то образом администрацией СИЗО.

Лица мужского пола, совершившие преступления впервые, содержатся в корпусе №1. Причем, подследственные и уже осужденные, ожидающие этапирования в места, определенные для отбытия наказания, содержатся в разных камерах.

Корпус №1 – очень старый, из красного кирпича, постройки конца XIX-го века. Стены – толщиной в три кирпича; кладка на известковом растворе; полы – цементные; перекрытия – монолитные. Инженерные сети – очень ветхие (вода, канализация, электропроводка), да и сам корпус уже давно разрушается, так что пришлось его укреплять мощными стяжками. Мобильные бригады из числа отряда заключенных отряда обслуживания ежедневно выполняют огромные объемы работ по содержанию зданий и устранению постоянно возникающих поломок и аварий.

Мужчины, повторно вступившие в конфликт с Законом, содержатся в камерах корпуса №2. Это тоже старый корпус, но по возрасту «моложе» корпуса №1. Проблемы в нем – те же.

Мужчины, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, содержатся в корпусе №3, стоящем отдельно от остальных корпусов, соединенных друг с другом внутренними проходами. Корпус №3 – тоже очень старый, по «возрасту» – почти ровесник первого корпуса и находится в значительно более плохом состоянии, поскольку в нем содержится специфический контингент подследственных (убийцы, разбойники и т.п.), не настроенных помогать СИЗО улучшать ситуацию своими личными силами и средствами.

Как видим, в этом вопросе (раздельного содержания разных категорий подследственных) все, в первом приближении, решено логично и разумно. Почему только в первом приближении? Об

этом – чуть позже.

Перевод арестантов из камеры карантина в камеру постоянного содержания на тюремном языке называется «подъем», поскольку СПО расположено в цокольном этаже, а все остальные отделения – на верхних этажах.

Казалось бы: через 3-5 дней получены результаты медицинских анализов, подготовлено личное дело арестованного – можно отправлять его в камеру постоянного содержания. Так и происходит, но только в тех случаях, когда к подследственному нет «особого» интереса оперативников с «воли» или работающих в СИЗО. Если такой интерес есть, то он несколько задерживается в карантине. «Интерес» другого плана может возникнуть у хозяйственных деятелей СИЗО: если они полагают, что вновь поступивший арестант имеет финансовые или иные возможности, он тоже там задержится. В чем суть вопроса? Самая большая камера карантина рассчитана на содержание 24-х арестантов. Реально здесь содержится постоянно 35-50 человек, что называется, «дружка на дружке». Ни тебе поесть нормально, ни поспать, ни в туалет сходить, ни покурить. И все это на фоне постоянного психологического напряжения: идет следствие, грозит длительный срок заключения; в семье, оставшейся без кормильца, – материальные проблемы; постоянные «трения» в камере – одним словом, обстановка почти невыносимая. Каждый лишний день, проведенный в карантине, прибавляет новых седых волос, морщин на лице, колик в сердце. На этом основано воздействие на интересующего кого-то человека. Если имеется оперативная информация, что он мог совершить еще и другие преступления, кроме того, за которое арестован непосредственно, или имеются нераскрытые аналогичные преступления, с ним «работает» старший по камере и оперативник корпуса. Интересующий объект будет находиться в камере карантина, пока «добровольно» не сознается в совершенных (или несовершенных!) преступлениях, написав явку с повинной.

После очередного свидания со своим адвокатом я довольно долго продолжал находиться в камере для таких свиданий, поскольку кому-то было некогда отконвоировать меня в камеру: было обеденное время, этот «некто» кушал. О том, что и мне неплохо было бы пообедать, никто не задумывался. В соседней камере тоже закончилось свидание арестованного с адвокатом, тот уже ушел. И тут из кабинета старшего оперуполномоченного вышел оперативник в штатском, явно не сотрудник СИЗО. Он в грубой форме спросил моего соседа по камере, в чем того обвиняют. Парню было лет 18-19. Он явно испугался, как будто уже имел опыт общения с такого рода лицами. Ответил, что обвиняют в угоне автомобиля. Тогда оперативник достал список автомобилей, угнанных во Фрунзенском районе Саратова, и угрожающе заявил, что через день снова будет в СИЗО, а парень обязан к этому времени из этого списка выбрать три эпизода и написать явку с повинной о том, что это он совершил угоны. В противном случае карантин станет для него адом.

Вот так. На основе этой явки будет проведено следствие, и парень будет осужден по совокупности преступлений. Это большой дополнительный резерв возможностей правоохранительных органов в направлении улучшения статистики по раскрываемости преступлений. Более того, это самый эффективный способ увеличения процента раскрытия преступлений! А куда же в нашей милиции – без процента?

Другой пример «успешного» расследования преступлений.

Дмитрий Д. отбывает наказание в колонии общего режима за кражу алюминиевых крышек подшипниковых узлов колесных пар железнодорожных вагонов. Приговор – 5 лет лишения свободы. Оперативники исправительно-трудовой колонии по просьбе коллег с «воли» «убедили» его написать 6 явок с повинной. Он был доставлен в СИЗО, по его «признательным» показаниям проведено «следствие». Оперативники СИЗО активно помогали следствию. В обвинительном заключении следователь указывает, что три года назад ночью тот похитил крышки с шести вагонов на станции Саратов-3 и приводит, якобы со слов Дмитрия, 12-значные номера вагонов и дату, когда с них были сняты эти крышки. Вопросами: зачем Дмитрий снимал эти крышки с шести вагонов, находившихся в разных местах, а не с одного вагона; как он запомнил длинные номера этих вагонов в темноте; почему помнит дату и номера в течение трех лет – и многими другими следователь не

задавался.

Суд «объективно» рассмотрел это дело и «добавил» к уже имеющемуся приговору еще полгода лишения свободы (за шесть преступлений – краж). На мой вопрос: «Зачем ты себя оговорил?» Дмитрий ответил: «На время следствия увозят из колонии. Я готов на все, лишь бы оттуда уехать хоть на время. Когда меня привезут назад, в колонию, я напишу еще 8 явок с повинной, у меня все уже готово».

Для многих следственно арестованных «подъем» становится событием, отложенным на неопределенно отдаленный срок. Зачастую при этом и причина неясна. Приходится здоровому человеку сидеть в камере неопределенно длительный срок вместе с вновь поступающими, возможно, больными людьми, в тесном контакте с ними. Периодически выявляются из числа только что «заехавших» больные туберкулезом, венерическими заболеваниями, ВИЧ-инфицированные. А многие вынужденно находятся с ними в тесном контакте: едят, спят вместе, моются в бане. Никому не позавидуешь в такой ситуации. Так вот: во многом это положение создано искусственно, потому что «перенаселение» карантинов не вынужденное, а преднамеренное. В то время, когда на одном месте в карантине спят по двое, в камерах постоянного содержания «наверху» имеется много свободных мест. Несмотря на это, в карантине некоторых держат по 2-3 недели. Меня держали в камере №11 карантина 53 дня без сообщения причины (даже врачи были в недоумении). Как только мои родственники передали в СИЗО «гуманитарную» помощь, меня перевели в 10-местную камеру, где мы вчетвером «сидели» 1,5 месяца. Всего я в ней провел 6 месяцев, и ни разу она не была заполнена.

Примечательна процедура «подъема». Накануне «подъема» арестованного приводят на «этапную» комиссию, в состав которой входит руководство СИЗО. Войдя в комнату, где заседает комиссия, положено громко и четко доложить о прибытии. Этот доклад усиленно учат наизусть под руководством «старшего» по камере. Особенно непонятливые репетируют его по 20-30 раз. Комиссия по каким-то критериям (некоторые мы уже изложили) определяет номер камеры, в которой арестованный будет содержаться в дальнейшем. Подозреваю, что арестованных с «возможностями» распределяют более или менее равномерно по разным камерам по предварительным заявкам начальников корпусов. Попав в обшарпанную камеру, нормальный человек, конечно же, начинает подумывать об улучшении быта. «Старший» по камере «ненавязчиво» подсказывает, что сделать это можно за счет гуманитарной помощи, на добровольной основе. Но, об этом – несколько ниже.

Транспортировка в ИВС и в суд

Доктор Нургалиев.
Похудеть. Дешево.
(Из газеты бесплатных объявлений)

Чудо-следователи за 2,5 года следствия (при нормативном сроке – 2 месяца!) «наработали» 35 томов уголовного дела. Знакомиться с этими материалами пришлось, уже находясь в СИЗО. Для этого меня, как и всех прочих следственно арестованных, для проведения следственных действий ежедневно (естественно, по будним дням) перевозили из СИЗО-1 в изолятор временного содержания и обратно. Процесс это примечательный. Сама эта процедура возникла, как я понимаю, в связи с интенсивным продвижением России в направлении к правовому государству. Раньше для работы с подследственным его могли забрать по поручению следователя или без такового непосредственно в отдел милиции, в какую-нибудь «кобру», в РУБОП или еще куда пострашнее. Там с подследственным могло произойти все, что угодно, поскольку надзор за такими действиями фактически никто не вел. А теперь!..

Рано утром твою фамилию называет, открыв «кормушку», контролер и уведомляет, что ты едешь на суд-допрос. Произносят именно так, слитно: суддопрос. Этот неологизм возник из-за опечатки в бланке учетной формы, где заголовок графы в таблице передвижения подследственных: «суд, допрос» был однажды напечатан без запятой и пробела, а с тех пор многократно копировался. Постепенно первоначальный смысл потерялся, стерся. Никто и не пытался докапываться до первоначального смысла. Полуграмотные исполнители не склонны к «гигантской» аналитической работе с применением головного мозга. Более того, новое слово-то получилось

какое забавное, кудрявое и малопонятное постороннему уху, глазу, разуму. Прям-таки новый профессиональный термин, как у любой уважающей себя профессии! Так что, с большим удовольствием и чувством исполненного долга говорят: трое на суддопросе, семеро вернулись с суддопроса и тому подобное.

Итак, ты едешь на суддопрос. Это означает, что ты должен срочно одеться, обуться, взять все, что необходимо, и сидеть, ожидая, пока тебя выведут из камеры. Нормально позавтракать ты не успеешь. Но есть и более сложные проблемы: везти вас будут довольно долго, передвижных туалетов в системе ФСИН пока еще нет. Никто специально не будет тебя одного конвоировать в место, куда даже короли ходят пешком. На просьбу отвести в туалет конвоиры матом рекомендуют «сходить» в штаны. Поэтому необходимо срочно «договориться» с собственным организмом и настроить его на отправление будущей естественной надобности. Кроме того, рядом с «дальняком» завтракают сокамерники. Ходить в туалет во время приема пищи – страшное оскорбление, такое просто так не прощается. Приходится извиняться, просить сделать перерыв и как-то вписываться в жесткие сроки, потому что заранее не известно, через сколько минут тебя выводят из камеры. Успел ты или не успел сделать все, что необходимо, в страшной спешке тебя выводят из камеры и помещают в «решку», где вместе с другими такими же бедолагами стоишь не менее часа (для чего нужна была такая спешка?). Часам к 8.00 приходит вечно недовольная медсестра в сопровождении охранника. Ее обязанность – осмотреть всех отъезжающих на предмет наличия вшей, чесотки и синяков от побоев. Для этого все должны раздеться по пояс и по одному подходить к ней для мимолетного осмотра в полутемном коридоре. Это хорошо сказать: раздеться по пояс. Представьте себе: 30 человек, прижавшись вплотную друг к другу на площадке 1,5х3 метра в зимней одежде. Попробуйте снять с себя куртку, свитер, рубашку и футболку, не задев при этом никого! Учтите, что все соседи, стоящие рядом, – предположительно преступники, и задев кого-то из них, рискуешь нарваться на неадекватную реакцию. Понятно, что процедура раздевания под нецензурное рычание охранника превращается в цирковой аттракцион. Одежда развешивается по решеткам, бросается на пол. Результатов такой осмотр обычно не приносит, но медсестра с выражением святой мученицы на лице и с чувством исполненного долга подписывает разрешение на конвоирование подследственных. После осмотра необходимо на той же площади снова одеться. Нужно ли говорить, что это – аттракцион более высокого класса?! «Тщательность» такого осмотра не мешает, впрочем, подследственным регулярно привозить вшей в ИВС.

Во время стояния в «решке» курить строго запрещено, поэтому курят все, доставая сигареты и спички из потайных мест, откуда их не сумели «отшмонать» при выводе из камеры. Главные проблемы при курении в условиях категорического запрета: обо что зажечь спичку и куда деть дым.

Чтобы зажечь спичку, заранее заготавливают «чирки». Это либо шероховатая пластинка, отломанная от спичечного коробка, либо слой серы, наплавленный на боковую сторону подошвы ботинок. Либо находится «умелец», зажигающий спичку трением о любую поверхность. Курят все по очереди (если стоят в «решке») или одновременно запоем (если заперты в «отстойнике» – камере временного содержания). Дым выдувают старательно вверх, стремясь попасть в вентиляционное отверстие. Окурки-«бычки» и сгоревшие спички тщательно раскладывают по потайным местам, не заметным при взгляде извне. Затем следует стандартная процедура: пришедший инспектор-контролер орет страшным матом:

– Кто здесь, мать..., б...дь, курил?

В ответ зэки солидарно «включают дурочку»:

– Начальник, бля буду, никто не курил!

– Смотрите: увижу, кто курит, – по стене размажу, заставлю окурки языком с пола собирать!

И еще много всего такого. Этим все заканчивается. Ритуал соблюден (начальник же – сам курильщик).

В 8.00 приезжает группа досмотра из Отдельного батальона милицейской службы. Он к тюрьме не относится и ей не подчиняется, выполняя заявки судов и следователей по доставке следственно арестованных в нужное место в нужное время. Один из конвойных вызывает по списку из

«решки» конвоируемых и отправляет на личный досмотр («шмон»). Во время досмотра требуется раздеться догола и несколько раз присесть. Приседать заставляют, чтобы из анального отверстия выпали, возможно, спрятанные («забондюкованные») в прямой кишке запрещенные предметы. У женщин есть и дополнительные места для аналогичной процедуры. Пока раздеваешься, «специалист» тщательно осматривает, ощупывает одежду и обувь. Отбираются шнурки, лекарства (если нет письменного разрешения), фотографии, письма, металлические предметы; выламываются супинаторы из подошв обуви. Все это под окрики: «Быстрее, выходи, там оденешься». «Там» – это в очередной «решке», где все стоят, упакованные, как шпроты в консервной банке, в ожидании прибытия конвоя. Примерно, к 9.00 прибывает конвой и транспортные средства – автозаки. Вначале увозят в Энгельсский ИВС и суды Энгельса. Затем вызывают, устанавливают личность и увозят подсудимых в районные суды Саратова. Последней убывает группа подследственных в ИВС Саратова, расположенный на Соколовой горе. Необъяснимым и подозрительным является то, что очень многие конвоиры – с азиатским типом лица. Все они хорошо освоили основы русской нецензурной лексики и охотно применяют ее, «заботливо» руководя конвоируемыми при посадке их в автозак и высадке.

Автозак, его еще называют «воронок», что происходит от гулаговского «черный ворон». Очевидно, появление мрачного черного грузовика, приносящего несчастье, ассоциируется в сознании с этой малосимпатичной птицей. Устройство «воронка» предельно прагматично: общее отделение человек на двадцать и несколько «стаканов» – закрытых боксов, в которых перевозят арестантов, требующих изоляции от других, например, у которых есть сообщники – «подельники» или арестантов женского пола или «пыжиков» – осужденных пожизненно. Если боксы не заняты, часто в них сажают собаку, обязательно совместно с кинологом сопровождающую конвой. Собака – грязная, блохастая, вонючая. То, что после собаки там вновь будет сидеть человек, конвоиров не останавливает.

Большинство «воронков» – это старые, изношенные фургоны на базе шасси ГАЗ-53. Из базовой комплектации, рассчитанной на перевозку людей, не работают как раз те системы, которые призваны создавать хоть какое-то подобие комфорта и элементарную безопасность: летом не работает вентиляция, а окон, естественно, нет; зимой не работает отопление; часто нет и освещения; держаться не за что, а за решетку держаться запрещает конвоир; аптечки нет; огнетушителя нет. Если произойдет возгорание или опрокидывание, жертв не избежать. Попробуйте пройти техосмотр без аптечки и огнетушителя! Только за деньги! Кто же платит деньги ГАИшникам за то, чтобы такие автомобили ездили по городу? А ездят ого-го как! Арестанты постоянно присваивают кличку «Шумахер» одному из водителей, наиболее резво перемещающему их в ИВС. Происходит это весело, с визгом, с матом. Во время дождя эмоции охлаждаются протекающими сквозь потолок дождевыми струями. Попытки как-то подновить автозак традиционно сводятся к его покраске снаружи и изнутри. Как-то летом за одну ночь выкрасили изнутри все автозаки, на сколько краски хватило, в зеленый цвет. Не дожидаясь полного высыхания краски, их поставили на маршруты. Вот это был момент истины: мнения, эмоции и выражения арестантов и их конвоиров полностью совпали, когда выяснилось, что краска без всяких усилий переносится на одежду зэков и мундиры охранников и довольно качественно там держится. За несколько дней внутренность автозаков приобрела свой многолетне-естественный серо-буро-вонючий цвет, что, впрочем, намного лучше, чем дешево-наплевательское эстетство автомобильных маляров.

Поскольку в каждый районный суд подсудимых развозят отдельно, то очень часто бывает, что громадный грузовик везет одного человека. К его «услугам» – персональный водитель в погонах, два охранника (чтобы не обидели по дороге), старший наряда и кинолог с собакой. Старший наряда – с автоматом; охранники – с пистолетами и спецсредствами; собака – с блохами. Теперь прикиньте, сколько это стоит (назад ведь тебя тоже нужно привезти) – любой таксист позавидует! Часто бывает, что везут тебя бесполезно: либо судья отложил заседание; либо следователь, подав заявку на доставку подследственного, сам на следственные действия не приезжает. Конвой в этом случае работает «вхолостую».

Когда подсудимого привозят в суд, на него в автозаке надевают наручники (руки за спиной).

В таком положении, не придерживаясь руками, он должен спрыгнуть из автомобиля с высоты 1,0-1,2 метра. Внизу ловят двое. Затем тот из них, чьи наручники на тебя надели, нагибает тебя и, в полусогнутом положении, (по сторонам не смотреть, не разговаривать!) ведет в конвойное помещение и запирает в «решку» размером 1,0х1,0 метра со скамейкой. Там наручники снимают и снова обыскивают, раздевая догола и заставляя приседать. Обыскав, еще не одетого, отправляют в «решку»: «Там оденешься». При этом в соседних «решках» находятся другие подсудимые, могут быть и женщины. В отдельные дни бывало, что меня одного охраняли в суде 8 милиционеров, включая офицера, одного-двух прапорщиков, остальные, конечно, сержанты. Из числа сержантов один – кинолог (как красиво звучит!), проще говоря, проводник служебной собаки. Собака тут же, активно лает, демонстрируя свирепость и готовность порвать подконвойного на части. Однако собачий лай – лишь слабая пародия на стиль общения людей в погонах с людьми же, но только без таковых.

Произведя обыск, осведомляются, не желает ли подсудимый сходить в туалет. Если не желает, его ставят в известность, что в туалет водят только два раза: один раз до обеда и один раз – после обеда. Обед, конечно же, они имеют в виду свой. У особенно сообразительных тут же возникает желание посетить туалет. Тогда на него снова надевают наручники (руки спереди), удаляют всех посетителей суда и сотрудников суда из всех коридоров на пути к туалету (чтобы преступники не захватили заложников), выставляют посты у всех дверей, выходящих в эти коридоры и быстрым шагом (голову вниз, по сторонам не смотреть!) ведут тебя в храм гигиены. В туалете протягиваешь руки, чтобы снять наручники, и получаешь отказ. На изумленный вопрос: «А как же...?» – отвечают: «А вот как можешь, так и делай свои дела. Снимать наручники не положено!» После туалета мыть руки – тоже в наручниках. Справедливости ради, необходимо заметить, что на женщин наручники не надевают, видно, инструкция относится к ним мягче, предполагая, что нежное создание не сможет создать угрозы жизни охранника при отправлении естественных надобностей. Обидно за женщин: ведь есть женщины в русских селеньях, что и жеребца на скаку остановят, и в горящую избу войдут. Надо бы озадачить этим феминисток: равенство, так равенство!

Обратное перемещение в конвойное помещение производят в обратной последовательности: четко, громоздко, с чувством ответственности за порученное дело. Заперев подсудимого в «решке» и сняв с него наручники, принимаются за «святое»: обсуждают возможность пообедать. И, в самом деле, время уже 9.30: пора позаботиться о хлебе насущном (не для подсудимого – ему питание в в суде в 2004 году было не положено). Все «скидываются» по 10 рублей и посылают одного из наименее авторитетных бойцов за полуфабрикатами. Остальные, обсуждая «дела давно минувших дней», заполняют какие-то дневники, сопроводительные документы и вспоминают «преданья старины глубокой», когда на зарплату милиционера можно было прожить. Долго ли, коротко ли, возвращается гонец с полуфабрикатами. Доверенные лица начинают священнодействовать с электроплиткой и продуктами. Запахи доводят коллектив до тихого экстаза. Собака в углу то скулит, то подвывает. Зэки в «решках» гоняют слюну по замкнутому кругу. Потом стражи истово кушают, добродушно матерясь. Остатки еды отдают собаке, на питание которой вне собачьего питомника система не выдает ничего. Если Вы (с заглавной буквы пишу по дурацкой интеллигентской привычке: здесь вы не «Вы», а «ты» – постоянно и для всех) еще не достигли высокого статуса подсудимого, а пока еще всего лишь подследственный, вас вместе с другими «заготовками» для Молоха правосудия везут в ИВС (говорят: «на» ИВС). Там, бодро спрыгнув из автозака на землю, под лай собак вы попадаете (куда бы вы думали?) опять-таки в «решку». Затем вас всех по очереди осматривает медсестра на предмет обнаружения все тех же вшей, чесотки и следов побоев. При обнаружении чего-либо такого вас в ИВС не примут, а отправят обратно в тюрьму. Между сотрудниками СИЗО и сотрудниками ИВС взаимоотношения ревнивые. СИЗОшники упрекают ИВСников: «От вас привозят вшивых». Те утверждают противоположное: «Это вы плохо осматриваете и отправляете в ИВС вшивых». Вся эта склока оформляется в виде многочисленных докладных, объяснительных и пр. Вместо того чтобы делать общее дело: вшивую одежду прожаривать; чесотку вылечивать; грязных индивидов мыть – и лобызать друг друга в знак благодарности за взаимопомощь и взаимовыручку!

Правда состоит в том, что ИВС принимает на себя первый удар: сюда привозят со всего города задержанных, среди которых полно потрясающе грязных и вшивых бомжей. Работники ИВС, в меру своих возможностей (чрезвычайно скудных), пытаются вернуть их к цивилизации (если это понятие применимо к тюрьме) и замаскировать под добропорядочного зэка. Ясно, что стопроцентный успех в этом благородном деле достигнут быть не может. Никто не говорит им «спасибо» за тех, кого они помыли, постригли, прожарили, обеззаразили. Зато клепают за тех, кто все же сумел контрабандой протащить «зверей» в СИЗО. Уж там вши, именуемые «бекасами», не утаятся от бдительных взоров – нет, не медицинских работников, а сокамерников грязнули.

Как только вновь прибывший входит в камеру карантина или после «подъема» из карантина, его раздевают догола и бдительно осматривают каждый шов в одежде и самого – с ног до головы. При обнаружении вшей или гнид всю одежду герметически упаковывают в мешок и отправляют в «прожарку». Вошь – зверь гордый и хорошо защищенный от природы. Механическим воздействием ее не возьмешь. Можно уничтожить гарантированно только путем нагревания до температуры свыше ста градусов (по Цельсию, разумеется). Пока не принесут одежду из прожарки (через несколько дней), бывший владелец «зверинца» ходит голый в одной простыне, побритый наголо во всех волосистых частях тела и вымытый холодной водой. По возможности, его одевают в оставшееся от прежних заключенных белье и одежду. Администрация к этому никакого отношения не имеет, все делается руками заключенных.

После того, как ты перестал быть нужным суду или следователю, тебя забирают и возвращают обратно в СИЗО. Так просто в тюрьму не попадешь! Перед этим объедешь еще несколько судов: соберешь других подсудимых; затем подождешь, пока автозак пустят во внешний двор, где конвойные оставят все оружие, затем автозак заезжает во внутренний двор, где терпеливо дожидаются, пока сотрудники СИЗО откроют дверь СПО и примут сопроводительные документы, проверят личности привезенных. Вот после этого привезенные попадают... Правильно – в «решку». Там они бродят, как волки в клетке, пока до них дойдут руки старшего смены. Почему-то именно тогда, когда измотанные за день, голодные, мечтающие о тюремном сортире подследственные (пока еще не преступники) могут еще успеть к тюремному ужину, до них эти руки не доходят особенно долго. Эти руки, приделанные к телу в офицерских погонах, как раз занимаются тем, что контролируют разнос ужина по этажам, его раздачу по камерам и т.д. О том, чтобы поспешить и побыстрее развести всех по камерам, чтобы люди успели поужинать, никто и не помышляет. Во-первых, в их глазах это и не люди вовсе, а спецконтингент; а, во-вторых, что ему, контингенту, сделается, если он не поест один раз? Вот и получается, что позавтракать нормально утром не дали, обедом не обеспечили принципиально, а ужин пронесли буквально мимо рта, не обращая внимания на голодный блеск твоих глаз. После окончания ужина старший смены, наконец-то, освобождается и начинает выводить по два человека на обыск. Снова раздеваешься догола, приседаешь, одеваешься кое-как, и тебя ведут в камеру. Можно, конечно, один день потерпеть и выдержать такую диету. Но вот в течение шести месяцев пять раз в неделю, как это было со мной, – просто невыносимо. Это приводит не просто к похудению, а к изможднию физическому и нервному.

По-видимому, кто-то из недовольных таким положением жаловался в соответствующие инстанции. Поэтому с лета 2004 г. отъезжающим в суд или в ИВС стали утром выдавать сухой паек, включающий сублимированные продукты, чай и сахар. Это встретило яростный отпор конвоя: их служебная инструкция не разрешала им готовить и разносить кипяток для чая или для приготовления сублимированных продуктов. Чтобы их не сердить, стали сухпаек выдавать не утром, а вечером, после возвращения подследственных в тюрьму – так здравое начинание было поставлено с ног на голову. Еще более удивительным является то, что если подследственного возили подряд несколько дней, сухой паек выдавали только в первый день (так предусмотрено инструкцией?). В чем здесь логика? Ее нет, и никто давно уже не ищет никакой логики в системе ФСИН. Все совершенно буквально исполняют сиюминутное распоряжение, не допуская творческого или просто разумного отношения к нему. Только почему-то методы исполнения различных, зачастую противоречащих друг другу, распоряжений на удивление постоянны: крик, ругань, угрозы.

Почта. Передачи

На протяжении столетий почта была и остается надежным посредником в межчеловеческом общении.
(Из поздравления с Днем российской почты)

Лицам, осужденным к лишению свободы, судом определяется режим отбытия наказания: общий, строгий, особый. Есть еще такой режим, как колонии-поселения. Вид режима определяет количество различных ограничений в отношении осужденного. То есть человека не только лишают свободы, но и лишают возможности позвонить по желанию или по необходимости родным; получить передачу, встретиться с родными на свидании; организовать свою жизнь (ведь это все же – жизнь!) рациональным, наиболее приемлемым для себя образом. Каждое из перечисленных ограничений (это только небольшая их часть) само по себе является наказанием. При этом в Уголовно-процессуальном Законе категорически заявляется, что за одно преступление никто не может быть наказан дважды. Таким образом, Закон противоречит сам себе, наказывая за одно преступление дважды, трижды... и так до бесконечности. Но это касается наказания людей, уже признанных по суду преступниками! А в СИЗО содержатся лица подозреваемые, еще не признанные судом преступниками. Есть значительная вероятность того, что в их отношении уголовное дело будет прекращено или они будут оправданы судом. За время моего пребывания в сей обители только из камер, где меня содержали, освободили не менее десяти человек! Тем не менее, в отношении следственно арестованных, полноправных граждан этого, с позволения сказать, государства тоже применяется множество ограничений, в частности, ограничивается суммарный вес передач, которые они могут получить за месяц, они не имеют права звонить по телефону, письма из СИЗО и в СИЗО перлюстрируются и так далее.

Государство кормит заключенных им под стражу граждан отвратительно, вещами же не обеспечивает вовсе. Процесс передачи продуктов и самых необходимых вещей в СИЗО превращается для родных и близких в целое испытание и сплошное унижение, а уж они-то в чем виноваты? Очередь на право передачи из здания выходит на крыльцо, затем – на тротуар и стоит там целыми днями. Туалет для стоящих в очереди не предусмотрен. Передаваемые вещи тщательно досматриваются, продукты сортируются. Передаваемые хлеб, колбаса, сыр, сало разрезаются на куски, видимо, для того, чтобы в них нельзя было спрятать запрещенные к передаче предметы. Продукты, приобретенные в магазинной упаковке: чай, сахар, печенье, сигареты, спички и тому подобное, – пересыпаются в полиэтиленовые пакеты, конфеты и шоколад передаются без оберток. Из нескольких консервных банок одна непременно вскрывается, содержимое перекладывают в полиэтиленовый пакет. Из фруктов досмотру с пристрастием подвергают апельсины и мандарины: часть их разрезают пополам (опасаются, что их могут наполнить спиртными напитками). Затем продукты и вещи навалом перекладываются в большие плетеные пластиковые мешки, за которые взимается плата, и переносятся заключенными-«шнырями» под контролем сотрудника СИЗО по корпусам. Там их разносят по камерам и передают адресатам по описи под роспись (роспись получатель ставит, не проверяя, за что расписывается, потому что времени ему на эту проверку не дают: таких как он много, а времени у разносчика – мало). Несмотря на постоянный контроль из передач периодически кое-что пропадает. Объектом посягательств обычно являются сигареты. Если передаются десять пачек, то одна может пропасть. Пропажу сразу заметить трудно, т.к. сигареты передаются россыпью, и в описи (которая составляется родственниками в двух экземплярах) указываются в штуках. После переноски «навалом» значительная их часть ломается. Поэтому истинное количество полученных сигарет можно установить, только когда «счастливчик», священнодействуя, при помощи сокамерников раскладывает их по двадцать штук по пустым пачкам или перевязывает ниточкой, затем сломанные сигареты «реставрируют» и, наконец, раздается рев смертельно раненного зверя, когда выясняется, что отсутствуют 20 сигарет. Претензии по этому факту не принимаются, поскольку пострадавший уже расписался в получении передачи в полном объеме.

Другие предметы, переданные в мешке через «кормушку», поступают тоже в непрезентабель-

ном виде: печенье, шоколад – поломаны, сахар, «анаком», конфеты – рассыпаны; помидоры, мандарины, масло – раздавлены.

Примечательна процедура получения передачи. Открывается «кормушка», называют твою фамилию. Отвечаешь, называя имя и отчество. Спрашивают: «От кого?» То есть, ты заранее должен знать, кто тебе принесет передачу. Если знаешь, отвечаешь: фамилия, имя, отчество, адрес проживания передающего. Никаких проблем не возникает, кроме описанных выше. Но если кому-то вдруг придет в голову гуманное желание морально поддержать тебя (например, одному из друзей), то получение передачи превращается в муку.

Я однажды наблюдал эту пытку передачей (несомненно, из благих побуждений администрации, заботящейся о том, чтобы передачи случайно не попали не по адресу, например, однофамильцу).

Умару М. передачи передавали по очереди несколько родственников. Он чеченец по национальности, у них обычно родственников много и родственные связи крепкие, что само по себе очень хорошо. Итак, приносят ему передачу. Свое имя и отчество он назвал без проблем. На вопрос: «От кого?» – он начал по очереди называть всех, кто мог совершить эту «провокацию». Минут через 15 список иссяк, а передачу не отдают: «Вспоминай еще!» Вспоминания затянулись еще минут на 10 – безрезультатно. Прапорщик по ту сторону от кормушки злится, матерится, орет: «Щас все назад унесу, не отдам!». Умар в отчаянии (у гордого парня – слезы на глазах от оскорблений) кричит: «Уноси на х..., она мне не нужна!» «Кормушка» захлопывается. Пока раздают передачи в другие камеры, Умар напряженно пытается вспомнить, кто еще из родственников или друзей способен совершить эту братоубийственную диверсию.

Не отдать передачу не имеют права. Снова открывается «кормушка»:

– Вспомнил?

– Ну, скажите хотя бы, откуда она?

– Из Курдюма.

– Не знаю, скажите хотя бы имя!

Легко сказать: «имя». Имя-то – чеченское, написанное от руки чеченкой на «враждебном» русском языке, который она не изучала, а проходила в чеченской школе. С другой стороны, прапорщик свой родной язык тоже не изучал, а постигал, читая надписи на заборах. Поэтому имя, прочитанное им, звучит порнографически и абсолютно не узнаваемо. Обстановка накалена до предела. Оба «собеседника» доведены до истерики. Камера в напряжении ждет исхода в надежде на успех: продукты-то едят все вместе! Первым, в изнеможении, сдается прапор, швыряет мешок в кормушку с криком: «Ну, вас, на х...! Е...ть я хотел эти ваши передачи!»

Одним словом, этот процесс ему не понравился.

Мешки из-под передач отбирают (хотя они и были оплачены) и используют для сбора в них мусора, изготовления из них швабр и метел и многого другого. Вообще, складывается впечатление, что из них зэки могут сделать все: веревки, шнурки, елочные игрушки, даже космический корабль, если Родина (в лице гражданина начальника) прикажет.

С письмами проблемы иного рода. Дело в том, что все письма: входящие и исходящие – обязательно прочитываются цензором. Поэтому их получение адресатом задерживается на длительное время. В СИЗО письма идут до адресата 5-10 дней; из СИЗО – до полутора месяцев! Много случаев, когда письма совсем пропадают. Кстати, несмотря на наличие цензуры, я ни разу не видел письма, в котором цензором были бы «замараны» какие-либо строки.

Письма по камерам разносит «почтальон» из числа заключенных отряда обслуживания. Донести письмо до адресата в СИЗО – проблема чисто техническая: каждый раз нужно отпереть и запереть 20-30 дверей, т.е. «почтальона» должны сопровождать сотрудники с ключами. Пока письма находятся на руках у почтальона, адресата могут перевести в другую камеру, в другой корпус. Пока его разыщут, пока донесут письмо до камеры, его опять могут перевести и т.д. Поэтому нареканий на работу почты очень много. Для чего созданы такие трудности? Очевидно, чтобы воспрепятствовать возможности передачи через письма информации, которая может помешать следствию. Но, право же, все это доведено до полного абсурда!

Режим. Распорядок дня

– Как дела, брат?
– Нормально, живу по режиму!
(Тюремный диалог)

Все руководство и сотрудники СИЗО – эрзац-военнослужащие, закончившие полувоенизированные учебные заведения МВД. (*Здесь у меня в первом варианте рукописи была символическая опечатка: «военнослужанищие» – поистине государство довело большинство из них до нищеты!)*

Кроме того, на работу в СИЗО охотно принимают бывших военных, уволенных в запас. Поэтому им ничего более здравого не приходит в голову, как организовать внутренний распорядок по полувоенному образцу. Кстати, почему гражданские лица с их взглядами на гуманизм, целесообразность и законность не имеют право работать в пенитенциарной системе, не знаете? Я тоже. В других государствах использование гражданских лиц на работе в местах лишения свободы – рядовое явление.

«Военнообразие» выражается в чисто внешних проявлениях: приветствие арестованными сотрудников администрации; стояние в строю на проверке; хождение строем – это святое, и др. Но это не основное. Суть «военнообразия» реализуется в способах принятия управляющих решений и методах их исполнения; в отношении к людям (сотрудникам и арестованным); в отношении к материальным ценностям; в ложном понимании своего места в системе исполнения наказаний и места самой этой системы – в государстве.

Обращение арестованных к любому сотруднику СИЗО – «гражданин начальник», даже к женщинам. Граждане начальники, чтобы недолго пообщаться с обитателями камер, ленятся открыть «кормушку». Они просто ударяют связкой ключей в дверь. Дежурному по камере положено подойти (быстро подскочить) и подобострастно отрапортовать: «Слушаю, гражданин начальник!» После чего состоится блиц-диалог типа:

– Гулять?

– Нет!

Все, пообщались. Это в лучшем случае. В худшем случае, если дежурный не соблюдает эту милую сердцу начальника форму ответа (если «заехал» недавно и еще не отвык от человеческих форм общения), тот, не задумываясь, реагирует на «нарушение» одним из давно изученных им способов. Если Вы ответите ему: «А?» – получите в ответ: «Х... на!» Если ответите: «Да!» – получите: «Х... да м...нда!» Если ответите: «Слушаю!» – «Х...ли ты слушаешь, пи...дуй за старшим!» Такие педагогические приемы очень быстро приводят к «положительному» результату: вполне вменяемый человек, способный грамотно общаться с гражданами страны всеобщей грамотности, начинает делать это на птичьем эрзац-языке, не преподаваемом теоретически, а постигаемом исключительно на практике методом проб и ошибок.

При входе в камеру сотрудников администрации дежурный рапортует (еще надо знать, кому отдавать рапорт: их же много) о том, сколько в камере находится человек (а они что, не знают?). Информация заведомо бессмысленная, потому что при этом не объясняется, сколько человек отсутствует, и где они находятся. Кроме того, проверяющий лично всех пересчитывает (если их больше 10-15, с первого раза не получается), а инспектор-контролер по этажу ведет свой учет на табличке, прикрепленной к косяку с наружной стороны двери, в специальном журнале и в картотеке.

Когда следственно арестованных ведут в баню (в колонну по двое, голову вниз, по сторонам не смотреть!), дежурный идет в первой паре, «старший» – последним. То же самое – когда обитателей камеры выводят гулять. Старшие по камерам, стремясь быть «краснее красного», привносят в этот упоительный процесс собственные «творческие» разработки. На вопрос проверяющего, нет ли к нему вопросов, камера после многочисленных мучительных тренировок отвечает: «Нет!» (чем громче и дружнее – тем лучше, а что «лучше» – никто не знает, наверное уху начальника лучше). А уж затем все равно задают вопросы, если таковые назрели. Особенно такая молодцеватость «преступников» нравится сотрудникам СИЗО, перешедшим сюда работать после

увольнения из армии. Для них это прям-таки неденежная компенсация за мизерную оплату их труда в СИЗО. Ответ: «Да!» почему-то не репетируется и не практикуется, а почему – не задавайте таких дурацких вопросов!

Такой вот детско-юношеско-пионерский облик одной из самых свирепых в стране тюрем (по отзывам бывалых блатных, побывавших не в одной тюрьме, Саратовский централ – одна из самых беспредельных тюрем, где «правильных пацанов» ломают в два счета режимом, и они становятся «красными», как раки в кипятке.)

Настоящее военнообразие скрыто глубже. Это, во-первых, использование бывалых, ранее судимых зэков, в качестве старших по камере, как проводников традиций именно этой тюрьмы (в армии эту функцию выполняют «деды» и сержанты); во-вторых, обращение с любой просьбой или вопросом письменно (часто в двух экземплярах) непосредственно к начальнику тюрьмы; далее: поддержание положения, при котором у арестованных не должно возникать никаких вопросов, а инициатива наказуема; использование рабского труда зэков (в армии – солдат); обстановка всеобщего доносительства: все следят за всеми, все информируют начальство снизу доверху о мнимых и реальных нарушениях; система исполнения распоряжений и приказов начальства идентична армейской и так же доведена до абсурда; показуха при визитах начальства и т.д.

О «старших» в камерах мы поговорим ниже. А вот как организована реализация арестованными их прав. Например, матрасы и постельное белье в камерах изношены до предела. На жалобы начальство отвечает: «Зашивайте». Зашить что-либо можно, только имея иголку и нитку. А иголку, нитку и ножницы выдают под роспись только в банный день, после бани, и они достаются не всем. Но постельное белье забирают в стирку именно в банный день рано утром, так что, когда есть иголка с ниткой, нет того, что нужно зашить. Выбирай: или спать на рваном, но чистом белье с риском получить взыскание, или спать на зашитом, но грязном белье.

На просьбу заменить матрас, который уже зашит-перешит и истлел, не подлежа никакому ремонту, отвечают: «Затягивайте» «гуманитаркой» (т.е. пусть твои родственники «на воле» подарят тюрьме матрас в виде гуманитарной помощи). Мы всей камерой однажды наблюдали, как во внутренний двор привезли полный грузовик матрасов в качестве гуманитарной помощи. Какой-то чудак расчувствовался. Шел дождь. Куда девать матрасы, никто не знал. Решение должен был принять лично начальник, так уж установлено. Машина простаивать не может. Поэтому зэки по команде одного из прапоров сбросили эти матрасы на землю, в грязь, где они и пролежали благополучно несколько дней. Ну, и что? Халявы не жалко.

Не желаешь брить голову? Можешь стричься машинкой, если тебе ее передадут с «воли» и подарят тюрьме и т.д.

Очень скоро понимаешь, что «сидеть» надо так, как уже «сидишь»: за свой счет, без затей и каких-либо претензий использовать ресурсы тюрьмы для ее содержания (есть ли эти ресурсы вообще?).

Все обслуживание СИЗО производится руками заключенных. Они моют, красят, ремонтируют. Где они берут тряпки, моющие средства, кисти, краски, электроды, лампочки, кабель, инструменты? В инвентарной документации тюрьмы ничего такого не числится. Ответ на этот вопрос совершенно определенный и четкий: «достают» сами заключенные. Характерный диалог: начальник корпуса заходит на проверке в камеру и, грозно сдвинув брови, спрашивает: «Вы собираетесь ремонтировать камеру? Так и будете жить, как в хлеву? Смотри (обращаясь к «старшему»): не будет ремонта, и к вам будет такое же отношение». И вот зэки, которые в этой камере собираются «сидеть» всего 2-3 месяца, но не хотят к себе «такого же» отношения, ломают голову, как «загнать» в тюрьму краску, шпатлевку, кисти и пр. Еще один незначительный вопрос: допустим, все это уже есть; как ремонтировать, особенно белить и красить, камеру, в которой куча людей «сидит» безвылазно и день, и ночь? А вот попробуй задать такой вопрос. Я несколько раз слышал ответ на него. Начальная часть ответа звучит так: «Ты че, дурак?» И это единственные цензурные слова, а далее следует продолжение более колоритное и всеобъемлющее.

Забавно наблюдать за системой доносительства. Большинство заключенных отряда обслу-

живания носит с собой авторучку и блокнот, в который записывают все ставшие им известными нарушения: разговоры через «кормушку» с арестованными; просьба инспектора-контролера налить ему кипятка из камеры; передача «шнырями» из камеры в камеру продуктов, сигарет или записки; просьба дать сигарету или конфету. Сотрудники СИЗО следят, чтобы заключенные соблюдали режим; заключенные следят за сотрудниками, и любое проявление ими человеческого отношения к арестованным, а не административно-чиновничьего произвола, тут же становится известным начальству. Неугодные тут же получают взыскания, а при повторении «проступка» следует увольнение. Текучесть кадров очень большая. Во избежание привыкания арестованных к инспекторам-контролерам и наоборот, сотрудников часто переводят с этажа на этаж, из корпуса в корпус. За время моего пребывания в СИЗО сменилось три состава инспекторов: частично они ушли из-за издевательски низкой зарплаты, частично уволены за нарушения.

За несоблюдение и нарушения режима предусмотрены наказания. Самое мягкое – замечание, заносимое в личное дело, более строгое – помещение в штрафной изолятор (ШИЗО). Для осужденных – еще и отсрочка условно-досрочного освобождения (УДО).

Распорядок дня, утвержденный начальником СИЗО, обязателен и для следственно арестованных, и для сотрудников (иначе, если сотрудники не будут его соблюдать, как же смогут соблюдать его арестованные?). Однако, на практике все далеко не так. Например, раздача пищи носит хаотический характер. Никогда невозможно угадать, во сколько и в какой последовательности будут ее выдавать.

Организация прогулок – весьма своеобразный процесс. Сотрудники очень не любят этого мероприятия и всячески стремятся уменьшить объем этой работы (кому охота мерзнуть в оцеплении зимой или жариться в форме на солнце летом?). В ход пускаются специфические «хитрости».

Зимой – стук в дверь камеры: «На мороз пойдете?» Вопрос содержит приемлемый для вопрошающего ответ. Если следует: «Да, пойдем!» – обострение: «Тогда пойдут все». Что значит, «все»? В камере спит ночной дежурный (он постоянно один и тот же). Разбудить его – значит, лишить сна, а в ночь – опять дежурство. Кто-то прибаливает, ему не до прогулки. На это и делается расчет: либо все остаются в камере, либо, если уже невмоготу сидеть без прогулки, идут все, но на будущее делают определенные выводы.

Летом – варианты: «На дождь пойдете? На жару пойдете?» Как-то летом решили все-таки пойти, хотя шел небольшой дождик. Как выяснилось, кроме нас и обитателей еще одной камеры, всех остальных «убедили» поберечь здоровье, и они остались в камерах. Нас же ненавязчиво воспитали, продержав под дождем, вместо обычного часа, два с половиной часа. Естественно, все промокли и простудились посреди лета. Конструктивные выводы для себя из собственного «глупого» поведения мы, конечно, сделали.

Примечательно, что при посещении тюрьмы каким-либо проверяющим требования режима выполняются сотрудниками безусловно.

Весьма поучительно было наблюдать за посещением СИЗО уполномоченной по правам человека. Всех арестантов заранее предупредили об этом. Но не для того, чтобы все подготовили вопросы для нее, а с прямо противоположной целью, о чем прямо было сказано. Все камеры дополнительно убрали, помыли. Постели застелили «по-белому» и стали ждать: вдруг зайдет! Ждали часа четыре (на постели садиться нельзя, а больше – некуда). О приходе какого-то важного лица предупреждают, об уходе – никогда. К ужину выяснилось, что бывшая прокурорша посетила только новый четвертый корпус, камеру женщин и несовершеннолетних. Убедилась, что там все замечательно, о чем был заснят видеосюжет и вечером показан по местному телевидению. Ни в карантин, ни в прогулочные дворики, ни в камеры временного содержания она не пошла (зачем портить настроение). Судя по состоянию четвертого корпуса, в СИЗО все здорово: демократия, законность и права арестованных торжествуют.

Текста правил внутреннего распорядка, режима в письменном виде нигде нет, как и невозможно достать через тюремную библиотеку текст Уголовно-исполнительного кодекса (видимо, это невыгодно по каким-то причинам администрации). Но проклятый характер требует знать из

первоисточника, что же именно ты обязан и на что имеешь права. Несколько раз пытался попасть на прием к заместителю начальника СИЗО по режиму (путем написания соответствующих заявлений), но все заявления как будто испарились. Наконец, удалось через одного из сокамерников, все-таки попавшего к нему на прием, задать вопрос, где можно прочитать полный текст правил содержания подследственных в СИЗО. Ответ был по-детски обезоруживающим: «Требования режима всегда можно узнать у «режимников» (щелчок по носу: так тебе и нужно, любознательный ты наш!). Что же получается? На каждом этаже каждого корпуса – свой «режимник». Надо еще видеть, что за «режимники». И у каждого из них – свой собственный взгляд на эту проблему (читай: самодурство). Отсюда – всякие оригинальные приемы «воспитательной» работы. Предварительно запрещается буквально все: нельзя лежать днем на нарах, тем более спать; нельзя сидеть на них – должны быть застелены. Вопрос: а на чем же тогда сидеть? Возле «общака» – трехместная скамья, а нас – десять человек. Что, шестнадцать часов в сутки стоять? Даже не ходить – негде! Нельзя сидеть на корточках. Нельзя смотреть телевизор в часы, не предусмотренные правилами внутреннего распорядка (в том числе нельзя в личное время; нельзя, когда должна быть прогулка, а тебя не повели гулять; нельзя, даже когда выступает Президент, даже новости посмотреть, прогноз погоды – нельзя!). Нельзя делать зарядку в камере; нельзя смотреть в окно, а если напротив – окно женской камеры, – нельзя вдвойне: а вдруг те продемонстрируют бюст или пошлют воздушный поцелуй. Целомудрие зэков – в опасности! Нельзя держать в камере журналы с обнаженной женской натурой: моральный облик российского зэка должен быть безупречен. Нельзя затыкать сливное отверстие в раковине и унитазе для набора воды. Почему? Потому что нельзя! И вот, когда все уже нельзя, можно начинать казнить и миловать: казнить – это отбирать у тебя твой телевизор, миловать – это закрывать глаза на нарушение того, что он сам же запретил: низ...зя, низ...зя, низ...зя!

Феня, мура и иже с ними

> Феня – язык, сформировавшийся на Руси в эпоху Средневековья и первоначально использовавшийся бродячими торговцами офенями. В последствии язык был перенят уголовной средой и в настоящее время феней называют воровской жаргон.
> *(Википедия)*

Я в тексте этих записок уже использовал некоторые слова и выражения, позволяющие судить о том, на каком языке объясняются обитатели СИЗО – арестованные и сотрудники (более подробно см. словарь наиболее употребимых в СИЗО-1 слов и выражений в приложении). Этот универсальный язык является симбиозом классического русского мата, старой доброй «фени» и ее современного варианта «муры». Филологической особенностью всех трех языков является то, что они содержат только существительные, прилагательные, глаголы, наречия и междометия. Набор междометий особенно богат. На долю собственно русского языка осталась только функция соединения этих частей речи в единый могучий и универсально-интернациональный язык общения братских народов, проживающих на постсоветском пространстве, преимущественно в местах, не столь отдаленных. Кстати, этот язык гораздо удобнее для освоения и иностранцам из «дальнего» зарубежья, чем «громоздкий», избыточно информативный, архаичный русский. Тем более что на нем говорила еще всякая интеллигентская «нечисть»: черномазый Пушкин, хохол Гоголь, «голубой» Чайковский. Нынешнее продвинутое поколение (уже совсем next) и общается на продвинутом языке.

Попав в карантин, первоначально я не понимал более половины из того, что произносилось его обитателями. Они как будто щеголяли друг перед другом знаниями «перлов» «муры» и «фени». Очевидно, – это следствие неосознанного желания мимикрировать под блатной мир с тем, чтобы избежать возможных и ожидаемых проблем. По-видимому, подсознательно каждый стремится занять достойное место в иерархии преступного мира, руководствуясь простой логикой: чем «круче» выражаешься, чем небрежнее и циничнее высказываешься о том, что представ-

ляют собой общечеловеческие ценности в «гражданском» мире, тем более высокое место займешь в иерархии, формируемой из, предпочтительно, подонков. И это – грубая ошибка. За более чем год общения с разного рода ворами, грабителями, насильниками, убийцами (а это сотни человек) настоящих подонков я встретил только двух-трех. Остальные – (внимание!) обычные средние (чуть ниже, чуть выше) россияне, что и является самым чудовищным во всей социальной системе нашей страны. Такое впечатление, что если бы можно было провести грандиозный социальный эксперимент (еще одну Великую Октябрьскую социалистическую революцию) и поменять местами тех, кто в зонах и тех, кто вне их (просто развернуть кольцо колючей проволоки и замкнуть с другой стороны) – и ничего не изменится. Вы со мной не согласны? Что, все взяточники сидят в тюрьме? Нет, они продолжают работать на своих должностях, презирая отщепенцев-зэков. Что, Серега С., украв алюминиевые тарелки из незапертой дачи, опаснее для общества и государства, чем мэры, приватизировавшие свои города; чем врачи, заразившие СПИДом десятки малышей; чем генералы, эксплуатирующие солдат на строительстве своих дач, и офицеры, торгующие оружием?

Так вот, я утверждаю, что за стенами тюрем и за колючей проволокой на 95-98% – обычные нормальные люди, более того, процентов 10-15 из них – просто не виновны, а являются жертвами безмерно разросшейся системы правоохранения, требующей все новых и новых результатов в бумажных отчетах. Еще процентов 25-30 заключенных отбывают наказания за недоказанные в законном порядке преступления. Приговоры им вынесены по «внутреннему убеждению» судьи, на которого оказано «внешнее убеждение» оперативника, следователя, прокурора.

Адаптировавшись в новой для них обстановке, многие понимают, что эрзац-язык – больше забавная игрушка (всем очень интересно участвовать в языкотворчестве), чем объективная необходимость.

Однажды нас, человек 30-40, транспортировали в «воронке» в ИВС. Как обычно, воздух звенел от матерного трепа, всевозможных языковых комбинаций из «фени», «муры» и молодежного сленга. Кто-то из соседей о чем-то спросил меня. Я, сомневаясь, что он поймет мой ответ на литературном русском языке, коротко ответил ему с применением тюремной терминологии, которой уже немного овладел. Тут же ко мне обернулся один из двух наиболее грязно матерившихся и злоупотреблявших «феней» парней, значительно младше меня, и на чистом русском языке упрекнул: «Михалыч, зачем Вам это нужно? Вы – интеллигентный, образованный человек. Пожалуйста, не старайтесь быть похожим на нас!» По внешним признакам я никогда бы не мог подумать, что у них внутри – вот это! Мне было безумно стыдно, и я пообещал себе, что отныне никогда не позволю себе опуститься до использования этого эрзац-языка в быту, в общении с кем бы то ни было.

«Фене» и «муре» никто арестантов не обучает, нет никаких письменных учебных пособий и хрестоматийного материала. Поэтому «диалекты» этих языков в каждой тюрьме уникальны. Я могу профессионально рассуждать только о том, что «произрастает» и «благоухает» в СИЗО-1 славного города Саратова. Язык, как это и положено порядочному языку, передается из уст в уста, обогащается и совершенствуется. На него оказывают влияние и молодежный сленг, и профессиональные жаргоны тех, кто сюда попадает. Так что те, кто через 1–2 года повторно «заезжают» в СИЗО-1, бывают «приятно» удивлены тем новым, что им удается узнать (и это радует, поскольку на «воле» уже словарного запаса не хватает беседовать с «коллегами»: жизнь-то не стоит на месте).

Вообще, устное творчество: и поэтическое, и мифологическое – развито в тюрьме очень сильно. Один из «стишков» я уже цитировал. Здесь же хочу привести пример массового мифотворчества.

«Контингент» СИЗО почти полностью меняется 3-4 раза в год. Перед выборами Президента России в 2004 году очередная смена подследственных рассчитывала на то, что такое историческое событие никак не может обойтись без всеобщей амнистии. Тема амнистии вообще занимает одно из самых видных мест в умах и в творчестве зэков. Вот и теперь авторитетные зэки, идя навстречу торжеству демократии и капитализма, выдвинули логически непротиворечивую версию о том, что ко дню выборов действующий Президент непременно объявит всеобщую амнистию заключенным, и «мы все пойдем на свободу». Эту версию, как только я попал в это учреждение, мне тут же преподнесли с видом, не терпящим никаких возражений. Нужно сказать, и сам В.В.Путин внес свою

лепту в творчество арестантов. Когда он агитировал граждан принять участие в выборах, он допустил неосторожное высказывание, что ко дню выборов будут приятно удивлены жены и матери заключенных. Зэк – не дурак, сразу все понял (был бы дурак – тогда бы не понял): будет амнистия. Вот эти соображения мне и изложили в безапелляционной форме. Мне амнистия не грозила, т.к. меня обвиняли в совершении преступлений, тянущих в общей сумме на 60 лет лишения свободы, поэтому к перспективе освобождения по амнистии я отнесся более трезво, чем мои новые товарищи. Не особенно задумываясь о последствиях, я заметил, что логичнее было бы объявлять амнистию не ко дню выборов, а ко дню инаугурации нового Президента, которым будет тоже В.В.Путин. Выражение глаз моего собеседника стало пустым и бессмысленным: он ушел «в себя», будучи пораженным неизвестным ему словом. Минут через 15, после бесплодных поисков смысла этого слова в глубинах сознания, отягощенного жизненными излишествами, собеседник невинным тоном осведомился о том, что оно означает. Получив ответ, что это официальная процедура вступления Президента в должность, и что происходит она месяца через 2-3 после выборов, он уполз вглубь пространства «пальмы» и предался углубленным размышлениям. Дни шли, выборы были все ближе, а об амнистии ничего слышно не было. И вот, день выборов настал и прошел – тишина! Вся прогрессивная зэковская общественность – в шоке: «Нае...ал, падла!» И только самые продвинутые, как выяснилось позже, были в курсе происходящего и с неиссякаемым оптимизмом смотрели в ближайшее будущее. Как-то, приехав в очередной раз в ИВС, я попал в очередную сверхгрязную камеру, где опять зашла речь об амнистии. И мне новый собеседник совсем из другого корпуса тюрьмы с той же непререкаемой убежденностью поведал, что ко дню инаугурации уже намечена грандиозная амнистия (все пойдем домой). И для убедительности добавил: «У одного пацана адвокат ездил в Москву на семинар (тоже хорошее слово) по обсуждению проекта амнистии». Это меня полностью убедило. Я понял, что круг замкнулся на мне, мои неосторожные слова через две недели ко мне же и вернулись. Так, неожиданно для себя, я научно установил длительность цикла возникновения и умирания произведений устного народного творчества в условиях СИЗО-1.

Теперь продолжу свои рассуждения о тюремном языке. У меня возникло впечатление, что интенсивное использование языковых заменителей многими из сокамерников является, во-первых, следствием их «застенчивого» отношения к русскому языку: слишком много возможностей ошибиться, сложно выражать мысли на нем. За ошибки в «фене» и «муре» никто не упрекнет и не подымет на смех. Скорее всего, в результате этой ошибки возникнет новое, первоначально забавное, а впоследствии – просто привычное слово: это ли не языкотворчество! А, во-вторых, – это форма протеста против всего и всех.

Вместе с тем, приходится признать, что эрзац-язык, при всей его примитивности, обладает очень мощным притягательным свойством (вот бы литературному привить это свойство). Профессиональным филологам следовало бы серьезно проанализировать истоки и причины этой притягательности. Эрзац-язык быстро осваивается, он более компактно и более эмоционально выражает мысли говорящего (ну, конечно, при наличии таковых и с корректировкой на их незначительную глубину). Результат: сотрудники СИЗО, по крайней мере, их низшие звенья, конвоиры – разговаривают на том же языке. Очень быстро этот язык распространяется в студенческой среде. Я отнюдь не агитирую за то, чтобы хотя бы в малейшей степени заменить русский на «феню» или «муру». Я за то, чтобы глубоко изучить этот феномен и постараться использовать его положительные свойства: лаконичность, простоту правил построения, демократичность и прочее – в нормативном русском языке.

Чтобы показать, как далеко зашел процесс ухода русских от русского языка, привожу пример звучания простого русского текста на эклектичном языке СИЗО. Текст, конечно, несколько упрощен и утрирован. Слушая в моем исполнении этот перевод, сокамерники искренне хохотали, забавляясь своей преднамеренной глупостью и результатами целенаправленного ухода от нормативной лексики, олицетворяющей в их сознании все то несправедливое, что произошло с ними.

Один день из жизни отдельно взятой камеры СИЗО на общегражданском языке:

Как обычно, утром дежурный инспектор-контролер, отворив окно для раздачи пищи, объявил подъем. Следственно арестованные, здороваясь друг с другом, без каких-либо споров, воспользовавшись туалетом, совершали водные процедуры: чистили зубы и брились безопасными бритвами. К моменту, когда все застелили постели, дежурный заключенный из отряда обслуживания стал раздавать завтрак. Следственно арестованные брали личную посуду и по очереди подходили к нему.

После завтрака все начисто вымыли тарелки, кружки, ложки теплой водой, подогретой кипятильником. Началась уборка камеры. Старший по камере следил за уборкой, соблюдая правила внутреннего распорядка. Вдруг возник какой-то спор по неясному поводу. Старший немедленно восстановил порядок, объяснив спорящим, что они не понимают всех последствий ссоры в камере: инспектор по режиму может наказать их и перевести в другую камеру. Он, старший, не может прикрывать их и отвечать за их неправомерные действия. Все равно кто-то из сокамерников проинформирует инспектора по режиму, и тот примет адекватные меры. Спорившие поняли его, и конфликт был исчерпан.

После обеда дежурный заключенный под контролем сотрудника СИЗО принес письма от родных и передачи. И почти сразу же за этим сотрудники СИЗО провели плановый обыск камеры с целью обнаружения предметов, запрещенных к хранению: ножей, наркотиков и др. Постели и вещи следственно арестованных выносили в коридор, где их тщательно осматривали. Когда обыск был закончен, все вещи снова занесли в камеру, и порядок был восстановлен.

После ужина старший офицер смены охраны провел проверку состава содержащихся в камере, пожелав всем спокойной ночи. До отбоя сокамерники обсуждали свои уголовные дела, советуясь друг с другом.

То же – на «реально» «нормальном» языке:

Пробил собачий час. Продольный пупкарь гавкнул в кормушку: «Подъем!» Стремный кипеш: зэки шнифты разули – на дальняк и к светланке, конкретно по понятиям, без базара жвала полировать. Достали из загашника мойки и – к обезьянке, по чину фейсы шкрябать.

Только шконки по-черному забрали, тут локшарь: хозяин баланду прислал. Братва шлемки, весла, кругали разобрала.

Такое пойло в кайфолом, все – в дальняк, на трассу. По делу – бурбулятор в литряк, из сидора – локшу и по кайфу до обеда (жаль фаныч отшмонали).

Пока то да се, лох хату пидорит, братва базарит за делюгу: у кого кассуха зависла, у кого терпила темнит, следак чернуху шьет. А кто лег на перо, гонит по-черному, пялится беспонтово в объе...ло. Прочие вату катают, хай стоит. Бугру западло терпеть: «Вяжи шнягу! Нянуть мазу за мутку – в кайфолом! В натуре кумарылый куму капнет, дубак косяк усекет, на лыжи поставит». Базара нет – пацаны усохли.

Только похавали, шнырь мульки прет, хрюшки: грев подогнали. Не зря чирикалка решку обсиживала. Сразу анчоусов запарили, коня заделали. Только кайф поймали – шмон. Сидора, барахло – на продол, дубаки лютуют: резки, канатики колеса шмонают. Эпидерсия: тупить кайфа нет, булки отобьют, в бубен – гарантия!

То да се, в ящик попялились, – жрачку подогнали, похавали. Лошара парашу отпидорил, косяк – на руку, ухо на продол кинул. День прошел, и х...й с ним.

Толковый словарь некоторых слов и выражений «муры» саратовского СИЗО

Анчоусы – анаком.
Баклан – осужденный за хулиганство, драку.

Баран – человек, котрый не может избежать постоянных наказаний из-за свойств своего характера.

Бекасы – вши.

Бондяк – предмет, спрятанный в теле зэка, или передаваемый по «дороге», «трассе» (Забондяковаться – спрятать что-то в теле).

Бубен – голова.

Булки – ягодицы.

Бурбулятор – самодельный кипятильник из «моек».

Бык – упрямый человек.

Весло – ложка.

Вичевой – больной СПИДом (ВИЧ-инфицированный).

Встать на лыжи – переходить из камеры в камеру.

Выйти на трассу – общаться через канализационную систему

Волчок – глазок в двери камеры.

Гнать – грустить, переживать, нервничать, размышлять (все одновременно).

Грачи – все зэки (по цвету робы).

Греть ухо – подслушивать.

Дальняк – туалет в камере.

Делюга – уголовное дело.

Дрофа – это тормоз, человек, делающий все наоборот, которому только в бубен бить – ничего не понимающий человек.

Дубак (режимник) – сотрудник администрации, отвечающий за соблюдение режима содержания арестованных, заключенных.

Дятел – «стукач» или много говорит «не по делу».

Жужжелица – человек, умеющий «ужалить», «подстрелить» языком, красноречивый.

Загасить (что-либо)– испачкать, осквернить.

Заточка – эрзац-нож (холодное оружие).

Залипуха – неверное, непонятное, бредовое высказывание.

Закатать в алебастр – успокоить.

Змея – водяной кран.

Трасса – канализационный стояк

Кайфолом – разочарование.

Катать вату – разговаривать ни о чем, без глубокого смысла.

Кассуха – кассационная жалоба.

Кинуть ухо – прислушаться.

Кипеш – суета, скандал, шумное событие.

Кипешевать – провоцировать кипеш.

Козел – 1. То же что «петух». 2. Заключенный, сотрудничающий с администрацией.

Конь: 1. Плетеная нитка с клочком ваты на конце и спичкой посредине – для транспортировки предметов по системе канализации или просто нить, натянутая между окнами камер. 2. Чифир со сгущенным молоком. 3. Тупой, трусливый человек.

Конявый – трусливый человек (конявить – трусить).

Кормушка – прямоуголоное отверстие в двери камеры, через которое происходит любое общение с заключенными, в том числе выдача продуктов питания.

Косяк – 1. Повязка дежурного (в «красных» тюрьмах). 2. Неправильные, наказуемые действия.

Курица – девушка или парень, похожий на девушку.

Крутить луну – врать, обманывать (лунокрут – врун).

Косить – симулировать, обманывать.

Крыса – вор, ворующий у своих.

Кум – начальник по соблюдению режима.

Кумарить – 1. Принимать наркотики. 2. Болеть из-за отсутствия наркотика, испытывать «ломку».

Кумарылый – зэк, сотрудничающий с администрацией (ходит к куму).

Лепить (мочить) корки – чудить, развлекаться, изгаляться.

Лечь на перо – заняться написанием жалоб.

Литряк – кружка объемом 1 литр.

Локша – еда, пища.

Локшарь – разносчик пищи.

Лыжник – человек, не уживающийся в коллективе камеры.

Лупара – обрез охотничьего ружья.

Мартышка, обезьянка – зеркало.

Масть, мастёвый – люди, выделившиеся в негативную сторону, отступившие от общепринятых норм поведения, обычно в сексуальном смысле. У «взрослых» масти – гашеные и крысы; у «малолеток» масти – любые гипертрофированные особенности личности.

Мойка – лезвие одноразовой или многоразовой безопасной бритвы.

Мулька – записка, письмо.

Мутка – действия или результат действий, направленных на усложнение или запутывание ситуации. Аналог – «мутить воду».

Мышь (мышатина) – ворующий у близких, «семейных», сокамерников.

Нагнать – выпустить на свободу.

Намордник – глухой ограничитель обзора нижней части окна.

Нифеля – использованная чайная заварка.

Отмазывать – оправдывать.

Объе...ло – обвинительное заключение (всегда несправедливое, обманывающее обвиняемого).

Петух – сексуально униженный человек.

Пеликан – очень много кушающий.

Переобуться – изменить из конъюнктурных соображений свое мнение.

Пи...дюк – несовершеннолетнее лицо.

Пидорить – мыть, чистить.

Погоняло, кликуха – кличка, псевдоним.

Профура – вконец опустившаяся проститутка.

Подъем – перевод арестованного из карантина в камеру постоянного содержания.

Пойти по бездорожью – регулярно нарушать режим.

Помиловка – помилование.

Продол – коридор или проход между нарами.

Пупкарь – охранник, пост которого расположен в коридоре между камерами.

Пыжик – заключенный пожизненно.

Тормоз – 1. Человек-тугодум. 2. Трос, ограничивающий степень открытия двери камеры.

Тянуть мазу – заступаться, прикрывать, защищать кого-либо.

Резка – эрзац-нож, устройство для резки продуктов, изготовленное из крышки от консервной банки.

Реснички – жалюзи.

Решка – 1. Решетчатая камера. 2. Решетка на окне.

Рысь – человек, много раз сидевший в тюрьме.

Светланка – раковина.

Свинья – электророзетка.

Сидор – сумка или мешок, в которых содержатся вещи заключенного.

Синт – тюремная больница, больничный корпус.

Следак – следователь.

Слоник – приступок для подъема к унитазу.

Сопля – кусок шланга, надетый на водяной кран во избежание разбрызгивания воды.
Стакан – маленькая камера, бокс.
Сушить зубы – улыбаться, скалиться.
Терпила – потерпевший по уголовному делу.
Тихушник – человек, склонный к неадекватным поступкам.
Тубик – больной туберкулезом.
Тупить – совершать неразумные действия.
Турбович – корпус или помещение для больных туберкулезом и ВИЧ-инфицированных.
У-до – условно-досрочное освобождение.
Устрица – хитрый, много раз сидевший в тюрьме человек.
Утка – унитаз, прибор для отправления естественных нужд.
Утка-утятина – подсадной провокатор, осведомитель.
Фаныч – чайник.
Фильтровать базар – выбирать корректные формулировки и выражения.
Фуфло – 1. Ложь, неправда (гнать фуфло – врать); 2. Некачественный предмет.
Хозяин – начальник тюрьмы, колонии.
Хрюшка – передача.
Цинк – разговор; **цинкануть** – рассказать, передать содержание разговора.
Черепаха – холодильник.
Чифир – сверхкрепкий чай.
Чифирбак – кружка, в которой заваривают чифир.
Шконка – тюремные нары.
Шлёмка – миска для еды.
Шляпа, шняга – что-то плохое по качеству (фигня).
Шмон – обыск.
Шмель – особист – режимник в зоне особого режима.
Шнырь – заключенный из отряда обслуживания, имеющий возможность перемещаться по тюрьме.
Эпидерсия – бессмысленная ситуация.

Медицинское обслуживание

«Если хилый, сразу – в гроб...»
(Незабвенный В.Высоцкий)

Тюрьма – место, где собирается специфический контингент, носитель всякого рода инфекций. Встречаясь в одном месте и тесно взаимодействуя, все эти бактерии, вирусы и прочие гадости то ли мутируют, то ли консервируются до лучших времен, так что вывести их совсем невозможно даже при том, что в СИЗО для дезинфекции широко используется раствор хлорной извести («хлорка»). Дезинфицируется все: ложки, кружки, миски, раковины, унитазы. Самые ретивые «старшие» даже полы в камерах заставляют мыть с хлоркой: лучше отравиться хлоркой, чем погибнуть от поганых микробов. Тем не менее, даже стены, очевидно, здесь пропитаны некоей субстанцией из агрессивных микроорганизмов. Поэтому все попадающие сюда, некоторое время спустя, заболевают, что проявляется в кашле, насморке, высокой температуре. Кроме того, часть следственно арестованных поступает в СИЗО больными, как правило, более серьезными болячками. Тут их всех и лечат. Давайте посмотрим, как это происходит.

Среди арестантов бытует байка о том, как двое зэков, один – с больной печенью, другой – с головной болью попали на прием к тюремному врачу. Тот (та) вытащил из кармана какую-то пилюлю, разломил ее пополам и отдал по половинке каждому больному. Этим лечение и закончилось. История, конечно, сильно литературно обработана. Но, с точки зрения охарактеризования тюремной медицины, довольно точно иллюстрирует ее принципы. Основной принцип практикующего врача:

не навреди – здесь доведен до совершенства. Надежнее всего не навредить – вообще не лечить, тем более что пациенты здесь временные и месяца через два-три все равно куда-нибудь уедут.

Впервые я столкнулся воочию с тюремной медициной, еще находясь в карантине. Всем находящимся там были продемонстрированы чудеса диагностики. У Александра Д. анализ крови оказался не вполне удовлетворительным. Когда мы все, человек сорок, стояли в строю, ожидая очередной проверки, вдруг открылась «кормушка», в ней показалось женское лицо, расположенное между погонами военврача, и вызвало по фамилии Александра. Он в ответ автоматически назвал свое имя и отчество.

– Снимай штаны! – последовала команда женской физиономии.

В полном шоке, к нам – задом, к ней – передом Саша снимает штаны.

– Трусы снимай! – следующий окрик.

Саша снимает трусы.

– Подойди ближе! Давай ЕГО сюда!

Саша подает в «кормушку» то, о чем его просят. Дама впивается взглядом в натюрморт, мы сосредоточенно разглядываем Сашин зад. Удовлетворенная результатом зрелищного мероприятия, дама, как выяснилось, местный венеролог, захлопнула стальную дверцу «кормушки» так быстро, что Саша едва успел отдернуть самое ценное, что ему пока еще оставили, смысл всей его мужской жизни. В состоянии грогги, машинально надевая трусы со штанами, задумчиво встал в строй: «Что это было?» Вскоре вопрос прояснился. Сашу перевели в больничную камеру для инфекционных больных, а остальным обитателям карантина, максимально «соблюдая» врачебную тайну, во всеуслышание сообщили: «У него – сифилис», – и многозначительно добавили: «Возможно – бытовой!» Последнее особенно бодряще подействовало на всех, а меня и вовсе как будто холодным душем обдало, потому что контакты между арестантами в камере – предельно тесные, а в условиях ее двукратного перенаселения мы с ним и спали в одной постели. Впоследствии выяснилось, что никакого сифилиса у него не было, и его перевели в обычную камеру, но несколько душещипательных мгновений мы все прочувствовали.

Следующий опыт общения с медиками я получил, когда самому потребовались таблетки от кашля, от головной боли, успокоительные. Как выяснилось, таких медикаментов в медчасти нет (а какие же тогда есть?). На вопрос, как же быть, ответили: просите родственников, чтобы передали с «воли». Хорошо, что я – саратовский, а как быть иногородным? Через несколько дней на свидании с адвокатом я попросил, чтобы жена принесла эти лекарства. Еще через несколько дней она принесла все, что я просил, но лекарства не приняли. Выяснилось, что для этого требуется письменное разрешение начальника СИЗО (а сразу нельзя было сказать?). Пишу заявление на имя начальника СИЗО, отдаю дежурному контролеру по этажу. Заявление исчезает без следа. На мой очередной вопрос врач интересуется, кому я отдал заявление, и сообщает, что заявление надо было отдать ему (а сразу нельзя было сказать?). На следующий день отдал заявление врачу. Через полторы недели получил разрешение на передачу лекарств. Еще через неделю жена передала лекарства. Они поступили на центральный больничный склад, расположенный в другом корпусе. Еще через полторы недели эти лекарства из центрального склада перенесли в медпункт нашего корпуса, и утром врач мне сообщила, что это событие состоялось (а сразу нельзя было начать выдавать их мне?). На следующее утро медичка (между прочим, капитан медицинской службы) принесла мне аж две таблетки глицина. Не успели мы после утренней проверки застелить постели по-белому, как заявилась шайка режимников, скомандовала выносить все вещи в коридор, начался обыск, точнее – шмон. Ничего запрещенного, кроме моих двух таблеток, не нашли. Таблетки отобрали и при мне выбросили в мусор. Мои объяснения, что я только что получил их от врача, ни к чему не привели. Первый акт моей медицинской эпопеи завершился полным провалом. Выяснилось, что по правилам этого учреждения, таблетки должны быть приняты непосредственно при враче, причем, либо проглочены «насухо», либо запиты кипяченой водой (которой, конечно, нет). Иногда даже требуют, открыв рот, показать, проглотил пилюлю или нет. Вопрос: как же тогда, следуя рекомендациям того же врача, принимать лекарства три раза в день?

На просьбу дать таблетку от гипертонии резонно отвечают, что вначале нужно измерить давление, и записывают тебя на прием. Затем, в половине случаев, ни на какой прием тебя не выводят. На следующий день история повторяется. На этот раз, через полдня, после обеда (так положено лечить) тебя ведут под конвоем, открывая-закрывая десяток решетчатых дверей, в медпункт, расположенный в подвале, «засовывают» за решетку вместе с еще десятком «бедолаг». Все ждут приема. Из кабинета выходит терапевт в погонах. Начинает по очереди спрашивать всех, кто на что жалуется.

Первый: гнойная язва на ноге, ходить не может, прижечь нечем, бинта нет.

Рекомендация: «Ну, попробуй промывать крепким чаем, дня через три посмотрим» (откуда ему взять чай, да еще крепкий?).

Второй: хроническая астма, противоастматического ингалятора нет, в камере все курят, дышать невозможно, в бане мыться не может: влажным воздухом задыхается.

Рекомендация: «У нас ингаляторов тоже нет, затягивайте с «воли»; препаратов нет, попросите сокамерников меньше курить; перевести в другую камеру не можем; мойтесь в камере в туалете».

Третий: молчит.

– Чего молчишь?

Парень – призывного возраста, девушка-терапевт – только что из института. Парень молчит.

– Да, ссыться он по ночам, – выручает парня сосед, – по два раза за ночь. Всю камеру провонял!

– Почему?

– В армии сильно били по почкам, я сбежал, до сих пор кровь в моче.

Представитель самой гуманной профессии:

– Ну а я-то что сделать могу? Ты же знаешь, что это не лечится. На вот тебе таблетку аспирина – ешь при мне!

Четвертый: по всей спине, рукам и лицу – чирии. Лопаются, гноятся.

Рекомендация: «Ничего не сделаешь: недостаточно находишься на солнце. Отправят из тюрьмы в колонию – все исправится».

Пятый: чешусь, волосы выпадают, пятна по телу.

Рекомендация: «Это от недостатка витаминов, у нас витаминов нет. Если с «воли» тебе передадут, будем выдавать».

И так далее с той же эффективностью. Предел терапевтического вмешательства – справка о том, что пациент нуждается в постельном режиме, на три дня. Эта справка позволяет лежать днем в камере на постели.

Если заболевание, безусловно, серьезное, больного переводят в одну из больничных камер, расположенных во втором корпусе поближе к медчасти. Больничные камеры – это такие же камеры, тоже без горячей воды, с теми же двухэтажными нарами-шконками, только в камере все – больные. На прием ко врачу их так же выводят под конвоем и так же, как в прочих камерах, лежать на постелях днем там запрещено.

Никаких серьезных медицинских манипуляций или операций в СИЗО не делают. Даже простую внутривенную инъекцию сделать – почти неразрешимая проблема.

Сокамернику, Сан-Санычу, потребовалось сделать курс внутривенных инъекций эуфилина на физрастворе (все медицинские документы с «воли» передали). Нет проблем: необходимо передать в тюрьму медикаменты и, конечно же, импортные одноразовые шприцы. Через полтора месяца все нужное, наконец, доставили в медпункт корпуса. Вывели Саныча с конвоем в медпункт и «впороли» ему отечественной иглой без физраствора чудовищно больной укол. Вернулся он в камеру с мутными глазами: держится за руку и громко матерится. Следующая инъекция стала возможной нескоро: то времени у врача нет, то медсестры нет. Наконец, после скандала, вывели Саныча в медпункт. Пришел назад, в камеру, с забинтованной рукой. Рассказывает следующее. Медсестра пришла уже с наполненными двумя пятикубовыми шприцами и одной иглой из другого корпуса (с открыванием и закрыванием десятка решетчатых дверей). Сразу в вену не попала: Саныч сидел за решеткой, освещение плохое. Начала вращательным движением иглы нащупы-

вать вену. Саныч уже подвывает:

– Сестричка, если здесь темно, лучше выньте из меня иглу, проводите меня в кабинет и там снова повторите попытку.

– А может, тебя к себе домой отвести?

– Да, я же к Вам в гости не напрашиваюсь!

– Мы тебя сюда не звали!

– Да, я и не писал заявления, чтобы меня в тюрьму посадили!

Наконец, начала вводить лекарство (с физраствором!). Из одного шприца – ввела. Заменяя шприц, пробила стенку вены, ввела лекарство под кожу. На вопли пациента – назидательное нравоучение: «А ты думал, что в санаторий приехал?» Больше Саныч в медпункт не ходил.

Так ненавязчиво, деликатно профессиональные последователи бессмертного Эскулапа-Гиппократа дают понять потенциальным пациентам, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих (Ильфа и Петрова читали все, а правильные выводы сделали далеко не все). Наиболее непонятливые (Саныч, прости!) подвергаются процедуре прочистки, прежде всего, мозгов. Это самая важная медицинская манипуляция в СИЗО.

Вообще, местные медики владеют приемами, которым ни в одном институте не учат: диагностика на расстоянии трех метров; инъекции через решетку; измерение давления на фоне мата; квадратно-гнездовой способ терапевтического воздействия – много другого, поднимающего искусство врачевания на недосягаемую высоту подвала СИЗО.

Мрачная шутка зэков – лекарства от всех болезней:
1. Дубинал натрия – дубинкой (киянкой) по голове;
2. Влупидол – намек на насильственный половой акт;
3. Е, Б, Ц – витамины – примерно то же, что и влупидол.

А вот еще картина, достойная пера.

В камеру карантина поместили арестанта, как потом выяснилось, страдающего приступами эпилепсии. Разумеется, ночью у него начался приступ: конвульсии, пена изо рта. Братва всполошилась, орет, стучит в дверь: «Врача давай!» Дежурный по коридору связывается с медчастью, там ищут врача. Пока все это продолжается, парня держат трое, четвертый ложкой разжимает ему зубы, вытаскивает его язык, между зубами всовывает деревянную ложку. Всех колотит, никто не спит. Проходит часа полтора, приступ уже закончился. Парень с мутными глазами сидит, недоуменно озираяясь по сторонам. Приходит медсестра, смотрит в «кормушку»: «Ну, чем я могу помочь?!» Ночью сотрудникам в камеру даже вдвоем заходить запрещено. С тем и уходит. Догадываетесь, что произошло дальше? Ну, конечно, парень попал в тюрьму, перенес сильнейший стресс. Через полчаса после визита медсестры приступ повторился в более сильной форме. Последовательность действий – та же: трое его держат, четвертый – ему ложку в рот. Остальные стучат в дверь: «Врача давай!» Скорость появления медсестры – та же. Только у мальчишек, накануне помещенных в карантин, еще не «нюхавших порох», волосы дыбом и состояние шока.

В 5.30, точно по распорядку, – подъем.

Гигиена личная и коллективная

«Надо, надо умываться
по утрам и вечерам...»
(К.Чуковский. «Мойдодыр»)

Все, кто только что попал в СИЗО, в карантин, заходят туда с пустыми руками, не имея ни зубной щетки, ни зубной пасты, ни мыла, ни полотенца, ни сменного белья, ни бритвы, ни посуды. Ну, ничего нет! Государство в лице администрации не выдает арестованным ничего. Не поняли, как это? Повторяю: администрация СИЗО не выдает арестованным вообще НИЧЕГО!

Пикантность этой ситуации состоит в том, что эта же администрация требует, чтобы у арестантов все это было, более того, она регулярно контролирует наличие гигиенических средств, буквально пересчитывая зубные щетки, бритвы, посуду. На ежедневном обходе с грозным видом задается вопрос: «У всех все есть?» Старший отвечает: «У всех!» За этим следует грозно-отеческое напутствие: «Смотрите!» Самое замечательное состоит в том, что в результате такой «интенсивной заботы» администрации, действительно у всех очень быстро появляются необходимые средства личной гигиены. Откуда все это берется? Примерно 30% обитателей карантина получают передачи. В них сразу же передают зубные щетки, пасту, туалетную бумагу, бритвы и прочее. Зубной пастой зэки пользуются совместно. Зубные щетки остаются от прежних обитателей, которым изменили меру пресечения: выпустили под залог или подписку о невыезде. Эти щетки тщательно кипятят, и они получают нового владельца. Частично затупленные бритвы передаются тем, у кого их нет совсем. Остается и кое-какая одежда, включая белье. Не очень гигиенично? Ну, что же, – не графья! На безрыбье и рак – рыба!

Старый анекдот. Встречаются Брежнев с Никсоном. Брежнев спрашивает, как, мол, там у вас в Америке с продуктами, товарами? Никсон отвечает: «Продуктов и товаров полно, только большую проблему составляет доставка их в каждый город, поселок: прямо беда». Брежнев, с удовлетворением: «А мы и эту проблему решили: все продукты и товары мы завозим в Москву, а население само все это развозит по стране».

Как видим, такая идеальная система снабжения, тщательно отработанная при развитом социализме, и сейчас безотказно действует. И это понятно: все видные деятели системы исполнения наказаний вышли из развитого социализма и своими глубинными корнями до сих пор зарыты там. Если говорить совсем серьезно, то заслуги администрации СИЗО в том, что гигиена здесь находится на высоком уровне, нет никакой (если не считать окриков и заклинаний типа: «Смотри у меня!»). Традицию чистоты поддерживают сами арестанты, прекрасно понимающие, что в тюрьме, как нигде, необходимо обеспечивать идеальную чистоту. Вместо одной влажной уборки и одной сухой уборки, предусмотренных правилами распорядка, камеру моют трижды в день. Кроме того, периодически (один-два раза в месяц) делают генеральную уборку: моют стены и полы с мылом, все полки, нары, холодильник. Санузел ежедневно моется трижды, причем один раз – с хлоркой.

При входе в камеру новичка его тут же раздевают догола (да он и сам против этого не возражает, понимая, что должен доказать свою чистоту) и проверяют всю одежду на наличие вшей. Если эти звери есть, всю одежду – в прожарку, а новичка после холодной водной процедуры временно одевают в одежду из общего мешка, предварительно обрив ему голову и заставив обрить все волосистые части тела. Затем инспектируют его вооруженность средствами личной гигиены. Если чего-то у него не хватает, сокамерники делятся с ним из своих личных запасов.

Самая популярная «игра» в камере – следить друг за другом: вышел из туалета – помой руки; если кто-то ест, не смей ходить в туалет; пахнет потом – марш мыть подмышки и ноги, стирать носки и трусы.

Туалет в камере по запаху найти невозможно. Вообще в камере запахов нет никаких, кроме табачного дыма. А к обходу администрации и запаха дыма нет. Наиболее рьяные еще и дезодорируют воздух к приходу начальства. Делается это так: намыливается душистым мылом полотенце и перед самым приходом проверяющих (ухо «кидают» на «продол») резко встряхивают им несколько раз. Начальники – в восторге, что в явном виде отражается на их вечно хмурых лицах.

Все еженедельно стирают нижнее белье и носки, верхнюю одежду – один раз в две-три недели, моют обувь после прогулки или поездки на «суддопрос». Вообще, самый ленивый в тюремной камере – на уровне самой прилежной домохозяйки на «воле». Помимо наведения чистоты, это позволяет еще и «убить» свободное время, которого здесь в избытке у каждого.

Коридоры подметают и моют заключенные из отряда обслуживания. Возникает впечатление, что они из этих коридоров и не уходят никогда: в 6.00 они уже на рабочем месте, в 21.30 – еще работают. Врачи умиленно удивляются: надо же, в тюрьме – и нет тараканов!

Бомжи, попав в такой оборот, поневоле начинают вспоминать хорошо забытое прошлое и, хочешь не хочешь, в течение двух-трех дней превращаются, по крайней мере, внешне в цивилизованных людей. Приходится им заменять нестерильный иммунитет в своем организме на иммунитет стерильный. Знающие люди говорят, что часть бомжей даже специально повадилась на зиму садиться в тюрьму. В конце октября «найдет» такой бомж в мусорке пару патронов к малокалиберной винтовке, милиция – тут как тут: в ИВС его, потом – в СИЗО. Раскроет это опасное преступление по горячим следам (ст.222, ч.1 УК РФ). Бомж получит четыре месяца лишения свободы, переживет зиму, как в санатории, а по весне – на волю. А «правоохранители» получают благодарности по службе за раскрытие преступлений, повышают уровень их раскрываемости. Есть, чем гордиться, чем поразить обывателя в докладе на ежегодном торжественном собрании в День милиции.

Почувствовав вкус к такому раскрытию преступлений, даже если бомж и не нашел сам патроны (не в каждой мусорке хранятся боеприпасы), ему всегда можно в этом помочь. И помогают! Сезонные заезды бомжей в СИЗО – факт, научно доказанный и неоспоримый.

То, с чем не справляются социальные и санитарные службы города – санация этой многочисленной категории граждан, СИЗО выполняет мимоходом, в два счета (прошу прощения, в три счета).

Помните анекдотический вопрос: как засунуть слона в три приема в холодильник? Правильный ответ: раз – открыть холодильник, два – положить туда слона, три – закрыть холодильник.

Как вернуть к цивилизации бомжа в три приема? Ответ: раз – засунуть бомжа в СИЗО, два – сделать из него человека, три – вытолкнуть бомжа (прошу прощения: «гражданина») из СИЗО.

Взаимоотношения в камерах

«Страшна тюремная жизнь... взаимоотношениями,
которые чрезвычайно тонкие, неуловимые, но очень
жесткие, невооруженным взглядом не различимые».
(Александр Новиков)

За время пребывания в СИЗО арестант, как правило, содержится последовательно в разных камерах. Сначала это карантин. Здесь пребывание обычно кратковременное, но, тем не менее, определенные взаимоотношения между сокамерниками успевают возникнуть, возможна взаимная симпатия и даже нечто вроде дружбы.

Это не надо путать с различного рода однополыми связями. В СИЗО это явление, мягко выражаясь, категорически не приветствуют. Любые домогательства такого рода очень резко и решительно пресекаются. Я не то что ни разу не присутствовал, ни разу даже не слышал, чтобы здесь реально состоялся однополый сексуальный контакт. Гомосексуалисты отфильтровываются в отдельные камеры при поступлении их в СИЗО. Номера этих камер все знают, и никто не стремится туда попасть во избежание приобретения специфической репутации, которая будет сопровождать всю оставшуюся жизнь. Широко разрекламированные средствами массовой информации и низкопробной детективной литературой методы наказания провинившихся путем их «опущения» или угрозой такового или суррогатными заменителями (символическими) сексуального насилия здесь просто не существуют. Администрация использует другие методы воздействия.

Самым лучшим физиономистом является «старший» по камере, у него же имеется наиболее полная информация (от оперативника и от других «старших») обо всех, кто в данный момент является его сокамерником. Поэтому он, в пределах возможного, сортирует всех при поступлении и в процессе общежития на тех, с кем можно нормально сосуществовать, и тех, с кем сталкиваться нужно как можно реже. Таким образом, вокруг него (чисто географически) формируется некий социум, занимающий верхний уровень иерархии. Эти лица располагаются на нижнем этаже нар возле окна. Не симпатичные ему индивиды, всякого рода бомжи, алкоголики и другие опустившиеся личности – возле «дальняка». Между первыми и вторыми – просто серая масса ничем не выдающихся арестантов, как бы буферная зона. Чем дольше находится арестант в одной и той же

камере, тем больше вероятность его продвижения по ее внутренней социальной лестнице. Чем ты выше в этой иерархии, тем более упорядочен твой быт: ты можешь без больших проблем постирать одежду, помыться, попить чаю лишний раз, поиграть в настольные игры, почитать что-то и пр. Твое мнение учитывается при выборе для просмотра канала телевидения. Тебя начинают узнавать сотрудники СИЗО и меньше к тебе придираются.

Постепенно все делятся на группы – «семьи». Члены такой «семьи», как правило, объединяют свои продовольственные ресурсы, питаются вместе. Они разделяют некоторым образом функции в «семье», помогают друг другу, основное количество времени общаются друг с другом. Привилегированной является, конечно, группа, в которую входит «старший». Этим лицам позволено многое из того, что не позволено другим: полежать в дневное время, почаще покурить, поесть в неурочное время. В общем-то, весьма безобидные преимущества, но в условиях тюрьмы наличие этих «свобод» позволяет сильно экономить нервную энергию, да и организм поддерживать в приемлемом состоянии (более адекватное питание, возможность делать гимнастику). «Семья», как правило, самодостаточна.

Администрация решительно преследует различного рода поборы (это ее официальная позиция). Поэтому ни «старший», ни кто-либо из его окружения насильно не отбирает продукты, курево или вещи, передаваемые с «воли». В крайнем случае – попросит. Никто, естественно, не откажет, если это не наносит ему большого ущерба с точки зрения его выживаемости. Однако иногда из соседних камер приходят просьбы помочь куревом, чаем или продуктами. Тут уж все, кто может, помогают собрать «посылочку»: ты поможешь сейчас, тебе помогут потом. Это, на мой взгляд, совершенно нормально, но, с точки зрения внутреннего распорядка, – нелегально.

По всему СИЗО, включая и маленькие камеры, очень сильно развито наушничество и доносительство. Для заключенных отряда обслуживания – это возможность продемонстрировать свою лояльность режиму (выслужиться, чтобы получить УДО); для «старших» по камере – возможность доказать свою необходимость и эффективность поддержания режима в камере, гарантия, что его не отправят отбывать наказание в колонию. Для рядовых обитателей камеры – это возможность выслужиться перед «старшим». Зачем? На всякий случай.

Если кто-то вдруг отказался дежурить, об этом мгновенно становится известно «режимнику». С провинившимся немедленно проводят «беседу», результат которой однозначен: у него появляется желание дежурить. Причем, этот результат зачастую виден на его лице и других частях тела.

О появлении запрещенных вещей в камере сразу же становится известно «старшему».

Алексею К. адвокат передал золотой крестик. Тот похвастал этим перед кем-то из соседей по камере. Через час его вызвали к «режимнику», через полтора – он сидел и писал объяснение в трех экземплярах на имя начальника СИЗО, затем его «поставили на лыжи» – перевели в другую камеру (где он автоматически попал на низшую ступень иерархии, новый «старший» был о нем предупрежден). В новой камере он еще дважды писал объяснения, и по нему было заметно, что «беседа» была серьезной. Крестик у него забрали на склад.

В карантине Армэн Д. обнаружил у себя в кармане пятирублевую монету, забытую там и не обнаруженную при обыске. Он ходил и играл этой монетой, машинально подбрасывая и ловя ее (хоть какое-то развлечение в однообразности течения времени). Об этой монете в течение часа стало известно сотрудникам СИЗО. Никто его не бил и не отправил в ШИЗО, но письменных работ на тему происхождения в камере наличных денежных средств он написал достаточно, что, учитывая его национальность, было для него немалым испытанием.

Глядя со стороны, можно подумать, что эти нарушения яйца выеденного не стоят (не пионерский же лагерь, а тюрьма). Но дело не в самих предметах, которые представляют собой какую-то ценность и могут быть использованы для азартных игр (что категорически запрещено: изымают все материалы, из которых можно изготовить карты: картон, цветные авторучки и пр.). Дело в том, что эти предметы каким-то образом попали в камеру, следовательно, система их обнаружения дает сбои, в ней есть ненадежные звенья. Именно эти звенья стремятся обнаружить и избавиться от них (может быть, это сотрудники, не достаточно добросовестно относящиеся к своим

обязанностям), чтобы повысить уровень надежности всей системы охраны. В самом деле, если можно пронести крестик, значит, можно пронести любую деталь такого же размера, например, по частям разобранное оружие, боеприпасы или, чего уж проще, – стреляющую авторучку. А это уже не шалости, а угроза жизни сотрудников СИЗО.

Проводятся даже специальные тренировки личного состава по совершенствованию мастерства поиска запрещенных предметов в камерах. Для этого в одну-две камеры, которые заранее не известны тренирующимся, передают «закладки»: неработающий мобильный телефон, деревянный муляж ножа и т.п. «Старший» по камере должен надежно спрятать их, как это умеют делать только зэки. «Старший» может сообщить об этом приближенным лицам, а может и не сообщить. Наиболее опытные и невредные «старшие» заранее предупреждают дежурящего в этот день по камере арестанта и показывают ему, где спрятана закладка. Фокус в том, что во время «шмона» дежурный присутствует в камере, очевидно, для создания видимости соблюдения прав заключенных: как бы чего не произошло незаконного, ведь понятых с «воли» не приведешь! Остальные зэки, включая «старшего», во время обыска камеры стоят в клетке в коридоре и на его результаты повлиять не могут.

Бригада «специалистов шмона» численностью 4-5 человек должна найти эти предметы. Все разыгрывается, как по нотам: до обеда прячутся «запрещенные» предметы, после обеда – обыск, который предусмотрен графиком занятий. Проводится он по стандартной схеме: арестанты помещаются в коридорную «решку», все вещи и постели вытаскивают в коридор, бросают на пол, и их тщательно осматривают. Другая часть досмотровой бригады орудует в камере. При этом, конечно, они не должны знать, что проверяется их профессиональный уровень. Не должны, но знают. И знают, что именно в этой камере имеется «закладка». Откуда? Добрые люди подсказали. Ведь в следующий раз эти добрые люди сами могут оказаться на месте проверяемых – это во-первых; а, во-вторых, если «закладку» не найдут, это будет предметом особого рассмотрения, за этим последуют дополнительные тренировки, может быть, оргвыводы – кому это надо? Ну и, наконец, существует все-таки какая-то дружба, что ли, между людьми или ее подобие даже в системе всеобщей слежки и доносительства.

Все проводится очень серьезно и мучительно для арестованных (опять раздевание догола) и продолжается достаточно долго, поскольку руководитель досмотровой бригады знает о «закладке» и обязательно должен ее найти. Но никогда не нашел бы: во-первых, его ребята не блещут талантом сыщиков; во-вторых, не испытывают ни интереса к порученному делу, ни азарта, тщательно механически перетряхивают камеру, рассыпая по полу все, что попадается под руку. Попадается все, только не то, что нужно. К тому же, они не знают, что должны найти. Минут через 40-50 это всем надоедает. Зэки топчутся в «решке», мерзнут, желают посетить места, куда даже начальник СИЗО ходит пешком. Сыщики вопросительно смотрят на дежурного по камере, тот прозрачно «намекает», где нужно поискать. И вот он, момент истины! Запрещенный предмет найден.

В чем здесь секрет? Секрета нет, просто такая система всех устраивает. Проверяющий отдает «закладку» доверенному «старшему по камере, затем сообщает стажеру, в какой камере она спрятана, затем, после имитации тщательного обыска, спрятанную вещь находят, демонстрируя высокий уровень профессиональной подготовки. Планы и графики проверок выполняются, профессиональная учеба успешно ведется. Арестанты находятся под постоянным «рентгеновским» контролем. Для начальства, следящего за всем этим со стороны, все выглядит очень убедительно. На местах же эффективность контроля за арестантами основана вовсе не на таких проверках, а на том, что старшими по камерам являются доверенные лица оперативников, их агенты. От их внимания, конечно, не укроется ничто: ни спрятанная в камере вещь, ни попытка установить связь с другими камерами, ни какие-либо нарушения режима. «Старшие» по камерам стимулируются администрацией и поощряются тем, что на их проступки закрывают глаза, то есть в достаточной степени заинтересованы в сотрудничестве, фактически, интегрированы в систему содержания подследственных и оперативной работы с ними.

При первом знакомстве в камере начинают выяснять, из какого района Саратова или облас-

ти ты прибыл. Затем пытаются найти общих знакомых. «Круче» всего, если ты знаком или хотя бы знаешь кого-то из авторитетных криминальных деятелей. Одна только ссылка на известную фамилию может обеспечить более приличное место в иерархии камеры. Самые низкие ступени, чуть выше бомжей, занимают насильники (обвиняемые по ст.130,131 УК РФ) и дезертиры из армии. У них нет никаких шансов подняться вверх. К наркоманам и распространителям наркотиков сейчас относятся спокойно, хотя еще несколько лет назад третировали очень жестко. Очень уж велико представительство в камерах обвиняемых по этим преступлениям: до 50%. Значительная часть этих преступлений просто-напросто спровоцирована работниками Госкомитета по контролю за незаконным оборотом наркотиков. К тому же среди подобных «преступников» очень много «придуманных»: нарвал дикорастущей конопли, высушил, закурил – преступник. Конопля растет везде, везде ее и курят. Если для отчетности не хватает раскрытых преступлений, бери любого мужика в деревне – раскрытие наркопреступления обеспечено. То есть, народ это вменяемый и, в большинстве случаев, порядочный.

Всякого рода «своеобразие» и «неординарность» в камере не приветствуются: никогда не знаешь, чего ожидать от таких людей, одно беспокойство. Такова схема построения системы общественных отношений в камере. Задача каждого арестанта – не выпасть из этого эрзац-социума, не оказаться на обочине, не стать отверженным. Иначе жизнь может стать невыносимой из-за множества мелочей. Всякие формы активного и пассивного протеста: физический отпор, агрессивный нецензурный ответ, демонстративный отказ от пищи, вскрытие вен – встречает категорический ответ со стороны сокамерников и сотрудников администрации и не вызывает никакого сочувствия у окружающих. Никакой солидарности с униженными, гонимыми здесь не существует. Наличие проблем – личная головная боль их носителя. Его прямой обязанностью является ограждение окружающих от своих проблем: их у всех хватает!

Новелла. Светлое трехцветное пятно

«Выйдет кошка на прогулку,
Да пройдет по переулку –
Смотрят люди, не дыша:
До чего же хороша!»
(С.Маршак. Кошкин дом)

Среди сотрудников СИЗО есть и «внештатные»: кошка Машка и часть ее ежегодных выводков, уже выросшие котята. Численность этих «внештатных сотрудников» в сторону увеличения «регулируют» залетные коты, а в сторону уменьшения – начальники. По их поручению при обнаружении очередного выводка ревностные исполнители уничтожают его полностью или же оставляется один из нескольких – продолжатель славных кошачьих дел.

Очередные звания «внештатным сотрудникам» не присваиваются, в отличие от штатных, которым они присваиваются регулярно, даже если они мышей не ловят.

Машка – существо примечательное. Цвет ее комбинированный – черно-рыже-белый. Причем, пятна чередуются не только на теле, но и на морде, и на хвосте. Очевидно, маманя ее была любвеобильной и коммуникабельной. Машка – более строгого нрава, ее сексуальная жизнь более упорядоченная, поэтому котята появляются одноцветные: либо все черные, либо все серые.

Несмотря на обилие пищевых отходов и готовность каждого арестанта накормить ее и детенышей чем-нибудь вкусным, Машка талантливо ловит мышей и крыс. Делает она это по нескольким основным причинам. Во-первых, это ее основная обязанность, манкировать которой не рекомендуется во избежание увольнения со службы вкупе со всеми наследниками; во-вторых, ловля крыс как-то развлекает и отвлекает ее от рутинного процесса воспитания хулиганистых потомков; в-третьих, если крыс не отлавливать, они катастрофически размножатся и могут употребить в пищу саму Машку вместе с малышней и, в-четвертых, не в обиду будь сказано тюремным поварам, крысы – не в пример более вкусная пища, чем тюремная баланда! Причем эти крысы –

сбалансированное питание, что особенно важно, учитывая перманентную беременность Машки.

Поимка Машкой очередной крысы – событие рядовое и даже рутинное. Овладев жертвой, крысоловка приносит ее в первый корпус, под дверь к начальнику корпуса. Некоторое время она сидит неподвижно, как сфинкс, рядом с ней, позволяя всем убедиться в своей уникальности и незаменимости, и томно-расслабленно посматривает по сторонам, демонстрируя крайнюю степень утомления на поприще государственной службы. Потом кошачье берет свое: она некоторое время играет с тушкой, а затем начинает ее кушать. Об этом можно рассказать и поподробнее.

Однажды, когда нас в очередной раз привезли из ИВС, мы стояли, плотно спрессованные, во входной «решке». Вот тут-то Мария и притащила очередную свежую жертву. Все присутствующие восхитились ею и размерами убитой крысы. Восхищениям не было конца до того момента, пока Маня не приступила к трапезе. Тут некоторым слабонервным бандитам и насильникам с особенно тонкой душевной организацией стало не по себе. Даже натурально стало плохо от хруста ломаемых зубами костей и вида капающей алой крови из растерзанного брюха крысы. Самые стойкие делали вид, что им все по фигу, и такое зрелище они видят чуть ли не каждый день. Тем не менее, восхищенные восклицания сменились сначала некорректными просьбами: «Брысь, падла!» А затем, когда Маша с невинным видом, говоря, кажется: «Не отнимете, гады!» – потащила частично растерзанную тушку, с которой капала кровь, с волочащимися за ней кишками на трубу, расположенную над головами стоявших в решке зэков, эти ребята показали-таки свою истинную сущность. Они орали, плевались, прыгали и махали руками. Причем, набитая битком «решка» мгновенно стала пустой в месте, над которым трехцветная красавица употребляла на первое, второе и третье сбалансированного грызуна.

Сообщество тюремных приматов уже трижды повторило весь свой матерный репертуар, но, пока внутри симпатичной мордашки не исчез кончик голого хвоста, физиономия мохнато-хвостатого триколора светилась сознанием добросовестно исполняемого долга и не двигалась с места.

Затем, уже полностью удовлетворенная, не обращая внимания на дрыгания толпы уродов, стоящих на социальной лестнице тюрьмы неизмеримо ниже ее, она удалилась в направлении одной ей известных потаенных мест, где можно нормально отдохнуть от государевой службы.

Эпилог

В нашей стране – самое большое число работников правоохранения на тысячу жителей. И самое большое количество заключенных на ту же тысячу. Закономерно возникает вопрос: может быть, просто второе закономерно вытекает из первого? В результате перехода большого количества в негодное качество? Видимо, выгодное это дело – непрерывно содержать за решеткой около миллиона дееспособных мужиков, а для выполнения предначертаний правящей партии привлекать такое же количество гастарбайтеров. Для кого выгодное? Давайте подумаем вместе!

Вадим ЯРМОЛИНЕЦ

ОДЕССКИЙ УЗЕЛ ШКЛОВСКОГО

Школа есть – школы нет

Статья Виктора Шкловского «Юго-Запад» появилась в первом номере «Литературной газеты» за 1933-й год и положила начало разговору, продолжающемуся по сей день. Как и 78 лет назад, на поставленный автором вопрос – существует ли Юго-западная литературная школа и, если существует, то где следует искать ее корни – толкового ответа нет.

В качестве центра школы Шкловский назвал Одессу, что дало повод назвать школу Южно-русской – по аналогии с существовавшим в Одессе Товариществом южно-русских художников, а затем и просто Одесской. В статье прозвучали имена таких авторов как И. Бабель, Л. Славин, И. Ильф и Е. Петров, Ю. Олеша, В. Катаев и Э. Багрицкий. Название для статьи Шкловский позаимствовал у Багрицкого – так назывался его поэтический сборник 1928-го года. Но термин «Юго-запад» был в ходу и раньше. В Киеве, например, в начале века выходил журнал «Юго-западная неделя».

По мнению Шкловского, корни этой школы следовало искать в западной, левантинской, средиземноморской культуре. Авторов-одесситов он сравнил с александрийцами, грекоязычными поэтами египетской Александрии.

Статья «Юго-Запад» появилась в преддверьи Первого съезда советских писателей, ознаменовавшего начало новой литературной эпохи, когда единственным приемлемым методом становился социалистический реализм. На Шкловского спустили ведущих советских культуртрегеров, и дискуссия завершилась, как и полагалось театрализованным постановкам тех лет, покаянием зачинщика. Подписанное Шкловским «Письмо в редакцию» было опубликовано 29 апреля 1933 года в той же «Литературке» и начиналось словами:

«Я хочу в точной форме снять свою статью «Юго-Запад». В основе этой статьи лежит ориентация на Запад, причем на Запад, воспринятый не критически. Не переработанный с точки зрения рабочего класса».

Торжество идеологии над литературоведнием так и не позволило ответить на вопросы, поставленные Шкловским, развить намеченные им пути исследования одесской литературы первой трети XX века.

Парадоксальным образом исследование, проведенное вне идеологической сферы и в более спокойное время, чем 30-е прошлого века, может подтвердить то, что оппоненты Шкловского были правы – Одесской школы нет.

И, тем не менее, в общественном сознании явно присутствует мнение, что одесситы пишут как-то по-особенному, что и позволяет объединить их в некую если не школу, то группу. Так в чем же особенность этой группы?

Большой фонтан на ровном месте

Шкловский начал статью с признания – «традиция этой школы остается невыясненной». Легко было бы заявить, что критик ошибался, если бы только ничего не знать о характере Виктора Борисовича. Тот не раз демонстрировал умение менять мнение на противоположное. Трудно представить, что Шкловский не знал о существовании в предреволюционной Одессе насыщенной литературной среды со своими звездами отнюдь не районного масштаба. Сегодня эти авторы забыты, но в предреволюционные годы российскому читателю были хорошо известны имена Осипа Рабиновича, Семена Юшкевича, Александра Федорова, короля фельетона – Власа Дорошевича, его коллеги-сатирика Дона Аминадо, прославившегося на сионистстком поприще прозаика и журналиста Владимира Жаботинского.

Если говорить о публикациях как о показателе известности, то в 1850-х проза О. Рабиновича печаталась в петербургских журналах «Современник», «Русское слово», «Библиотека для чтения», в московском «Русском вестнике». Проза С. Юшкевича – в журналах «Русское Богатство», «Восход», «Мир Божий», «Журнал для всех», сборниках горьковского «Знания». В Москве и Петрограде выходили собрания его сочинений – в семи томах (1903–1908), а затем и полное – в четырнадцати (1914–1918). Пьесы С. Юшкевича ставили Александринский

театр и МХТ. О нем положительно отзывались А. Блок, В. Ходасевич, А. Чехов. В 1927-м году на его похоронах в Париже Иван Бунин сказал: «Навсегда уходит из нашего мира человек большого таланта и сердца, которого я знал чуть не тридцать лет...». Последнее издание бестселлера Юшкевича «Леон Дрей» имело место в 1929-м году в СССР.

Родившийся в Саратове А.М. Федоров значительную часть жизни провел в Одессе и сыграл в ее литературной истории немалую роль. Он был журналистом, романистом, поэтом, переводчиком, драматургом – его пьеса «Бурелом» шла на сцене Александринского театра. Его собрание сочинений в семи томах увидело свет в Москве (1911–1913). В Одессе Федоровы владели загородным домом на Даче Ковалевского, где постоянно принимали столичных литературных гостей. Федоровская дача была магнитом для многих, в том числе и для молодых одесских литераторов. Здесь Катаев встречался с Буниным – частым гостем Одессы. Трагическая история семей Федоровых и их соседей – Ковалевских (давших название району) легла в основу его повести «Уже написан Вертер» и затем – выдающегося краеведческого комментария к повести, сделанного одесским исследователем Сергеем Лущиком. С Федоровым был знаком и Олеша, чьи ранние «Майские стихи» (1917) посвящены ему и кончаются так:

А со скамьи на солнцепеке
Видны зеленые моря,
И в небе дальний и высокий
Огнистый крест монастыря.

Это не набор красивых образов, такова панорама, открывавшаяся с высокого Больше-фонтанского берега, где находилась федоровская дача и рядом с ней – Свято-Успенский монастырь, купола которого видел Олеша.

Не без помощи Федорова должность западноевропейского корреспондента «Одесского листка» – крупнейшей нестоличной газеты России – досталась молодому одесскому журналисту Владимиру Жаботинскому.

Одесса была одним из любимых городов Бунина. Через нее он отправлялся в свои путешествия на Ближний Восток и в Италию, через нее возвращлся в Россию. Он подолгу жил на одесских дачах, здесь он вступил в 1898-м году в брак с Анной Цакни – дочерью владельца и редактора «Одесского обозрения» Н.П. Цакни. Бунин был связан дружескими узами с Юшкевичем и Федоровым, он подтолкнул известного одесского художника Петра Нилуса заняться литературным трудом. В «Книге прощания» Олеша вспоминает, как он был представлен Бунину его товарищем Валей Катаевым.

В 19–20-м годах в Одессе оказалось много столичных литераторов, бывавших на вечерах популярного в Одессе литературно-артистического общества – «Литературки», где молодежь пересекалась с именитыми мастерами. Эмигрировавший из Одессы в 1920-м году одесский литератор Александр Биск вспоминает:

«В Одессу (...) начали прибывать писатели, бежавшие из Петербурга, Москвы и других городов. Алексей Толстой, Наталья Крандиевская, Максимилиан Волошин, Бунин, Алданов...»*

На заседаниях «Литературки», как сообщает Биск, Толстой читал только что написанную пьесу «Любовь – книга золотая», а Волошин – «Святую Русь».

Для нас важен другой фрагмент из тех же воспоминаний Биска:

«Я рад отметить, что мы особенно чутко относились к молодым, все они были полноправными членами «Среды».** Из нашего кружка вышли на широкую литературную улицу Эдуард Багрицкий, Юрий Олеша, Валентин Катаев, Адалис, Анатолий Фиолетов, который умер совсем молодым. Мы работали с ними, выслушивали их первые вещи».

Почему Шкловский проигнорировал факт тесного общения хорошо известных ему начинающих литераторов с маститыми авторами? Объяснений может быть несколько. Шкловский, активно участвовавший в формировании новой советской литературы 20-х, не считал старую одесскую литературную среду достойной внимания. Она свое отжила, время требо-

** Из воспоминаний эмигрировавшего из Одессы в 1919-м году поэта Александра Биска «Одесская Литературка». (В сборнике «Дом князя Гагарина». Одесса, 1997.)*

*** Кружок «Среда» был, по определению Биска, «государством в государстве». Входя в «Литературку», он был создан для профессиональных встреч узкого круга литераторов, поскольку открытые вечера «Литературки» были слишком многолюдны. «Среда» просуществовала с 1917 г. по 1920 г.*

вало новых форм и идей. Но может быть, дело в другом – Юшкевич, Федоров, Бунин, многие другие стали эмигрантами. О них лучше было не вспоминать. Они были не только неинтересны передовому литературоведу, но и опасны. И свое апрельское 1933-го года «Письмо в редакцию» Шкловский закончил так:

«Острота разговора вокруг статьи объясняется тем, что ее ошибка имеет свои перспективы, если на ней настаивать, то получилась бы подмена вопроса о наследовании констатацией прямого продолжения определенным отрядом советской литературы одного из направлений буржуазной литературы. Одновременно такая констатация, притом неправильная, может задержать перестройку советского писателя, вернуть его к старым позициям. Статья неправильная политически и методологически и поэтому вредная».

В целом это продолжало лефовскую тему Шкловского – учиться у мастеров прошлого не обязательно, тем более у представителей «буржуазной литературы». Поэтому он и начал создавать историю литературы этого города, пролистнув несколько ее очень значительных глав. Связь с Западом, Левантом и Александрией он, видимо, счел менее опасной. Эта несправедливость не исправлена по сей день. Для многих россиян основоположником одесской литературы является автор «Одесских рассказов» – Исаак Бабель. Он – безусловный корифей одесской литературы, но не ее основоположник.

Одесское наследство

В статье «Юго-Запад» Шкловский решительно отверг попытку автора романа «Наследник» одессита Льва Славина объяснить генеалогию своего героя Сергея Иванова. Шкловский счел эту попытку искусственной. Между тем, она может иметь основополагающее значение для понимания генеалогии одесской литературы.

Отец Сергея – проигравшийся в карты дворянин Николай Алексеевич Иванов – кончил самоубийством, мать – Сарра Абрамсон, перешедшая в православие и сменившая имя и отчество на русские, умерла от чахотки, один дед – граф Шабельский, второй – торговец зерном Абрамсон. Славин, не желая предоставлять трактовку этой генеалогии кому бы то ни было из будущих критиков, поручил это сделать одному из персонажей романа. И тот говорит Сергею: «Вы даже не человек. Вы выдуманы. Вы выдуманы Чеховым. (...) Все это персонажи из драмы Чехова “Иванов”».

Чтобы ситуация не выглядела слишком уж анекдотически, Славин позволяет старику Шабельскому дать более подробные разъяснения, и тот вспоминает, как поведал историю семьи известному писателю, т.е. Чехову, который коварно использовал ее, сохранив даже имена, поскольку они де – общие типы.

Зачем Славину понадобилась такая, действительно, искусственная конструкция? Славин создал героя, находящегося в процессе социального усовершенствования. Он может продолжить русскую дворянскую линию, а может – еврейскую коммерческую, но он отказывается от обеих составляющих своего наследства. Обе одинаково бесполезны для построения нового общества, которому он, и его автор, всецело отдают себя. Сергей Иванов – антипод Николая Кавалерова. Он не завидует полезным людям новой эпохи, он становится одним из них на условиях тех, кто определяет степень людской полезности. Но для нас в генеалогии Сергея Иванова важно то, что его отец – русский дворянин, а мать – крещенная еврейка из торгового сословия. Культура Сергея – русская, поскольку единственная связь с еврейством – через мать – прервана ее крещением. Ассимиляция через принятие православия или же ассимиляция культурная – типична для Одессы.

Представление о степени ассимиляции одесского еврейства можно почерпнуть в «Воспоминания детства и юности 1904–1919 гг.» сына видного сиониста Менахема Усышкина – Шмуэля:

«Еврейское население Одессы обладало собственным характером, не похожим на характер евреев из других мест в России. Самым заметным отличием было ослабление традиционной еврейской жизни, бытующей в еврейских местечках. (...) Многие годы, еще до революции, говаривали ортодоксальные евреи: «За 70 верст от Одессы пылает геенна огненная». (...) Разумеется, и в Одессе было много ортодоксальных евреев, но они не выделялись, и их влияние на общину было ничтожным.

Еще один фактор, отличающий еврейскую общину – язык идиш, он не был распространен в Одессе. Для большей части еврейского населения разговорным был русский язык, а молодое поколение еще больше отдалялось от идиша».*

Ассимиляция – значительная составная одесской литературной традиции. Она ярко проявилась в творчестве Семена Юшкевича, а затем – Бабеля и Славина. Хотя само понятие ассимиляции обычно распространяют на еврейство, она коснулась и поляка Олеши. В то время, как его семья репатриировалась, он остался в России. Эти авторы были крещены русской литературой. Чехов в романе Славина – не случайная фигура, он – представитель той литературы, на которую ориентировались молодые одесситы.

У оставшихся в Союзе авторов-евреев за культурной ассимиляцией последовала идеологическая. За ней не обязательно стоял циничный прагматитизм или страх. Новое искусство всегда революционно, всегда в оппозиции к своим предшественникам.

«Зачем вы посадили сюда эту старую ворону? Дайте дорогу нам, молодым!» – Этот призыв молодого хулигана – Эдички Багрицкого прозвучал в 1919-м году на собрании одесских литераторов и был обращен к председательствовавшему на нем редактору авторитетного журнала «Театр и искусство» Александру Кугелю. Последнему было тогда 55 лет.**

«Мысли, высказанные в статье, неверно ориентируют в вопросе о наследстве», – каялся Шкловский в «Письме в редакцию». Это так. Шкловский неверно ориентировал своего читателя в вопросе о наследстве одесских литераторов. Он не сообщил им ни о еврейских корнях одних авторов, ни об ориентации на классическую русскую литературу других. Больше 30-ти лет прошло после появления статьи «Юго-Запад», прежде чем заговорил о своем наследстве Валентин Катаев, рассказав в «Траве забвения» о встречах с Федоровым, об уроках Бунина, о работавших в Одессе Семене Юшкевиче, Власе Дорошевиче и других. У нас нет оснований говорить, что молодые одесситы стали продолжателями уже существовавших художественных традиций или подхватили наработанные стилистические приемы, но трудно представить, что их задокументированное общение со старой одесской литературой не оказало на них вообще никакого влияния.

Одесский говор как характеристика стиля

Термин «литературно-художественная школа» предполагает единство стиля, соблюдение оговоренных художественных принципов, наличие задающего тон лидера. Применимы ли эти принципы к одесским авторам? Предположим, что наиболее яркая характеристика одессита – его специфический говор, и именно его присутствие в тексте является основой одесского литературного стиля.

Одесский говор звучал в текстах Осипа Рабиновича, Семена Юшкевича, Власа Дорошевича задолго до того, как он зазвучал у Исаака Бабеля. Но к тому времени, как Бабель создал своих супер-героев – Бенциона Крика, Фроима Грача и Любку Казак, то есть к середине 20-х годов прошлого века, о прозе его предшественников начали забывать. Потом страна в течение двух десятков лет забывала самого Бабеля. Когда оттепель вернула его читателям, причем вернула с триумфом, как возвращают мученика, имена Рабиновича, Юшкевича и Дорошевича были забыты начисто. Это забвение и принесло Бабелю титул первооткрывателя одесского говора, создателя одесской литературы. Между тем, еще в 1927-м году критик Андрей Левинсон писал в сборнике памяти умершего в Париже Семена Юшкевича:

«...лингвистическая оригинальность писаний Юшкевича, которая есть не прихоть, не идивидуальный стиль, а живая разновидность русской речи, типический “идиом” еврея, изъясняющегося по-русски, оставаясь евреем. Говор этот, служащий поныне для языкового общения целого поколения и класса русского еврейства, есть ни что иное, как преломление семитического темперамента и внутреннего уклада сквозь формы русского словаря.

Слова те же, но синтаксический порядок иной, ибо диктуемый иной логикой, иными импульсами; но изменен не только порядок.

* *Альманах «Морія». №10, 2008. Одесса*

** *А. Биск «Одесская Литературка».*

Самая артикуляция этих слов, тембр голоса, окрашивающий их звучность, а главное ударения на них, ряды акцентов, определяющих выражение, вибрацию, напев их, все это образует как бы новый язык [...] самое словоупотребление, смысл привычных выражений видоизменяется в том “иудео-славянском” наречии, которое так чутко подслушано было Юшкевичем со всеми его “обертонами” юмора и скорби».*

Такое объяснение как «преломление семитического темперамента и внутреннего уклада сквозь формы русского словаря», требует большей конкретности, а ссылки на артикуляцию, вибрацию и обертоны не вполне убедительны. Артикуляция ¬– большое, конечно, дело. Но замените в любом еврейском анекдоте Мойшу на Мишу, лишите его выраженного еврейского акцента – и анекдот перестанет быть еврейским. В печатном тексте интонация слышна не так явно, как в устной речи, но «еврейскость» языка хорошо проявляется через нетипичную для русского языка грамматику. Влияние на одесский говор немецкой грамматики отметил Влас Дорошевич в фельетоне «Одесский язык». Он был опубликован в 1895-м году. Бабель, напомним, родился в 1894-м.

«О, добрые немцы, которые принесли в Одессу секрет великолепного приготовления колбас и глагол “иметь”.

– Я имею гулять.

– Я имею кушать.

В Одессе все “имеют”, кроме денег».

И действительно, послушайте, как говорят люди из окружения бабелевского Короля из рассказа «Как это делалось в Одессе».

«Слушайте, Король, – сказал молодой человек, – *я имею* вам сказать пару слов».

Это же немецкое влияние на одесский говор можно проследить в чрезмерном и нетипичном для русского языка использовании притяжательных местоимений. Вот пример из памятного письма Бени Крика одесскому предпринимателю Рувиму Тартаковскому из того же бабелевского рассказа:

«В случае отказа, как вы это *себе* в последнее время стали позволять, вас ждет большое разочарование в *вашей* семейной жизни».

Тут требуется уточнение. Дорошевич говорит о немецком влиянии, но в действительности влияние оказывал язык идиш, в основе, которого лежит немецкий. Даже при наличии в районе Одессы сел немецких колонистов, трудно сказать, что они могли оказать такое же влияние на одесский говор, как многократно превосходящая немецкую общину еврейская, проникающая во все сферы городской жизни: коммерцию, политику, науку, искусство. Говоря по-русски, евреи использовали синтаксические конструкции и лексику идиша. Этот «прием» подхватывало в повседневном общении многонациональное по своему составу простонародье. Представьте себе одесский рынок, куда свозят продукты крестьяне, говорящие на румынском, болгарском и в первую очередь – на украинском, который оказал столь же значительное влияние на формирование одесского говора, что и идиш.

«Беня говорит мало, но Беня говорит смачно».

«Смачно», в переводе с украинского – «вкусно».

«–Месье не скучает за театром?

– Зачем же я должен скучать за театром? Я скучаю дома.

Вы удивлены, потому, что за театром в Одессе находится Северная гостиница, где далеко не скучают. На одесском воляпюке скучают обязательно «за чем-нибудь». Публика скучает «за театром», продавцы «за покупателем», жёны «за мужьями»».**

Дорошевич как бы игнорирует то, что по-украински скучают не «по», а именно «за».

Но у кого еще из одесситов-сверстников Бабеля звучит этот говор? У Льва Славина – в пьесе «Интервенция», а затем – в сценарии «Два товарища». В прозе – ни у кого больше. И это объяснимо. Одни авторы, ориентируясь на лучшие образцы русской литературы, считали этот говор недостойным использования, другие всемерно избегали его как проявления провинциализма. Что позволяет нам сказать, что одесский говор не является общей характеристикой прозы одесских авторов 20–30-х годов. Что до одесских рассказов Бабеля, то их можно рассматривать как продолжение традиции русско-еврейской литературы. Пред-

* *Юшкевич Семен. Посмертные произведения. Париж, 1927.*

** *В. Дорошевич. «Одесский язык».*

ставители этой традиции не скрывали своего еврейства, не стеснялись его, не были «самоненавидящими», в чем их иногда обвиняли, они просто осваивали в русской литературе свою тему, сделав ее составной частью русской литературы. В этом – неизбежность имперской культурной центростремительности.

Учеба методом отталкивания

То, что Бабель был знаком с творчеством Юшкевича, кажется очевидным. Один из наиболее популярных одесских рассказов Бабеля носит то же название, что и самая нашумевшая пьеса Юшкевича – «Король». В названии пьесы Бабеля «Закат», рассказывающей о деградации еврейской семьи, слышен отзвук названия повести Юшкевича «Распад», посвященной той же теме.

Известно, что когда Бабель делал первые шаги в литературе, его покровителем стал Горький. Почему именно он? В сборниках горьковского товарищества «Знание» участвовал Юшкевич. Он даже посвятил Горькому повесть «Евреи» (1906), сюжетно перекликавшуюся с горьковской повестью «Трое». Горький ценил в Юшкевиче бытописателя еврейства, и совсем не исключено, что направляясь к Алексею Максимовичу, Бабель понимал, что по крайней мере тематически он является преемником Юшкевича, поэтому может рассчитывать на поддержку.

Интереснейшее замечание делает американский исследователь А.К Жолковский:

«Влияние Юшкевича на Бабеля не следует ни преуменьшать, ни преувеличивать. Он принадлежал к бескрылому, уныло-натуралистическому прогрессивному направлению, группировавшемуся вокруг «Знания», и не исключено, что это его многословный перепев «Милого Друга» (нашумевший в России роман «Леон Дрей» – В.Я.) Бабель имел в виду, выводя в своем лаконичном мета-«Мопассане» Раису Бендерскую, в переводе которой «не осталось и следа от фразы Мопассана», ибо она «писала утомительно правильно, безжизненно и развязно – так, как писали раньше евреи на русском языке».*

Бабель, как известно, был франкоманом. Его первые литературные опыты, предпринятые в 15-летнем возрасте, были на французском. Мемуарист русского зарубежья Александр Бахрах в очерке «Беня Крик и его папа» отмечает, что Бабель говорил на прекрасном литературном французском и, не в пример многим русским парижанам, без акцента. Бабель сам переводил Мопассана и редактировал переводы, сделанные для первого советского издания Мопассана. Юшкевич, получивший образование в Сорбонне, скорей всего читал Мопассана в подлиннике и ощущал личную причастность к Фрации и ее литературе, а стало быть и право на ее интерпретацию для русского читателя. «Леон Дрей» был написан под влиянием супер-популярного французского романа на русско-еврейском материале. Бабель, который был на 30 с лишним лет младше Юшкевича, мог смотреть на того, как на автора, донесшего до российского читателя второсортный продукт. И этот продукт не переставал напоминать о себе! Роман был настолько популярен, что последний раз его переиздали в 1929-м году. Тогда его ответом Юшкевичу мог стать блестящий рассказ «Гюи де Мопассан», который был в свою очередь переработкой мопассановского сюжета. Это – лишь предположение. Об истинном отношении Бабеля к Юшкевичу нам не известно ничего.

Александрийцы и антиалександрийцы

В «Юго-Западе» Шкловский сравнивает одесситов с александрийцами – эллинскими поэтами, жившими в египетской Александрии III-IV веков нашей эры, и, «не считавшими себя ни греками ни египтянами».

Действительно, ситуацию многонациональной Александрии, где языком культурного общения был греческий, можно соотнести с ситуацией многонациональной, но русскоговорящей, Одессы. Но лишь настолько, насколько отношения провинции и центра типичны для любой империи, будь то империя Птолемеев, Романовых или Габсбургов. Государственный язык любой империи является языком культурной элиты всех населяющих ее этносов. Но если этой элите выпадает жить в провинции,

* *А.К. Жолковский, М.Б Ямпольский. Бабель/Babel. «Carte Blanche». М, 1994.*

то отдаленность от центра порождает у нее ощущение независимости и скептическое отношение к официальному имперскому курсу. Это лишает творчество провинциалов задач, свойственных столичным литераторам, в той или иной степени зависящим от власти, солидаризирующимся с ней или с ее политической оппозицией. И провинциалам-александрийцам было свойственно отсутствие гражданственности. Насколько эта характеристика применима к интересующей нас плеяде одесских авторов?

Тематически творчество одесситов 20–30-х годов прошлого века зеркально отразило общественно-политическую ситуацию в стране. Их бегство из провинции у моря в столицу можно рассматривать как отказ от александрийского типа творчества – искусства ради искусства, бесконечного совершенствования формы в ущерб актуальности содержания. Одесситы стремились получить «правительственный» заказ и готовы были выполнить его на условиях заказчика. Каждый сдавал свою независимость по-разному. Славин и Катаев – быстрее. Бабель умудрялся до конца вести двойную литературную жизнь. Поднявшись на трибуну первого всесоюзного писательского съезда, он призвал коллег учиться работе со словом у великого Сталина. То, что этот призыв был жизненно необходимой демонстрацией преданности вождю, не меняет дела. Эта демонстрация свидетельствовала о готовности к уступкам и компромиссам. Но именно этот тип поведения позволил Бабелю в страшном 37-м опубликовать в «Огоньке» один из своих шедевров – рассказ «Ди Грассо».

Параллель одесситов с александрийцами нарядна и привлекательна. Культура, как виноградная лоза – чем глубже корень, тем благородней вино. Но у одесской лозы были совсем другие корни, к другому солнцу тянулась она и, увы, она недолго плодоносила на московской почве – десятилетие от силы. Но кто станет спорить с тем, что это десятилетие было в высшей степени урожайным? «Справка», «История моей голубятни» (1925), «Конармия», «Зависть» (1927), «12 стульев» (1928), «Золотой теленок» (1931), «Гюи де Мопассан» (1932), «Ди Грассо» (1937). Трудно утверждать, но вряд ли эти произведения состоялись бы, останься их авторы дома. Эпоха губила, но и поднимала.

Левантинский плут Чичиков

«Одесские левантинцы – люди культуры Средиземного моря – были, конечно, западниками. Двигаясь к новой тематике, они пытались освоить ее через Запад», – писал Шкловский. Но, кажется, трудно найти в начале XX века более многообразное литературное явление и, соответственно, более расплывчатый литературный термин, чем «Запад». В это время на Западе пишут Моэм и Джойс, Хемингуэй и Миллер, Кафка и Гашек, Набоков и Пруст. Даже этого шорт-листа более чем достаточно, чтобы превратить «Запад» Шкловского в пыль. Но Шкловский делает важное уточнение: предтечу «превосходнейшего приключенческого романа» Валентина Катаева «Растратчики» и дилогии Ильфа и Петрова он видит в «левантинском романе о плутах, которые похожи друг на друга во всем мире, во всяком случае в мире Средиземного моря». Попутное замечание – комплимент второразрядной, но «своевременной» повести Катаева, не делает комплимента самому Шкловскому, зато указывает на наличие у него отменного идеологического нюха. Или совершено дружеского чувства к веселому и умному соседу по дому, за чьим столом постоянно шумят полезные мира сего. Можно ли судить этих махровых прагматиков, памятуя слова Надежды Мандельштам о том, что не было в Москве второго такого дома, как дом Шкловского, открытого всем отверженным, или того, что за тем самым катаевским столом предпринимались рискованные по тем временам попытки вернуть опального поэта в столицу, дать ему работу?* Но не будем отвлекаться.

Шкловский говорит о том жанре западноевропейской литературы, который известен нам не как левантинский роман о плутах, а как плутовской роман. Связь его с Левантом (восточным Средиземноморьем) притянута, как говорится, за уши. Плутовской роман пришел в Европу действительно с востока, но не через

** Надежда Мандельштам рассказывает в «Воспоминаниях», как осенью 37-го Шкловский и Катаев «сводили» опального Мандельштама с уже влиятельным Фадеевым, чтобы последний помог поэту остаться в Москве и получить работу. Встреча состоялась в квартире Катаева. Результата приватного разговора между Катаевым и Фадеевым Мандельштамы ждали несколькими этажами выше в квартире Шкловских.*

Левант. Отцом жанра, известного в арабском мире как макама, является живший в Персии X века Бади аль-Залман аль-Хамади. Его перу принадлежит собрание из 52 не связанных друг с другом историй о похождениях остроумного жулика Абу аль-Фат аль-Искандери, ставшего прототипом веселых плутов всех стран и народов, в том числе и Остапа Бендера.

В начале XIII века живший в Испании раввин, поэт и литературный критик Егуда бен Соломон Алхаризи перевел персидского автора на иврит, назвав свой текст «Махберот Итти'ел», а затем создал собственный сборник макам – «Сефер Тахемони». Задача, которую ставил себе Алхаризи, невероятно интересна для нашего исследования. Пражулик Абу аль-Фат аль-Искандери блистал красноречием. Харизи хотел продемонстрировать еврейскому читателю, что его герой не уступает в красноречии потомку Ишмаэла. Таким образом красноречие не было уникальной «одесской» характеристикой Остапа. Оно было чуть ли не главной характеристикой литературного плута.

За Харизи последовал Йосеф ибн Забара из Барселоны, написавший на иврите «Сефер ша'ашу'им» – «Книгу развлечений». Он внес существенную коррективу в композицию, придав историям линейную последовательность. Два столетия ушло на то, чтобы жанр перекочевал в испанскую литературу. В 1535-м году увидел свет первый европейский плутовской роман «Жизнь Ласарильо из Тормеса и его удачи и неудачи». Его автор предпочел сохранить инкогнито, невзирая на произведенный фурор. Роман перевели на главные европейские языки, после чего распространение жанра пошло быстрей. В России большим успехом пользовался лесажевский «Жиль Блаз». В 1814-м году появился «Российский Жилблаз, или Похождения князя Г. С. Чистякова» Василия Нарежного. В 1821 году Фаддей Булгарин создал первый российский бестселлер – «Иван Выжигин». Его тираж добрался до рекордной по тем временам отметки – 10 тысяч экземпляров!

На европейской почве плутовской роман включил элемент сатиры. Герой-плут из Персии водил за нос одного и того же человека – рассказчика. Его европейский собрат отправился на поиски новых жертв. То, что каждая очередная жертва воплощала в себе другой порок, позволило автору бичевать общество в целом. Наиболее известным плутовским романом российской литературы стали «Мертвые души». Плут Чичиков переезжает от помещика к помещику, раскрывая читателю карикатурность этого сословия во всех мыслимых проявлениях. В этом плане функция Бендера и Чичикова совпадают на 100%. Интересно, что сам Гоголь, обозначивший жанр романа как «поэма», дал ему название, свойственное именно авантюрному жанру – «Похождения Чичикова или Мертвые души».

К тому времени, когда Ильф и Петров взялись за свой совместный труд, плутовской роман был таким же явлением русской литературы, как и западно-европейской. Интересна еще одна паралелль между поэмой о Чичикове и дилогией о великом комбинаторе. Романы Ильфа и Петрова нередко обвиняют в фельетонности. В своих дневниковых записях Бунин охарактеризовал поэму Гоголя как «талантливый шарж».

То, что дилогия о великом комбинаторе абсолютно вписывается в жанр плутовского романа – неоспоримо, но можно ли сказать, что его влияние распространилось на всю Юго-западную или Одесскую школу? Нет. Бабель, Славин, Олеша этому влиянию оказались неподвержены. Да и «Растратчиков» трудно вписать в жанр, требующий от автора большей изобретательности (или таланта?), чем проявил Катаев. К слову о таланте, в своих поздних автобиографических произведениях Катаев беспрерывно жалуется на то, что был наименее талантливым из своих земляков. Кокетство-кокетством, но он не мог этого не сознавать, да и признать это оказалось не очень сложным в отсутствии более талантливых – на безрыбье и рак рыба.

Интересно, что остапоподобный тип вернулся в постсоветскую русскую литературу, причем снова в эпоху большого социального сдвига, выпавшего на последнее десятилетие XX века. Это – переквалифицировавшийся из геолога в бизнесмена Жохов из великолепного романа Леонида Юзефовича «Журавли и карлики» и его «двойник» из паралелльной истории – подьячий Анкундинов, выдающий себя за сына царя Василия Шуйского. Своей головокружительной находчивостью, уме-

нием сочинять на ходу дивные истории и феноменальной жизнестойкостью пара еще раз подтвердила, что классический литературный плут совсем не должен быть одесситом, хотя одессит, конечно, может быть плутом.

Герой места и времени

Понятно, что автора нельзя отнести к школе лишь по факту его рождения или временного проживания там, где она существует. Никто пока не отнес к южно-русской школе родившуюся в Одессе Ахматову. Равно и краткосрочное пребывание в Одессе не сделало представителем этой школы Пушкина или позже – Бунина. О том же говорит и Шкловский:

«Конечно, не география определяет литературные школы. Но социальные отношения в определенном географическом пункте в определенное время своеобразны, и тут надо помнить и о географии».

Попробуем пойти по намеченным Шкловским ориентирам, начав с географического, взяв Одессу как место литературного действия, и специфичным для данного места социальным обстоятельствам, формирующим свой тип литературного героя. Одесса начала XX века – процветающий портовый город с международными связями. Через него идет беспрерывный поток зерна и колониальных товаров. По его центральным улицам, так похожим на улицы европейских городов, ходят люди, одетые по последней европейской моде. В его Городском театре выступают звезды итальянской оперы. Здесь есть Малоарнаутская улица, где действуют десятки подпольных цехов, производящих модный товар для тех, кто не в состоянии отличить его от фирменного. Здесь есть завод шампанских вин Генриха Редерера и даже свой завод аэропланов и гидропланов Артура Анатра! Десятки гастрономов, ресторанов, кофеен и кондитерских под французскими, итальянскими, немецкими и греческими вывесками, предлагают своим клиентам импортные деликатесы.

«Образ Одессы, запечатленный в моей памяти, – это затененная акациями улица, где в движущейся тени идут полукругом по витрине маленькие иностранные буквы, – пишет Олеша в «Книге прощания». – В Одессе я научился считать себя близким к Западу».

Это – очень важное, в контексте западнической теории Шкловского, наблюдение. Олеша, как и многие одесситы, воспринимает свою причастность к Западу с детства, но не через культуру и оригинальные тексты западных авторов, а через вывески и ярлыки!
Одновременно с импортными деликатесами щедро льется на городские рынки поток крестьянских продуктов из окружающих Одессу сел. В этом городе есть решительно все, включая налетчиков, которые занимаются перераспределением вышеописанных благ. Естественно, некоторые из них не лишены характерного для этого города лоска, что придает им особую привлекательность. Бабель эту привлекательность усилил до такой степени, что черты его налетчиков в сознании миллионов читателей в той или иной степени распространились на всех одесситов. Казалось бы: что так могло привлечь его в обычных уголовниках?

Ответ стоит искать в биографии человека, послужившего прототипом для короля налетчиков Бени Крика – Мойсея Винницкого, известного под прозвищем Мишки Япончика. До революции Винницкий был анархистом, участвовал в эксах и угодил на каторгу. После революции вернулся в Одессу, собрал группу местных уголовников и стал грабить и обкладывать поборами состоятельных горожан. Весной 1918-го года покидавшие город красные учинили еврейский погром. Предполагая, что такое может повториться, Винницкий собрал несколько вооруженных отрядов еврейской самообороны, что принесло ему репутацию благородного бандита, по крайней мере в еврейской среде. Одессе действительно удалось избежать волны погромов, прокатившихся по Украине в 1919–20-х годах и унесших жизни, по разным оценкам, от 50 тысяч до 200 тысяч человек.

Для Бабеля эти цифры не были сухой статистикой. Слово погром обладало совершенно реальным содержанием. Свидетельство тому – один из его лучших рассказов – «История моей голубятни». Ужас девятилетнего ребенка, столкнувшегося с чудовищной и совершенно для него немотивированной несправедливостью мира, легко передается читателю.

«Он ударил меня наотмашь ладонью, сжимавшей птицу. Катюшин ваточный зад повернулся в моих зрачках, и я упал на землю в

новой шинели.

– Семя ихнее разорить надо, – сказала тогда Катюша и разогнулась над чепцами, – семя ихнее я не могу навидеть и мужчин их вонючих...

Она еще сказала о нашем семени, но я ничего не слышал больше. Я лежал на земле, и внутренности раздавленной птицы стекали с моего виска. Они текли вдоль щек, извиваясь, брызгая и ослепляя меня. Голубиная нежная кишка ползла по моему лбу, и я закрывал последний незалепленный глаз, чтобы не видеть мира, расстилавшегося передо мной. Мир этот был мал и ужасен».

Опыт гражданской войны, в ходе которой убийства, изнасилования и ограбления евреев были обыденными, утвердили Бабеля в мысли, что от этого дикого произвола его может защитить лишь сильная власть, а именно – советская, в руководстве которой – масса евреев. Вспомните рассказ «Дорога».

«Из вагонов на полотно выбрасывали евреев. Выстрелы звучали неровно, как возгласы. Мужик с развязавшимся треухом отвел меня за обледеневшую поленницу дров и стал обыскивать. На нас, затмеваясь, светила луна. Лиловая стена леса курилась.

Чурбаки негнувшихся мороженых пальцев ползли по моему телу. Телеграфист крикнул с площадки вагона:

– Жид или русский?

– Русский, – роясь во мне, пробормотал мужик, – хучь в раббины отдавай...

Он приблизил ко мне мятое озабоченное лицо, – отодрал от кальсон четыре золотых десятирублевки, зашитых матерью на дорогу, снял с меня сапоги и пальто, потом, повернув спиной, стукнул ребром ладони по затылку и сказал по-еврейски:

– Анклойф, Хаим... [Беги, Хаим (евр.)]

Я пошел, ставя босые ноги в снег. Мишень зажглась на моей спине...»

Многие указывали на связь Бабеля с ЧК как на темное пятно его биографии, видели в его дружбе с «милиционерами» нездоровое любопытство, извращенное стремление «потянуть носом: чем пахнет?». Но «Дорога» дает другую мотивацию этим отношениям.

«Наутро Калугин повел меня в Чека, на Гороховую 2. Он поговорил с Урицким. Я стоял за драпировкой, падавшей на пол суконными волнами. До меня долетали обрывки слов.

– Парень свой, – говорил Калугин, – отец лавочник, торгует, да он отбился от них... Языки знает...

Комиссар внутренних дел коммун Северной области вышел из кабинета раскачивающейся своей походкой. За стеклами пенсне вываливались обожженные бессонницей, разрыхленные, запухшие веки.

Меня сделали переводчиком при Иностранном отделе. Я получил солдатское обмундирование и талоны на обед. В отведенном мне углу зала бывшего Петербургского градоначальства я принялся за перевод показаний, данных дипломатами, поджигателями и шпионами.

Не прошло и дня, как все у меня было, – одежда, еда, работа и товарищи, верные в дружбе и смерти, товарищи, каких нет нигде в мире, кроме как в нашей стране».

Бабель мог видеть в Винницком-Япончике не только бандита, но и защитника евреев от погромщиков, и еще – союзника новой власти. Тема в высшей степени актуальная для времени, когда решался вопрос «кто-кого?» Этот союз начался с того, что Винницкий снабжал большевиков оружием, а в конце 1918-го года штурмовал с большевиками одесскую тюрьму, освободив около 700 заключенных, в основном уголовников. Весной 1919-го года Винницкий явился в Особый отдел Третьей Украинской советской армии и предложил сформировать отряд для борьбы с белогвардейцами. Современник вспоминал шествие отряда по одесским улицам:

«Впереди – командир на вороном жеребце и с конными адъютантами по бокам. За ними – два еврейских оркестра от Молдаванки. Потом шествует пехота с винтовками и маузерами, одетая в белые брюки навыпуск и тельняшки. Правда, головные уборы были разнообразнейшие – от цилиндра и канотье, до фетровых шляп и кепок. За двухтысячным отрядом пехоты несли несколько орудий со снарядными ящиками». *

В начале июля 1919 года отряд переиме-

** Цитируется по тексту беседы историка Евгения Будницкого и ведущего «Радио Свобода» Ивана Толстого. Передача «Сотворение Одессы-Мамы» 26.07.2009.*

новали в 54-й украинский советский полк. 23 июля его отправили на фронт в распоряжение начальника 45-й стрелковой дивизии Ионы Якира. Доехало до фронта около 700 человек. Первоначально Якир отказался принять пополнение, но комиссар Гоинштейн, переговорив с Винницким, решил, что, хотя у полка и плохое политическое состояние, он вполне боеспособен. В первом же бою полк Винницкого обратил петлюровцев в бегство.

Скорей всего, Бабель эту историю знал. И, тем не менее, его герой навсегда остался бандитом, хотя и располагал всеми данными для перерождения в положительного персонажа. Почему же этого не произошло?

Ночью после успешного боя, 54-й полк захватил на станции Бирзула два поезда и двинулся в Одессу. Его перехватили в Вознесенске, перебросив туда отряды одесских коммунистов и конников под командованием Никифора Урсулова. Когда Япончик направлялся к будке стрелочника, чтобы узнать причину остановки, Урсулов застрелил его. Это произошло 29 июля 1919-го года. Урсулов был награжден за свой «подвиг» – орденом Красного знамени. На похороны Винницкого-Япончика собрались все евреи Вознесенска и, говорят, была на них и одесская делегация.

Историк Олег Будницкий, рассказавший историю Япончика в беседе с сотрудником «Радио Свобода» Иваном Толстым, говорит, что ему неизвестна причина, по которой тот покинул позиции и какой грех за ним должен был числиться, чтобы застреливший его чекист получил за это орден Красной звезды. Если бы мы только могли поставить знак равенства между литературой и жизнью, ответ на интересующий нас вопрос обнаружился в первом же абзаце рассказа «Фроим Грач»:

«В девятнадцатом году люди Бени Крика напали на арьергард добровольческих войск, вырезали офицеров и отбили часть обоза. В награду они потребовали у Одесского Совета три дня “мирного восстания”, но разрешения не получили...»

О панике, вызванной слухами о трехдневном «мирном восстании», то есть дозволенном властями разграблении города, рассказал во «Времени больших ожиданий» и Г.К. Паустовский. Он находился в то время в Одессе и живо описал, как перепуганное население предпринимало меры безопасности на случай грабежа.

Бабель настолько любил своего Беню, что в финальном рассказе об одесских бандитах пощадил его. За все прегрешения Крика рассчитался его тесть – Фроим Грач. Он явился в ЧК, чтобы заключить мировую с новым начальством, где его и пристрелили. А Беня благополучно исчез. Но даже подведя черту под ушедшей эпохой, Бабель не смог скрыть теплых чувств к ее героям.

«Они сели рядом, председатель, которому исполнилось двадцать три года, со своим подчиненным. Симен держал руку Борового в своей руке и пожимал ее.

– Ответь мне как чекист, – сказал он после молчания, – ответь мне как революционер – зачем нужен этот человек в будущем обществе?

– Не знаю, – Боровой не двигался и смотрел прямо перед собой, – наверное, не нужен...

Он сделал усилие и прогнал от себя воспоминания. Потом, оживившись, он снова начал рассказывать чекистам, приехавшим из Москвы, о жизни Фройма Грача, об изворотливости его, неуловимости, о презрении к ближнему, все эти удивительные истории, отошедшие в прошлое...»

Возвращаясь к специфике места, мы можем сказать, что Беня Крик был настоящим порождением Молдаванки, то есть Одессы. Но при этом он был порождением старой, дореволюционной Одессы, где его создатель – советский писатель Бабель – позволил ему безнаказанно грабить представителей «эксплуататорских классов», сделав его почти положительным героем. Беня грабит богача Рувима Тартаковского и вознаграждает безутешную тетю Песю, чей сын «бедный труженик» Иосиф Мугинштейн «погиб за медный грош». Беня устраивает ему похороны голливудского размаха и отправляет вслед за Иосифом его убийцу Савелия Буциса. Социальная справедливость торжествует, но это торжество не может продолжаться бесконечно, потому что новая власть берет заботу об установлении социальной справедливости на себя. Беня Крик, как говорят американцы, вовремя оказался там, где надо. То есть в относительно свободной русской литературе начала 20-х годов. Беня вряд ли мог появиться

на свет при старом царском режиме, который увидел бы в нем того, кем он и был – уголовника, и по той же причине он не мог существовать при уже твердо вставшем на ноги большевистском режиме. Как сказал Шкловский, «герои романов приключений могут быть только исчерпаны, а не убиты». Благородный бандит Беня стал пережитком прошлого, как и Остап, которому была адресована вышеприведенная фраза Шкловского. В новых условиях Остапу ничего не осталось, как переквалифицироваться из афериста и вымогателя в управдома. Беня просто исчез.

Герой для более перспективного места и времени

Задолго до того, как Шкловский собрал одесских литераторов «до кучи», авторы «12 стульев» и «Золотого теленка» предприняли ряд усилий для отдаления от родной Одессы на безопасное расстояние. Место рождения великого комбинатора они открыли немногим. Да, в имени Остапа Ибрагимовича Бендера – типичная одесская многонациональность. По имени он – украинец, по отчеству и фамилии – сын турецкоподданного. Напомним, что Палестина находилась под протекторатом Турции и в ироничной Одессе турецкоподданными называли евреев. Но кто это знал, кроме одесситов? Авторы словно переморгнулись многозначительно со своими, дали им понять, что не забывают свою малую родину.

Еще одно указание, если не на место рождения, то на место, где прошли отрочество и юность Остапа – учеба в гимназии Илиади – престижном учебном заведении, где его учеником мог быть Лев Славин. Но кто расшифрует это, кроме одесских краеведов?

Авторы лишили Бендера и того говора, который выявил бы в нем одессита. Их Остап заговорил правильным русским языком, но сохранил ту речевую характеристику, которую Шкловский назвал «нарядностью». Шкловский видел в ней проявление Одессы, хотя, как мы уже выяснили, нарядность речи – отличительная черта плутовского архетипа!

И сама Одесса в дилогии лишена имени собственного и превращена в Черноморск. Но почему?! Какой в этом смысл? Объяснение может быть в том, что вырвавшиеся из Одессы авторы стремились войти в большую русскую литературу. Все, ассоциировавшееся с их провинциальным происхождением, препятствовало поставленной задаче. Кто-то увидит в этом проявление свойственного многим провинциалам комплекса неполноценности, кто-то – трезвый прагматизм, кто-то и то и другое.

«Я ушел в науку “об сюжете”, как в манию...»

В статье «Юго-Запад» Шкловский говорил, что одесские авторы учились у Запада сюжетности. Для Шкловского вопрос о сюжетности – давний. Еще в 1922-м году он писал Горькому: «Я ушел в науку “об сюжете”, как в манию...». Эта мания не оставила его и одиннадцать лет спустя. Первоначально статья Шкловского называлась «Южнорусская школа в борьбе за сюжетный стих и сюжетную прозу». В то время вопрос сюжетности волновал не только его.

«Сейчас я занимаюсь разработкой композиции лирических стихотворений, – писал Багрицкий. – Футуристы и их великий разрушитель Маяковский в корне отбросили стихотворную композицию. Они заменили ее огромной эмоциональной нагрузкой, фонетикой, неологизмами, они дали возможность слову расцвести необъятным цветом, но композиция была забыта ими. Нам, конструктивистам, приходится больше всего работать над ней. Восстановив поэму и стихотворный роман, мы должны восстановить и лирику. Но наша лирика будет основана на новых композиционных принципах. Мы отметаем лирическую абстракцию. Мы подкрепим композицию сюжетом и внесем в лирику яркую политическую струю».*

Стоит ли считать, что в борьбе за сюжетность одесские поэты шли за Западом? Русская поэзия началась со вполне сюжетного «Слова о полку Игореве». Сюжетность была неотъемлемой составной творчества Пушкина, Лермонтова, Грибоедова... Представить себе русскоязычного поэта, растущего вне их силового поля, трудно. Просто невозможно. Багрицкий лишь возвращал русской поэзии «разрушенную футуристами и Маяковским» сюжетность.

Что имел в виду Шкловский, говоря о сю-

** Эдуард Багрицкий. «Стихотворения и поэмы». М, 2000.*

жетности прозы? На помощь приходит С. Поварцов, в «Сюжете о В. Шкловском» он пишет:

«В молодости, анализируя новеллы, он думал, что ощущение сюжета дает развязка. Потом утверждал, что в романах русских писателей развязок нет, одни эпилоги!»*

Шкловский подтверждает это в «Юго-Западе»: «Бабель превращал в литературу устную традицию города (...) научившись от Запада не смягчать, а обострять вещи в литературе».

Неужели мы, наконец-то, нашли то, что объединяет прозу по крайней мере части одесситов – динамично развивающийся сюжет с бурным финалом? И не надейтесь! Шкловский, опровергая себя, признает, что в новой советской литературе есть авторы с не менее динамичными произведениями, чем у одесситов – Мариэтта Шагинян с приключенческим романом «Месс-Менд или янки в Петрограде» (1924) и Лев Никулин с «Дипломатической тайной» (1924). Ощущение такое, что Шкловский готов и их причислить к «Юго-Западу», но соедини он неодесских и одесских западников, выйдет, что нечего было и городить южно-русский огород! И даже то, что Никулин провел несколько юношеских лет в Одесском коммерческом училище, которое он окончил в 1910-м году, не поможет. Уж слишком велика будет натяжка. Стало быть, и сюжетность западного типа – с бурным финалом – отнюдь не уникальная характеристика одесской литературы.

Голый король метафор

Поговорим о Юрии Олеше – короле метафор – бесспорно одном из наиболее ярких представителей одесской плеяды. Лучшее из написанного им – повесть «Зависть» – вопиет о полной непричастности к Одессе, ее говору, ее типам, ее географии и специфичным для них отношениям. У кого же учился Олеша? В предисловии к хлебниковскому «Зверинцу» он написал, что учиться ни у кого не надо, а «главное – талант и здоровье». Звучит по-одесски, но не отвечает на наш вопрос.

И все же, такая проза, какой написана «Зависть», не появляется на голом месте. А голого места и не было! Была многовековая традиция русской литературы и был Гоголь, мимо которого не прошел ни один русский прозаик, стремившийся овладеть искусством метафоры. В «Книге прощания» Олеша пишет: «... мне кажется, что величайшим русским гением был Гоголь. Казаки в «Тарасе Бульбе» стоят *сивые как голуби*» (Выделено мною – В.Я.).

И овладевших этим мастерством было достаточно для того, чтобы не считать яркую метафоричность – общей характеристикой одних лишь одесских авторов или одного только Олеши. Менее ли, метафоричен, например, далекий от Одессы Набоков? Скорей даже наоборот. Но сам Олеша называет другого мастера из числа современников – Бориса Пастернака. Метафоричность его ранней прозы совершенно головокружительна. Не случайно, подводя невеселые итоги своего творческого пути, Олеша избирает Пастернака в качестве внутреннего собеседника. Именно ему он доверяет оценить «каких-нибудь двести страниц» своей настоящей прозы. «Меня слушает Пастернак и, как замечаю я, с удовольствием».

Король мог добровольно избрать себе в качестве судьи только равного по рангу, то есть другого короля. Но у этих королей было по меньшей мере одно существенное различие. Олеша остался автором одной яркой повести, заряженной очень личным ощущением ненужности новой эпохе. Капитулировав перед ней, он других тем для разговора с эпохой не нашел. Литературное наследие Пастернака настолько мощнее «каких-нибудь двухсот страниц» прозы Олеши, что королевский титул последнего воспринимается как потешный. Так могут назвать участника дружеского застолья. Пастернака назвать «королем» язык не повернется. Другой масштаб.

Отрицательный герой своего времени

Как же быть? Какую найти характеристику, способную объединить таких непохожих во всех отношениях одесситов и собрать их в литературную школу? Думается, что поиск источника, питающего миф об одесской школе, следует искать за пределами литературы.

Как известно, жития святых пользуются у широкой публики меньшим интересом, чем жития грешников, с которыми у широкой публики значительно больше общего, чем со святыми.

* *«Вопросы литературы». №5, 2001.*

Именно поэтому пресса и отчасти литература проявляет повышенный интерес ко всевозможным отщепенцам. Следует ли удивляться, что одесский литературный архетип представлен налетчиком? Между тем, вся история Одессы подсказывает, что одесситов характеризуют не грабители и аферисты, а негоцианты, бизнесмены, финансисты и деятели науки и культуры (а в советское время соответственно: спекулянты, цеховики, валютчики и антисоветчики), которые, для достижения успеха на избранном ими поприще, должны были обходить миллион бюрократических и идеологических препон. Вот почему для них так привлекательна оппозиция власти в лице Бени Крика, Остапа Бендера и даже так непохожего на них Николая Кавалерова. Типовой персонаж, произведенный на свет одесским автором, с точки зрения власти – асоциален. *Одесский тип – всегда отрицательный герой своего времени,* но при этом он вызывает симпатии читателя, способного эту асоциальность оправдать. Читатель верит, что за ней стоят не уголовные наклонности, а стремление восстановить баланс в отношениях с несправедливой властью, а власть несправедлива всегда. Если бы власть была лучше, честнее, добрее, то может быть и герои были бы лучше. Мы бы все были тогда лучше.

Для Одессы борьба за справедливость и независимость была наполнена своим особым содержанием. Да, этот город не обошли погромы, причем громили в нем не только евреев, но в целом его население осознавало, что состоит из добрых двух десятков этнических общин, которые нашли свой общий язык – тот самый одесский говор, объединяющий их в некое культурное и экономическое целое. Часто слышимая в Одессе фраза о принадлежности к Европе – не просто пересказанная цитата из Пушкина «здесь все Европой дышит, веет..», а иносказательная декларация независимости. И в наши дни свободолюбивые одесситы не хотят поддаваться совершенно закономерным усилиям властей по украинизации их города. Двухвековую традицию тяжело преодолеть административными мерами. Эту независимость питает много источников: тут и еврейская готовность жить на любой территории и под любым начальством, но сохранять свою идентификацию; тут и стремление беглых со всех концов России крестьян и ремесленников найти в Одессе укрытие от преследований; тут и влияние вольнолюбивого люда из других стран Европы и Азии, искавшего покоя или удачи на гостеприимной чужбине. В этом смешении многонационального опыта – природа одесской независимости.

Не исключено, что именно это осознание себя не такими как все и сделало одесситов ярыми поборниками существования своей литературной школы, не подчиняющейся литературным канонам столицы. Шкловский явно погорячился, провозгласив новую школу, но одесситы приняли его слова с максимальной серьезностью, превратив их в знамя местной культуры. Именно они, а также симпатизирующие им критики и литературоведы, а совсем не группа очень разных по характеру авторов, стали поборниками идеи Юго-западной, Южнорусской или попросту Одесской литературной школы. В действительности существование этой школы под вопросом. Да, была в Одессе 20-х плеяда ярких литераторов, которым повезло пробиться одновременно, почти группой, хотя каждый из них был самобытен. Вероятно, лучшее объяснение появлению этой плеяды дал Олеша: «Таланты плавают стайкой». Занятное совпадение – по-английски рыбная «стая», то есть косяк, зовется «школой».

При всей ангажированности советской прессы трудно не согласиться с критиком И. Макарьевым, который первым вступил в дискуссию со Шкловским на страницах «Известий»: «Писатели, которых назвал Шкловский (среди них много талантливых людей), неоднородны по своему творчеству. (...) Но как бы ни были отличны эти пути, все эти писатели со всей советской литературой идут в одном общем направлении...»*

Умри, лучше не скажешь. Писатели, которых назвал Шкловский, покинули свой город, уверенные в том, что только столица позволит им развернуться во всю мощь их дарования. Их расчет был в принципе верен, но они не знали, не могли знать, что пройдет всего десять лет и столица подчинит их выполнению новой литературной задачи. На первом съезде совет-

** Цитируется по комментариям к сборнику Виктор Шкловский «Гамбургский счет». М, 1990.*

ских писателей Олеша дал обещание, которое так и осталось невыполненным: «Я буду писать пьесы и повести, где действующие лица будут решать задачи морального характера. Где-то живет во мне убеждение, что коммунизм есть не только экономическая, но и нравственная система, и первыми воплотителями этой стороны коммунизма будут молодые люди и молодые девушки».

Вместо пьес и повестей потек поток агитстатей для центральных газет, никакого касательства к литературе не имевших и прикрытых стыдливым листиком биографии с надписью «годы молчания». Строго говоря, Олеша не молчал, он нашептывал что-то себе под нос, оставив дневниковую прозу, которой хватило на посмертно изданную «Книгу прощания».

На том же съезде Бабель призвал коллег брать пример с главного стилиста того времени – Сталина.

«Не хочу неприятностей... Лишь бы не рассердить начальство», – вот литературное кредо Катаева образца 1937-го года, донесенное до нас Надеждой Мандельштам.

Валентин Катаев, Лев Славин, еще одна одесситка Вера Инбер и сам Виктор Шкловский приняли участие в создании самого позорного литературного произведения своего времени «Беломоро-Балтийский канал имени Сталина». Побывавшие на жуткой экскурсии Ильф и Петров, отдадим им должное, участия в коллективном труде не приняли.

Плюсы и минусы провинциальной жизни

Жизнь в провинции имеет свои плюсы и минусы. В ее разряженном культурном воздухе художник может задохнуться, а может и спасти свое дарование, более того – жизнь. Другое дело, что о спасенном даровании так никто и не узнает.

Итак, одесситы уехали в Москву, где кто-то из них ушел из жизни, кто-то замолчал, а кто-то перестроился, точнее пристроился к новым требованиям, получив за это квартиры, дачи, автомашины, посты, ордена. Без малого полвека минуло после окончания «одесской дискуссии», прежде чем реальная Одесса снова возникла в лучшей повести Валентина Катаева «Уже написан Вертер». Впечатление такое, что талант самого неталантливого одессита проявился лишь тогда, когда он осмелился говорить правду. И тогда же, в конце 70-х, настоящая, неподдельная Одесса поднялась в романе Аркадия Львова – «Двор». 80-е принесли еще один значительный одесский текст – «Провинциальный роман-с» Ефима Ярошевского. В это же время в Одессе прозвучали такие поэты и прозаики как Белла Верникова, Мария Галина, Анатолий Гланц, Борис Херсонский, Сергей Четвертков (Шикера). Черты Одессы постсоветских 90-х можно прочесть в великолепном романе Сергея Шикеры «Стень». Одесса присутствует в прозе нью-йоркского прозаика Павла Лемберского.

Начав в 1933-м году разговор об Одесской школе, Шкловский попытался найти полудюжине очень разных писателей с Юга России литературных родственников за границей, что не встретило понимания у его литературного начальства. Попытка искать их корни на одесской почве была бы обречена в то время на такой же провал. Дискуссия завершилась полной победой оппонентов Шкловского. Они попросту разрубили завязанный Шкловским литературоведческий узел. Но Одесса продолжала давать русской литературе интересных авторов, а постсоветские исследователи начали возвращать забытых. И по мере того, как список этих литераторов растет, разговор о школе перестает казаться надуманным. Если в 30-х оснований для описания школы было недостаточно, то они могли появиться позже. Чтобы установить это, следует выработать систему четких художественных ориентиров. Каких? Ответ будет получен лишь после включения в одесский дискурс литераторов, предшествовавших тем, которых назвал Шкловский, а также пишущих в Одессе или об Одессе сегодня. В противном случае попытки создания Одесской школы не выйдут за рамки столь же похвального, сколь и бесполезного, с литературоведческой точки зрения, процесса подпитки так называемого одесского мифа, главной составной которого является литература об Одессе.

Автор благодарит за помощь и поддержку в написании этой статьи поэта и историка литературы, доктора философии Еврейского университета в Иерусалиме Беллу Верникову, а также доктора филологических наук М.Г.Соколянского.

Александр КУЗЬМЕНКОВ

НАГРАЖДЕНИЕ НЕПРИЧАСТНЫХ

Затеяв променад по садам прошлогодней российской прозы, вдруг убеждаешься: а гулять-то негде. Ибо упомянутый дендрарий – точь-в-точь провинциальный парк культуры: два-три чахоточных кустарника, густо заросшая крапивой клумба да ржавая карусель, разбитая параличом. Убожество отечественной словесности легко объяснимо, если вспомнить, что на дворе у нас эпоха постмодерна, где главный герой – симулякр, вторичный образ без первичного подобия. Сухари со вкусом икры, презервативы со вкусом клубники и графомания со слабым привкусом беллетристики суть явления одного порядка. Литературный процесс в России давным-давно подменили премиальным, и 2010 не стал исключением. Минувший год не принес ни шедевров, ни даже бестселлеров, но раздача слонов не прекращалась все 365 дней. И, согласно традиции, награждению подлежали непричастные.

Первая ласточка навестила нас еще в феврале: премию Белкина пожаловали Ульяне Гамаюн за повесть «Безмолвная жизнь со старым ботинком». Сюжет опуса в два авторских листа без проблем укладывается в три слова: мальчики утонули в шторм. Однако вяленая фабула почти не видна под слоем сахарной пудры, изюма и цукатов. «*Крутолобый увалень, мало евший и плохо спавший, шагающий по жизни второпях, бряцая ржавыми доспехами и ничем особенно не блистая, рыцарь скучающий, шут бродячий, пустынник, овеянный ветром и смоченный дождем*», – это что за Рыцарь Печального образа? Всего-навсего участковый милиционер... Не знаю, право, какие задачи ставила перед собой авторесса; лично мне видится одна – выразиться покрасивше, с галантерейным шиком замоскворецкого приказчика. Здесь и впрямь ни слова в простоте, все с ужимкой: «*яркие мухоморы крыш*» (крыши, должно быть, круглые и в белых пятнах?), «*тугое брюшко нашей аморальности и плоский зад нашего нонконформизма*» (без комментариев). Добрых сто лет назад Владимир Соловьев потешался над символистами: «И не зови сову благоразумья / Ты в эту ночь: / Ослы терпенья и слоны раздумья / Бежали прочь...» Зря старался классик. Урок пришелся не впрок – ни членам жюри, ни самой Гамаюн. Розумію, що ця жовто-блакитна зірка зійшла на нашому літературному небосхилі в ім'я ніжної дружби з Януковічем, – но политика политикой, а надо ж и совесть иметь, господа.

Явление украинской жеманницы с блоковским псевдонимом вполне по-блоковски возвестило и трус, и голод, и пожар. Опасения подтвердились: пять-шесть тусклых авторов весь год кочевали из шорт-листа в шорт-лист, как незабвенные цыганы по Бессарабии.

Более других на этом поприще преуспел П. Крусанов с «Мертвым языком»: шорт-лист «Большой книги», шорт-лист «Нацбеста», лонг-лист «Ясной Поляны», лонг-лист «Русского Букера». В свое время Лермонтов сокрушался: публика не понимает басни, если в конце ее не находит морали. Самого страшного Михаил Юрьевич не увидел: после него мораль сожрала басню с потрохами. Добрый доктор Чехов, как умел, вылечил отечественную словесность от патологического мудрствования. Но рецидивы и по сю пору случаются; последний тому пример – «Мертвый язык». Терапевтическая доза философии прозе еще никогда не вредила. Взять хоть Льва Толстого: сперва возлюбил мысль народную, потом мысль семейную. Но Крусанов возлюбил, во-первых, мысль чужую, а во-вторых, – сверх всякой разумной меры. По прихоти автора, все жизненно важные органы у героев романа более или менее рудиментарны, зато язык чудовищно гипертрофирован. По этой самой причине персонажи то вместе, то поврозь, а то попеременно пересказывают друг другу избранные места из Дебора, Фромма, Зиновьева, Мухина, Кара-Мурзы (старшего) и прочих мэтров философии, социологии и публицистики. Вот, если угодно, образчик: «*Время было свинское... Смута, смешение языков... Страна осыпалась, как новогодняя елка к Крещению. Хмельной Бориска "барыню" танцевал и строил на усохших просторах нищую банановую республику с бандой компрадорских олигархов во главе*». Пропорция событий и вяз-

кой, кисельной риторики в тексте – примерно 1:20. Пересказать абортированный сюжет практически невозможно. Редкие промежутки между раскавыченными цитатами заполнены выморочными, лунатическими действиями. Герои зачем-то создают самодеятельный театр, зачем-то тащатся на пленэр, от случая к случаю совокупляются. Все это настолько второстепенно, что даже наспех (в четырех абзацах) рожденный ребенок бесследно растворяется в очередном словоизвержении. Что в сухом остатке? – безразмерная, в 60 000 слов, газетная колонка. С критикой спектакулярного общества (по Дебору) и критикой Ельцина (по Мухину). Такая, знаете ли, средней руки колумнистика из газеты «Завтра». На заголовке романа, замечу, только ленивый не топтался. «Мертвый язык» называли и авторецензией, и самоаттестацией. Но, воля ваша, кажется мне, что не на титульном листе зашифровал сочинитель потаенную суть своих откровений. А вот здесь: «*Демонстрируя силу русского духа, он повернулся к зрителям задом, согнулся и произвел звучный выстрел из своей природной пневмопушки*». Браво, Павел Васильевич! Всем автопортретам автопортрет!

Еще один повсеместный номинант – Р. Сенчин с «Елтышевыми»: шорт-лист «Большой книги» плюс шорт-лист «Нацбеста». Книгу о всеобщей российской деградации всякий раз встречали бурными аплодисментами, переходящими в овацию, и сравнивали то с мановскими «Будденброками», то с бунинской «Деревней». Хотя, по моему разумению, протагонист у Сенчина не столь отдаленный и не в пример более скромный: «Маленькая Вера». Прискорбно, но за 22 года в трактовке темы ничего-то не поменялось. Что знали мы о России до «Елтышевых»? Что здесь царят пьянство, блядство и смертоубойство. Что узнали из «Елтышевых»? Ровно то же самое. Чтобы до этих истин доискаться, не надо в преисподнюю спускаться, как заметил Вильям наш Шекспир. Впрочем, трюизмы – не самый страшный недостаток романа. Куда страшнее неуклюжий, под стать периферийному рабкору, язык: «*И поначалу Елтышев радовался каждому дежурству – дежурил сутки через трое – ожидал чего-то чудесного... Да нет, не "чего-то", а вполне реального пьяного вусмерть богатея с набитыми деньгами карманами*». Пардон, что чем набито – деньги карманами или наоборот? А вот и того краше: «*улицы закатывались асфальтом*». Ну, коли автор (и преподаватель Литинститута, между прочим) не видит разницы между глаголами «закатать» и «закатиться», почту за благо умолкнуть. Безнадежный случай...

Достижения О. Лукошина несколько скромнее: его «Капитализм» вошел лишь в шорт-лист «Нацбеста». Но повесть о зверином оскале эксплуататоров и грядущей мировой революции была вполне достойна и любой другой лычки: то ли среднего качества агитка, то ли сказка для младших школьников. Спасением стала хорошая мина при плохой игре: повесть-комикс. Ужели слово найдено? Еще как найдено! Удачное определение послужило универсальной индульгенцией всему: и примитивной лобовой атаке на читателя, и телеграфному стилю, и плоским мультяшным героям без намека на психологию, и наивному horror'у вроде убиения пролетарских младенцев. Сложно сказать, может ли мелкобуржуазный трэш служить торжеству марксизма-ленинизма. Впрочем, коммунисты последнего призыва и не на то способны. Зюганов делает реверансы в сторону православия и время от времени затевает легкий флирт с классово чуждыми олигархами. Максим Калашников ухитряется одновременно любить товарища Сталина и «AC/DC». Лукошин – не исключение. Маркс в его пантеоне мирно уживается с Оззи Осборном и Тарантино. Потому в пламенной коммунистической риторике звучит заметный олбанский акцент. Типо труЪ прадалжаеццо бой и жжот нипадецки в груди и Ленен красаффчег маладой... С. Беляков так аттестовал опус своего любимца: «*Это самый сильный из современных русских революционных текстов, сильнее и жестче прилепинского "Саньки". Сейчас рукопись "Капитализма" лежит у меня на редакторском столе, но, честно говоря, не знаю, сможет ли журнал "Урал" или другой литературный "толстяк" ее напечатать. Цензура есть и в наши дни*». Но «Капитализм» на поверку оказался муляжом гранаты, – безопасен как идейно, так и эстетически; подтверждением тому всеобщий восторг. Лукошин опубликован не только в литературном «толстяке», но и во вполне респектабельном издательстве и от души радуется

рецензиям в глянцевых журналах. Ибо андерграунд кончается там, где начинаются гонорары. Кто там шагает правой?

Можно было бы потолковать и про перманентную истерику Садулаева, и про сортирный юмор Аствацатурова, и про невнятный, намертво запутанный пастиш Петросян – да надо ли? Все они подчиняются императиву эпохи: вторичный образ без первичного подобия, а что сверх того – от лукавого.

Конец – делу венец; венцом литературного 2010-го стал «Букер», присужденный «Цветочному кресту» Е. Колядиной с загадочной мотивировкой «за продуктивный запах навоза». De jure пространство романа – Россия XVII века; de facto – что-то вроде Зазеркалья. Одна главная героиня дорогого стоит: у нее узорные брови и две правые руки: «*стала, опустив десницы*». Прочие герои тоже не лыком шиты – у них каурые ляжки, они умеют топорщить глаза, вместо водки пьют сулему (она же токсичная двухлористая ртуть) и закусывают картофельными рогульками, даром что Петр I еще на свет не родился. Фанфары в честь этого полуграмотного бреда вполне закономерны: было бы странно начать с Гамаюн да не кончить чем-нибудь вроде Колядиной...

Собственно, а что вы хотели, господа? Иного нам не дано. В стране, где все, – от власти до медицины, – декоративно, другой литературы быть не может.

Алексей КОЛОБРОДОВ

ЧАРОДЕИ И УЧЕНИКИ

О литературном свойстве Виктора Пелевина и Дмитрия Быкова, ананасной воде, ловцах сверхчеловеков и вострубивших дудках

Есть, воля ваша, великий соблазн в попытках ранжирования художников по парам.

Гораздо больший, чем в распределении талантов по «стайкам» (Ю. Олеша), поколениям, направлениям, жанрам и «большим пожарам».

Видимо, в парности изначально заложен некий потаенный смысл, генетический код творения и грехопадения. Как сказал бы Дмитрий Быков, «*все это можно долго и изобретательно обосновывать*».

Кстати, Дмитрий Быков и Виктор Пелевин, являясь в современной русской литературе авторами наиболее влиятельными и авторитетными, остаются признанными одиночками, идущими никак не вместе, но другим путем. Более того, они вывешивают запретный кирпич после каждого этапа своего большого Дао. Запрет не распространяется на эпигонов, но на них и все прочее не распространяется.

У Виктора Олеговича могут быть предшественники (всегда – достаточно произвольный подбор), море тех же самых эпигонов, но равных, по общепринятому мнению, нет.

Одно время писалось через дефис «Пелевин – Сорокин», но здесь медийное сознание, а вслед за ним и сознание массовое, сыграли в гегелевское единство и борьбу противоположностей. Объектами похожей игры уже становились «Толстой – Достоевский», чтобы со временем превратиться в Толстоевского.

Подобрать пару Дмитрию Львовичу мешают обстоятельства несколько иного творческого порядка: не внутренние, но внешние. Стахановская производительность Быкова-журналиста, монументальность Быкова-прозаика, академическая дотошность Быкова-биографа, активность Быкова как медийного персонажа предполагают, что его брат и сват по месту в словесности должен быть столь же возрожденчески продуктивен и общественно вездесущ. Обладая при этом сложившимся, однако весьма центробежным мировоззрением. Можно назвать его расплывчатым, а можно – недогматичным, прибавив сюда еретический пафос ниспровержения и возвеличивания по каждому второму поводу, иногда весьма суетливой смены знаков в применении к одним и тем же именам и явлениям. Именно это ме-

шает поставить в один ряд с Быковым Захара Прилепина, схожего по многим позициям, однако идеология Прилепина, при всей широте взглядов, куда более цельная и просчитанная, не вольный парус, а запрограммированная машина, он не еретик, но миссионер.

«Пошли мне, Господь, второго,/ Такого, как я, и он». Как у Вознесенского в исполнении Высоцкого. А таких больше не делают.

Таланты приходят парами, как мизера, но куда более убедительными парами уходят. Мартиролог 2008-2009 гг., разбухавший так, что самый упертый атеист задумался о последних временах, все это впечатляющим образом продемонстрировал. (Десятый взял тайм-аут, хотя вот Ахмадуллина – Вознесенский)... Для меня, например, совершенно очевидно, что Александр Солженицын и Егор Летов, ушедшие с разницей в три месяца, были фигурами равновеликими, чрезвычайно схожими по способу мышления, темпераменту, общественной роли, сыгранной при больших группах русских людей и даже целых поколений. И по-настоящему понять каждого из них можно, только написав исследование в жанре двойного портрета. Возможно, когда-нибудь я это и сделаю; мысль об этом странном сближении преследовала меня еще при жизни обоих.

Еще пара – Василий Аксенов и Майкл Джексон. У обоих были большие и небесталанные семьи, если поп-король еще в детстве сделался главной надеждой, а потом и надёжей своего негритянского рода, наш главный стиляга сам вошел в семейку эстрадных шестидесятников, и сразу стал в ней первым авторитетом. Псевдогусарская лжевенгерка Джексона легко рифмуется с джинсовой курткой Аксенова, из которой, сказал на юбилее кто-то из льстецов, вышла, как из «Шинели» Гоголя, вся современная русская проза. Обоих тянуло к групповщине пограничного толка – Майкл записывался с хором настоящих полицейских, Аксенов придумал «Метрополь». Почти совпадают даже даты создания главных шедевров – альбома Thriller и романа «Остров Крым». Певец, с его сериалом пластических операций и обретением белого цвета кожи, может считаться основоположником гламура в мировом масштабе. Писатель-стиляга, который ввел в русский устный слово «джинсы», а в письменный – «чувак» и лабавший в советских журналах на джазовой фене (читать невозможно), есть полновесный предтеча гламура отечественного. Куда там сегодняшним голубым сталкерам и белым лошадкам скорого российского апокалипсиса.

Может, все это и чепуха, а не чепуха – мое пожелание Пелевину и Быкову здоровья, многих лет творчества, чтоб жили долго и счастливо... Остальное – известно в Чьей компетенции.

***

Между тем, если подобно старику-лошаднику из знаменитой буддийской притчи, пересказанной, в т. ч., и Сэлинджером, отринуть внешние признаки и взглянуть на внутреннюю суть вещей и явлений, мы увидим: именно Быков и Пелевин составляют не только в литературе, а и во всей русской современности самую убедительную и, пожалуй, безальтернативную пару.

Я собирался писать рецензию на быковский новый роман «Остромов, или ученик чародея», а параллельно читал свежего Пелевина, «Ананасная вода для прекрасной дамы».

Название, конечно, не бином Ньютона, оно прямо отсылает к стихотворению Маяковского «Вам!», 1915 года, не столько футуристическому, сколько хулиганскому, с тогдашним антигламурным пафосом: *«Я лучше в баре блядям буду,/ Подавать ананасную воду»*. Функционал упомянутого напитка в одноименной книжке Пелевина аналогичен: банка ананасного сока забыта в некоем рублевско-сочинском антураже, после «распила» и неформального кастинга моделей. Любопытно, что если в прежних вещах (прежде всего, «Чапаев и Пустота», «Священная книга оборотня») Виктор Олегович и обращался к опыту и образам Серебряного Века, то преобладал там символистский набор (Даниил Андреев, одинаково важный для последних вещей Быкова и Пелевина, – законнейший наследник символистов). Поэтому апелляция к предреволюционному Маяковскому-футуристу выглядит в общепелевинском контексте довольно неожиданно и знаково. Интересно также, что Маяковский – постоянный персонаж Быкова, не только в публицистике – где у него почти все отечественные гении мелькают вполне регулярно и карнавально, очень характерен «Календарь»

(М.: АСТ Астрель, 2011), – но и в прозе, где Маяк действует под именем Корабельникова. В «Орфографии» и «Остромове» Корабельников (Маяковский) и Мельников (Хлебников) тоже образуют своеобразную пару.

***

Так вот, в «Ананасной воде», уже на второй странице повествования появляется вполне прозрачный отсыл к Быкову, к названию его последнего романа. Герой части первой, «Боги и механизмы», Семен Левитан, пытается подражать своему прославленному однофамильцу:

«Постепенно я овладел интонационными ухищрениями советского диктора, и иногда мне начинало казаться, что я настоящий ученик чародея...»

Хм... «Ученик чародея» – не сказать, чтобы это расхожий языковой штамп, да еще в применении к «советскому Информбюро»...

Лыко в ту же строку – главный герой «Остромова» Даниил Галицкий (забавно, кстати, что его исторический тезка – символ сугубо прозападной ориентации в Древней Руси) – по авторскому разъяснению Быкова, близок Даниилу Хармсу и Даниилу Андрееву – поэту, визионеру, автору «Розы мира». В «Богах и механизмах» Даниил Андреев, под собственным именем, – один из носителей базового, сюжетообразующего знания.

И там, где Дмитрий Львович строит концепцию и конструкцию, архитектурную, проработанную, не нарушающую генплана, Виктору Олеговичу хватает двух абзацев:

«Как и положено всякому русскому духовидцу, Андреев-младший провел лучшую часть жизни в тюрьме. В ней он создал грандиозную духовную эпопею «Роза Мира», где переписал историю творения и грехопадения в терминах, более понятных современникам Штейнера и Троцкого. Кое-какие сентенции Андреева о Боге я помнил. Но все дело было, как оказалось, в том, что он писал о Сатане, которого называл «Гагтунгр».

Описывая восстание Сатаны, он создал поистине величественный миф – им, очень может быть, начнут кормиться сценарные мафии западных киностудий, когда дососут последнюю кровь из вампиров. Андреев изобразил обитателей демонических миров с такой прозрачной ясностью, как будто сам долгое время жил с ними в одном доме на набережной. Но самое важное было в том, что он указал на связь главного демона нашего измерения, Гагтунгра, с товарищем Сталиным».

Из одной, хоть и явно не случайной, переклички, писательского родства не вывести, но я продолжу «долго и изобретательно обосновывать».

Любопытно, что Пелевин и Быков близкие соседи по пограничным гороскопам – Виктор Олегович родился 22 ноября 1962 года, то есть является поздним Скорпионом, практически Стрельцом; тогда как Дмитрий Львович, родившийся в той же Москве 20 декабря 1967 года, может называться Стрельцом закатным, уходящим, персонажем знаменитого полотна Василия Сурикова.

Герой Быкова Остромов – масон, астролог и шарлатан, нашел бы здесь для себя немало увлекательного и спекулятивного; я лишь отмечу, что писатели, несмотря на небольшую, в пятилетку, разницу в возрасте, конечно, одному поколению не принадлежат. Советский период в этом смысле вообще не подчиняется мировым законам и календарным стратам. Тем паче в 60-е, когда год составлял целую эпоху...

62-й – это пик и высшая точка хрущевской оттепели, XXII съезд, Иван Денисович и Новочеркасск, «битлы», «роллинги» и Мерлин Монро (умерла), «Спартак» и Бразилия – чемпионы...

67-й – Брежнев уже без Шелепина, но с Косыгиным и даже Подгорным, Вьетнам и Чехословакия, «Дорз», гибель Че Гевары и космического корабля «Союз-1», пилотируемого Владимиром Комаровым...

Тем не менее, в рождении и происхождении (родители обоих – преподаватели, учителя, педагоги) наших героев есть могучее объединяющее начало, сделавшееся главным, пожалуй, мотивом и мотором их творчества. Я говорю о цивилизации советского детства, бедной в быту, но щедрой знанием и эмоциями.

Виктор Пелевин в «Омон Ра», ранних рассказах, касаясь, осторожно и нервно, этого града и мира обреченных, выступал в несвойственном себе, сегодняшнему, амплуа тончайшего лирика и бытописателя бунинской, в цветах и запахах, школы. Именно на этом, глубоко

родном примере, он учился мышечной энергии преодоления.

А лучше всего это констатировал, конечно, Дмитрий Быков:

«Тексты его пронизаны той детской грустью, какая бывает, знаете, в сумерках, когда смотришь с балкона на людей, возвращающихся с работы. Эти взрослые, возвращающиеся с работы и ребенок, который утром их провожает, вечером встречает, а днем обживает окружающее пространство, – стали потом главными героями лучшего из ранних пелевинских рассказов, «Онтология детства». Это было детство, понятое, как тюрьма, – и что поделаешь, мир детства в самом деле нисколько не идилличен, свободы и беззаботности в нем близко нет, а есть тотальная зависимость. Но прелесть и трагизм пелевинского рассказа в том, что это адское пространство обживается у него как райское: ведь ребенок не знает другого мира. (...) Он способен изучать полосу цемента в кирпичной кладке, прислушиваться к выкрикам с далекого стадиона, изучать перемещение тени на полу – пусть даже это тень решетки...»

И еще пронзительней, в «календарном» эссе о прозаике и сказочнике Александре Шарове:

«Тогда какой-нибудь зеленый вечер во дворе, когда все идут с работы, мог буквально свести с ума: двор разрыт, в нем, как всегда летом, перекладывают трубы, или мало что чинят, и в этих окопах происходит игра в войну. Потом всех постепенно разбирают по квартирам, но прежде чем войти в подъезд, оглядываешься на дальние поля (Мосфильмовская тогда была окраиной), на долгостройную новостройку через дорогу, на детский городок, смотришь на небо и на чужие окна – и такая невыносимая тоска тебя буквально переполняет, ища выхода, что врезается все это в память раз и навсегда. Тоска – слово, так сказать, с негативными коннотациями, но есть «божья тоска», как называла это состояние Ахматова (...): это скорей радость, омраченная только сознанием своей невыразимости, и вообще особенно острое понимание собственной временности. То есть все вокруг очень хорошо, но ты не можешь ни этого понять, ни этого выразить, ни среди этого задержаться».

Эта литературоведческая лирика пронзительней многих страниц оригинальной прозы Быкова, и нас не должно смущать, что глубоко собственную, заветную эмоцию щедрый Дмитрий Львович атрибутирует разным авторам. Здесь не только признание в любви, но и ловля человеков, родственных душ.

(Чуткость к данному феномену была в известной степени присуща и упомянутому Егору Летову (1964 – 2008 гг.), чему свидетельство один из лучших альбомов поздней «Гражданской Обороны» – «Звездопад», 2002 г.).

Показательно, что интонация и даже лексика заметок Быкова разных лет о Пелевине, поразительно схожа с тем, как он пишет об авторах, в любви к которым признается априори, с детско-юношеского возраста: Новелла Матвеева, Булат Окуджава, тот же Александр Шаров... В разговорах о Пелевине Быков, пожалуй, даже более брутален: проявляется ревность. Из уже цитированного эссе 2002 года «ПВО»: *«У Пелевина неприятные поклонники. (...) Каждый читатель Пелевина (особенно каждый писатель о нем) считает его своей собственностью, а свою концепцию – единственно верной»*.

Ревность эта, похоже, разнополюсна: Быков не столько спасает Пелевина от поклонников, сколько, не без самоиронии, пытается навязать пелевинским штудиям себя (может быть, есть в подтексте и кусочек зависти – читатель-собственник любимого автора – существо по нашим временам коллекционное, а читатели Быкова проходят по другому ведомству). Но в подлинности чувства не сомневаешься: правда и то, что Быков, успевший, и не по одному кругу, поменять знаки по поводу многих коллег, сохраняет в отношению к Пелевину трогательную роль адепта (а в последние годы – не без горечи, и адвоката) и почтительную дистанцию. Хотя она, учитывая масштаб нынешнего Быкова, едва ли оправдана.

Впрочем, роднит писателей не только прошлое, но и настоящее – тут я говорю не о времени, а о функционале.

Пелевин – точный и жесткий аналитик многогранной, но все более сужающейся реальности (место не общее, но тем же Быковым неоднократно постулированное). В последней вещи – все меньше метафор, пусть и прозрачно-грубоватых, все больше безжалостно-глумливого прямоговорения:

«В общем, заглянуть в темную душу гене-

рала Шмыги я даже не пытался – хотя подозреваю, что там меня встретило бы близкое жестяное дно, покрытое военным камуфляжем "под бездну"».

«Мне страшно было глядеть в оловянные глаза Шмыги, потому что его голова казалась мне дымящейся гранатой, из которой кто-то выдернул чеку».

«...Шмыга распорядился принести в тесную комнатку еще два стула.

– Ну что, мужики, – сказал он, когда мы сели. – Споем.

И сразу же затянул любимую песню разведчиков:

– С чего-о начинается Ро-одина...»

Как сказал один мой знакомый политик, 2010 год, помимо прочего, был интересен тем, что запел Владимир Владимирович Путин. А Дмитрий Быков, эдак походя, предсказал явление нового тенора:

«Представьте, что на одной концертной площадке в России поет чудесно воскресший Карузо, а на другой – Владимир Владимирович Путин, и угадайте, где будет лом».

В публицистике (неприятное слово, скорей – социальной эссеистике) Быкова прямоговорения не меньше, меньше фирменной пелевинской брезгливости, однако подлинным аналитиком, на высоком градусе сатиры, Дмитрий Львович становится в своей газетной поэзии, стихотворных фельетонах и памфлетах, которые он сам называет «новыми письмами счастья». Здесь особой вехой стали 2009-2010-й (Быков возобновил сотрудничество с оппозиционной «Новой газетой»), годы, по всеобщему либеральному признанию, (вос?)становления «гражданского общества» в России.

Нельзя сказать, что раньше Быков (еще, конечно, Игорь Иртеньев и Всеволод Емелин) не писал остросоциальных стихов по ведомству «иронической поэзии» (он-то как раз и писал). Но тут, воля ваша, уже не до иронии. Если и стёб, то какой-то рубежный – «человечество, смеясь, расстается с прошлым». Смена вех, которая при определенном раскладе может обернуться меной всех.

Чуткий сетевой народ стремительно отреагировал на этот странноватый поэтический ренессанс и образовал вокруг поэтов-фельетонистов многочисленную аудиторию, куда там политехнической.

Поэзия, которая, казалось, из элитарного междусобойчика превратилась вовсе в поникший символ социального паразитизма, лузерства и маргинальства, вдруг развернулась, омужичилась, заматерилась и пошла сближаться с массами.

Высоцким повеяло, тем самым, золотым для Шевчука и других, русским роком 80-х. И всё благодаря политическому моменту и новейшим средствам коммуникации. Ведь тыщи томов написано на умном постмодернистском арго, через который так и сияют очки и прыщи, а никто не оспорил еще: истинная поэзия должна быть не то чтобы глуповата, но понятна кому-то, кроме автора, смешна, жестоковыйна, на злобу дня.

Интересно, что и Лимонов, после стольких лет прозы и политики, тоже вернулся к стихам...

Пограничье жанров, однако, дает о себе знать – оба наших героя периодически сбиваются на юмористику почти эстрадного толка. Вполне КВНовские у Пелевина издевательства над рекламными слоганами и рыночными клише существуют внутри целой субкультуры, телевизионно-сатирической и фольклорной отчасти, как бы обозначая ее недостижимый для прочих потолок; при этом они всегда неравноценны и даже неадекватны самому веществу пелевинской прозы, выламываются из контекста – что-то вроде эрекции в храме.

Характерны пародии Быкова на сериалы и эпопеи, сценарии и синопсисы аналогичного замеса, авторские его анекдоты про великих, где вся фишка – от перенесения в современный контекст. Тут тоже, конечно, куда больше механичности и расчета на быструю и непосредственную реакцию аудитории.

Впрочем, «Ананасная вода» во многих смыслах, и прежде всего как раз в КВНовском – строже и суше прежнего Пелевина. Запоминается едва ли не единственный афоризм в прежнем духе – «РАЗ НАДО – РОСНАНО!».

Кажется, никто до сих пор не замечал: для своих романов Дмитрий Львович один из главных приемов явно и демонстративно позаимствовал у Виктора Олеговича.

Сварливый гуру и наивный, или, во всяком случае, до поры «недогоняющий» ученик-неофит, квазиплатоновские диалоги между

ними, которые составляют основную ткань не слишком сюжетной пелевинской прозы. (В последних вещах роль учителя все чаще отводится завербованным спецслужбами «специалистам», которые – нечто среднее между массовиками-затейниками и нетрадиционными клерикалами).

У Быкова в романах, главным образом, исторического цикла, легко отыскать такую пару или сразу несколько, причем у Быкова цепочка подобных отношений – сюжет сам по себе самостоятельный, а подлинный гуру – чаще жуликоват, нежели одержим. В «ЖД» учитель со знаковой фамилией Гуров духовно окормляет жрецов противоборствующих лагерей за ради главной своей цели – спасения коренного населения России, которое понимает через безмятежное угасание. В «Остромове» тандем Остромов-Галицкий продолжается странной дружбой Даниила Галицкого и мальчика Алеши Кретова, который, в свою очередь, продолжит эту учительскую генеалогию в «Оправдании», сделавшись наставником юноши Рогова, и умрет, не дождавшись наследников.

Кстати, раз уж заговорили об «Оправдании». Это, пожалуй, самый «пелевинский» роман Быкова, даже в интонации во многом унаследовавший манеру ранних рассказов Виктора Олеговича из сборника «Синий фонарь». Росли они тогда из одного Борхеса (даром, что Быков его терпеть не может), и общие мотивы переплетались в единую печальную, страшноватую и заразительную мелодию – многовариантности истории на тропе к единому безнадежному финалу, бессмысленности любой жертвы, усталости и отвращения при любовании пограничными формами жизни (сектантскими практиками, например).

У Пелевина в «Generation “П”« описан, достаточно издевательски, ритуал передачи мантры, иронически переосмысливает его и Быков, рассказывая, как перед уходом в армию, (*«мне очень сильно туда не хотелось»*), Новелла Матвеева: *«как бы между прочим сказала мне: будет трудно – или надо будет ввести себя в градус бешенства – повторяйте: “Вот тебе, гадина, вот тебе, гадюка, вот тебе за Гайдна, вот тебе за Глюка”. Это из ее пьесы “Предсказание Эгля”, и это работает. Буддисты назвали бы это передачей матры»*.

А с эпизодом «передачи мантры», а затем и огурца, одним из самых пронзительных в романе «Generation “П”«, мы вдруг встречаемся в «Ананасной воде», когда уже знакомый нам Семен Левитан, благодаря достижениям современной фармакологии, научился превращаться в горящий куст. *«Недавно вот симпатичный юноша попросил огурца на хорошем иврите. Так я дал – разве ж мне жалко»*. Эдакий уютный постмодернизм – прихватить своих любимых героев, как аптечку в дорогу. У Быкова это вообще элемент авторской концепции: герои переходят из текста в текст компаниями и связками; однако в дистиллированной, относительно раннего и среднего Пелевина, «Ананасной воде», Татарский с огурцом – едва ли не единичный случай.

Тут я подхожу к вещам традиционно сложным и тонким – мировоззрению двух писателей. Виктора Олеговича с этой стороны не без успеха и лаконично диагностировал Дмитрий Львович:

«Я никогда не думал, что Пелевин – писатель буддистский. Очень уж скучно у него этот буддизм излагается и очень уж язвительно пересмеивается. Я думаю, он писатель истинно христианский – потому что ждет и жаждет того самого нечеловеческого, всесжигающего, обновляющего света, который обязательно должен хлынуть в самые темные комнаты дворца. (...) Может быть, все, что он пишет – именно небывалый концентрат отвращения, сгусток ненависти, испепеляющая и страстная проповедь христианства от противного?»

Много верного, хотя одно другому и не мешает. Или, как сказал бы сам Пелевин, как всегда всё вместе. Интересней здесь, что сам Дмитрий Львович в своих многократно и регулярно заявляемых историософских, а значит, в какой-то степени, религиозных идеях, весьма близок буддизму; точнее, буддизму в понимании Виктора Пелевина.

В прозе Быков заявил свою идеологию уже в «Орфографии», а в наиболее концентрированном виде изложил в «ЖД» и продолжил в «Остромове». Это, если коротко, во-первых, концепция цикличности российской истории, ее развития и повторяемости в четырех процессах (актах, по Быкову): «реформаторство – зажим – оттепель – застой». Во-вторых, фон

«этого непрерывного движения вниз» – вечная война элит, либералов и почвенников, отчасти на национальной подкладке, между условными «варягами» и условными «хазарами», вожди которых, подобно всем демонам-долгожителям, давно равны как в уровне полемики, так и в средствах борьбы, истребления и самоистребления. Но центральная, по Быкову, оппозиция здесь – не в варяжско-хазарском противостоянии, а в абсолютном равнодушии коренного населения к вечной войне верхов; третья сила (точнее, третья слабость) предпочитает растительную жизнь, существование по законам природы вопреки законам общества. В-третьих, Быков уверенно постулирует закат, конец, разрушение и распад империи (со всеми сопутствующими миазмами и трупной фауной), а в последнее время столь же радикально прогнозирует конец российской цивилизации (добавлю политкорректный бантик – в прежнем и привычном ее виде). Сильнейшая развернутая метафора умирания и агонии – в «Остромове», первая глава части пятой – «Супра»: поразительной мощи текст. В-четвертых, Быков, подобно всякому русскому писателю, пытается обозначить, нащупать, нетвердой рукой показать выход, этот самый «обновляющий свет». Получается у него очень даже по-буддийски: неконкретно, наощупь, необязательно... У Пелевина выход включается автоматически, через эдакую лабораторную мистику, «*от всех рождений, смертей, перерождений – домой!*» (Янка Дягилева). Стеснительный Дмитрий Львович куда более реалистичен, хоть и отнюдь не рационален в рецептах: творчество, учительство, «*может быть, дети. Может быть, только дети*» – заклинание из той же поразительной главы «Остромова».

Это, действительно, самые большие, сильные и необходимые сегодня писатели. По точности эсхатологического диагноза и набору убедительных его метафор. По количеству вопросов, и по невозможности дать прямые и рациональные ответы. Однако сама попытка их найти – стоит дорого.

***

Как говорят оба наших автора – «*мне осталось сказать немного*».

О романе «Остромов, или ученик чародея», который стал поводом для этих заметок.

Роман огромный, сложный, исторический, реалистический и одновременно фантастический, точнее – мистический. Характерный для Серебряного Века сплав мистики, политики и эротики Быков переосмысливает в следующей эпохе (эоне, как говорят эзотерики) и для новой реальности. При этом роман на удивление ровный, интонационно и композиционно, хотя и сработанный, местами и явно в порядке эксперимента, в разных стилистиках. Пожалуй, эта архитектурная цельность – главное достижение Быкова-романиста в «Остромове», по сравнению, скажем, с «ЖД», который при всех, подчас гениальных находках и ярких прозрениях, зияет пустотами многих десятков страниц и надуманностью ряда сюжетных линий.

Дмитрий Львович, по другим поводам, издевательски комментирует послереволюционную романистику – «Хождение по мукам», «Города и годы», «Доктор Живаго», – дескать, в гражданскую войну герои то и дело нос к носу сталкиваются на перекрестках и полустанках России без должных на то, кроме авторского произвола, оснований. Но в «ЖД» он воспроизводит тот же произвол, который условность и внеисторичность романа оправдывают лишь в малой степени. А вот в «Остромове» никаких причинно-следственных вопросов не возникает – настолько все ладно подогнано и мотивированно.

Здесь показательно, что в главных героях – Борисе Остромове и Даниле Галицком – бережно сохранена внешняя канва биографий и географий реальных прототипов, Бориса Астромова и Даниила Жуковского. (Впрочем, Галицкий – персонаж собирательный, как заявляет сам автор, его прообразами были и два других Даниила, Андреев и Хармс, – черты последнего, впрочем, угадываются и в литераторе Барцеве, и в другом как бы обэриуте, Стечине, «в клетчатых штанах», с его сентенцией «дети отвратительны»). Даже присказка романного Остромова «я удивляюсь» взята из подлинного письма арестованного Астромова самому Сталину. Забавно, что у Б. Астромова имелся краткий киношный период в биографии, которому он обязан еще одним своим псевдонимом – Ватсон, и Быков всё это бурно обыгрывает в других карнавальных сценах романа.

В том же авторском предисловии Быков оговаривает, что ему «Остромов» видится продолжением «Оправдания» и «Орфографии». Автора явно завораживает гончаровская модель трёх «О» в названиях. Однако, на мой взгляд, «Орфография» из этого ряда как-то ускользает, несмотря на обилие сквозных персонажей. (Из «Орфографии» в новый роман любовно, но вне всякой фабульной необходимости, на короткое время перенесен даже своеобразный альтер-эго автора – лишний человек лишней буквы, журналист и беллетрист Ять). Может быть, дело в довольно экзотической повествовательной манере «Орфографии» – иронически-маньеристской, авторское определение этого романа как «оперы в трех действиях» – вовсе не выпендреж.

А вот с «Оправданием» «Остромова» глубоко роднит как раз не столь же механически перенесенный из романа в роман персонаж Алексей Кретов, но общий мрачный мотив отсутствия света и воздуха, набор констатаций, которые Быков имеет смелость найти и повторять. Помимо обозначенных историософских концепций, аргументы к которым щедро рассыпаны по текстам, это идеи об исчезающих человеческих ценностях на фоне нищеты демиургов и тотального обмана сверхчеловечности, – постигаются ли они через государственное насилие или оккультные практики. О бессмысленности жертв, ибо обоснование их необходимости – лишь маскировка разных форм мучительства. О размывании центров и гибельности пространств. Кстати, российская глубинка описана в обоих романах практически одинаково, будь то сибирская деревня в «Оправдании» или Пенза и Вятка в «Остромове». Кабы не знать, что Дмитрий Львович много и охотно ездит по стране, можно предположить едва ли не подсознательный авторский страх перед российской провинцией.

Только не надо думать, что «Остромов» – роман тяжелый и скорбный, с величественным эсхатологическим пафосом, та самая вострубившая дудка известного откровения. *«Конец света надо заслужить, а где нет света, нет и конца».*

Это книга разная, и в немалой степени веселая, в подлинном понимании «веселости», без наслоений иронии и стёба. Веселость «Остромова» – органичное отражение той эпохи, о которой он написан – послереволюционной России, 20-х годов, времени, согласно Аркадию Гайдару, тоже «веселому». Определение это ведь мало чего исключает, а включает многое.

Быков и стилистически ориентировался на прозу двадцатых: начало первой главы явно сработано под Леонида Леонова времен «Вора» (есть и чисто леоновское словцо «человечина», залетевшее в «Красную газету»), внутренние монологи литератора Льговского воспроизводят, натурально, отрывистые поливы Виктора Шкловского, а «гмыканье и хэканье» из «партизанских повестей» некоего Всеволода – почти непременная речевая характеристика многих персонажей «Остромова» пролетарско-мещанского происхождения. Иногда, впрочем, мелькнет и позднейший писатель, Владимир Сорокин, но это особый случай – т. н. «раскатка», на языке романных оккультистов, фактически – разложение на атомы чекиста Капитонова.

Любителей разгадывать литературные шарады и угадывать прототипов ждет в «Остромове» целое пиршество, приготовленное немного хулиганистым и себе на уме шефповаром. Как всегда в подобных конструкциях, кто-то, измененный для художественных нужд на пару-тройку букв, угадывается сразу (эзотерики «Георгий Иванович», «Александр Варченко», в жизни – Барченко, масон, искатель Гипербореи, романист, консультант ГПУ; чекисты «Огранов» и «Двубокий»), кто-то ускользает, а кто-то предстает этаким рукотворным мутантом, вроде незабвенного Псиша Коробрянского из «ЖД».

Таланты действительно ходят по «Остромову» стайками – целыми литературными школами и группами. Осколки, разной пробы, Серебряного Века – любовно окарикатуренный Макс Волошин (Валериан Кириенко), романтический беллетрист Грэм (Александр Грин; Крым – место проживания обоих – важнейшая точка романной географии), профессиональный нищий Одинокий – не без брезгливого уважения выведенный под одним из своих псевдонимов поэт Тиняков, и – Черубина де Габриак, в образе «антропософки Савельевой».

Футуристы (упомянутые Мельников с Корабельниковым), обэриуты («бубуины»), опо-

язовцы – «Льговский», «Юрий», «Лика Гликберг» (Лидия Гинзбург), серапионы:

«Братство вело себя так, как предсказал бедный Левушка. Костя писал длинные советские романы про перековку интеллигента. Зильбер выращивал гомункулюсов. Всеволод переехал в Москву...»

За этим щедрым столом Быков не только субъективно подает классиков, но издевательски, микшируя времена и нравы, высмеивает современников:

«Стечин, этот в клетчатом, говоривший, что из всей мировой литературы стоит читать две-три строчки из Чосера, одно предложение из Пруста и раннего Демьяна Бедного...»

Сравните у Натана Дубовицкого:

"...На вопрос о любимейших сочинениях он, изрядно помешкав, мог с большим трудом выдать что-то вроде: «Послание Алабию о том, что нет трех богов» Григория Нисского, приписываемый Джону Донну сонет без названия и несколько разрозненных абзацев из «Поднятой целины»"

Да и вообще среда, окружающая в «Остромове» одного из второстепенных персонажей – «ураниста» (педераста) Неретинского, куда как напоминает сегодняшнюю гламурно-идеологическую тусовку; Неретинский связан с чекистами – последние тоже на редкость типичны, верней – архетипичны.

Но подлинная веселость романа даже не в этих, постмодернистских по форме играх, для Быкова, скорей, имеющих обратный постмодерну знак, а в фигуре Остромова, для которого «духовная наука» прежде всего означает «не будь дурак». Остромов – классический для плутовского романа обаятельный жулик (ближе к финалу обаяние испаряется), соблазнитель и шарлатан. Вообще, укрупняет роман Быкова до солидных масштабов именно это сплетение романа плутовского (линия Остромова) с романом воспитания (линия Галицкого). Находка Дмитрия Львовича еще и в том, что скучнейшая оккультно-эзотерическая сфера (прав, прав о. Андрей Кураев, когда говорит, что Истина никак не может заключаться в словесах, подобных даниил-андреевскому «уицраору» и «затомису») подается в импровизациях жуликоватого Остромова. Получается не столько снижение, сколько популяризация.

И не отменяет самой миссии учительства. *«Напиться можно и из лужи»* – один из постулатов романа.

Быков прямо утверждает, что единственный живой персонаж русских 20-х – жулик, и указывает Остромову на богатого родственника:

« – А вы не знали Остапа Ибрагимовича? – спросил Коган после первого заседания, на которое был приглашен.

– Я знал Остапа Ибрагимовича, – ответил Остромов высокомерно.

– Мне кажется, что он также причастен к масонству, – любопытно бы знать ваше мнение...

– Он сам вам говорил? – осведомился Остромов.

– В общем, делал намеки, – признался Коган.

– Этот человек может нравиться или не нравиться, – брезгливо сказал Остромов, – каждый зарабатывает на хлеб, как умеет... Но к масонству он не относился никогда и никак, и мне даже странно слышать, что вы себе позволяете такие параллели.

– Но Майя Лазаревна утверждает... – заторопился Коган.

– Майя Лазаревна, как большинство иудеев, совершенно глуха к метафизике, – отрезал Остромов».

Фокус здесь не только в забавном сродстве Остромова и Остапа Бендера (кстати, члены «кружка Остромова», как и прочая его клиентура, напоминают сборище лоханкиных, описанных Быковым, впрочем, с большей симпатией), но и в прозрачном намеке на книжку Майи Каганской и Зеева Бар-Селлы «Мастер Гамбс и Маргарита», где авторы, среди прочего, дотошно и убедительно разыскивают розенкрейцерские родимые пятна в знаменитой дилогии Ильфа и Петрова.

Получается уравнение: масон равен жулику, жулик – масону, а новый роман Дмитрия Быкова, рискну утверждать, становится в ближний к прославленным шедеврам ряд.

Это роман с длительным послевкусием для читателя, а для автора – с судьбой, которая только начинается. Он еще принесет ему сюрпризы.

Иван КОЗЛОВ

И ВИДЕТЬ СНЫ? БЫТЬ МОЖЕТ!

«Начало»

Фильм «Начало» Кристофера Нолана («Помни», «Бессонница», «Престиж») резко разделил аудиторию на два лагеря. Одни утверждают, что это попса голимая, другие склонные видеть в ленте чуть ли не шедевр. Последних, судя по голосованию на сайте Internet Movie Data Base, гораздо больше – фильм пока что расположился на 8 месте (а был даже на 4-м!) в списке 250 лучших картин всех времен и народов.

Как бы не относиться к собственно киношным достоинства ленты, нельзя не отметить один немаловажный момент. «Начало» продолжает великое и непростое дело – нести тайные эзотерические идеи в широкие массы.

Трудно сказать, какой из фильмов был первым в этом славном ряду. Можно вспомнить «Темный город», «Тринадцатый этаж», «Экзистенцию», «Шоу Трумана», наконец, Но прорыв осуществила, безусловно, «Матрица» братьев Вачовски (см., например, книгу Д.Фелуга и Э.Гордон «Матрица: парадигма постмодернизма». М.: Ультра. Культура, 2003). Такое впечатление, что тибетские, сионские или какие там еще мудрецы, смотрящие за этим миром и курирующие нашу цивилизацию, сочли возможным и своевременным сломать пару-тройку печатей на тайных свитках, перевести их содержание на понятный горожанину XXI века язык и через массовую культуру вбросить в нашу ноосферку. Наверное, почва уже была готова, ждем, когда заколосятся озимые.

Сам Нолан характеризовал свой фильм как зрелище, раскинутое в четырех измерениях. Режиссер заигрывал с бессознательным и в прежних лентах, но в «Начале» (кстати, «Inception» правильнее было бы перевести название как «Внедрение») он превзошел свои прежние достижения. Фильм «Темный рыцарь», снятый до «Начала», имел огромный успех, и продюсеры разрешили Нолану делать все, что ему заблагорассудится. Ну, он и делал, периодически подогревая интерес к своему детищу – масштабный проект держался втайне вплоть до премьеры, что изрядно злило кинообозревателей.

Теперь злит – или веселит? – тех немногочисленных кинозрителей, которые числят себя по эзотерическому ведомству. Что же предлагается современному измученному сознанию для скорого и неизбежного просветления? Старая, но еще не затасканная идея совместного сновидения. СновИдения, если быть точным. Еще недавно эта методика была доступна лишь продвинутым последователям Кастанеды и законспирированным хакерам сновидений. Их практические изыскания можно было найти лишь на маргинальных форумах, но пробил час, и издательство «Весь», специализирующееся на духоподъемной литературе разного качества, выпустило все эти тайные переговоры высокой печатью (издавать материалы форумов – это вообще новый тренд и тема для отдельной беседы). А теперь подоспело и «Начало», в котором герои кочуют из сна в сон, что безбилетники на пригородных электричках. В принципе, можно рассматривать эти события как эзотерическую «утечку» или даже «слив», сравнимый по важности с деятельностью WikiLeaks.

Комизм ситуации заключается в том, что тайное знание в «Начале» используется для

вполне земных целей – конкурентной борьбы транснациональных корпораций. Это все равно, что бриллиантами курицу разделывать – теоретически можно, но стоит ли? Или иной мотивацией зрителя нельзя было заинтересовать? Как бы там ни было, фильм напичкан штампами «жанрового» кино под завязку. Моя жена во время просмотра, очевидно, прониклась мистическим дискурсом и предсказывала декорирование будущих сцен – «Не хватает еще лыжной погони в горах», «Подводных съемок еще не было», – все сбывалось.

В общем, трепетная лань тайных знаний и конь боевика в одной тележке смотрятся, мягко говоря, странновато. Впрочем, это дело привычки. Еще пара-тройка подобных хитов – например, суперограбление банка на астральном плане, или финансовые аферы в шаманском «нижнем мире» – и редкое экшн-зрелище обойдется без мистического бэкграунда. Остается гадать, какой следующий эзотерический «доллар» будет разменян в масскульте на «медь звенящую». Посмотрим.

«Господин Никто»

Это отнюдь не очередная экранизация некогда популярного болгарского романа Богомила Райнова про шпионов. Фильм бельгийца Жако Ван Дормаля переносит нас в дальнее будущее, где открыт рецепт бессмертия, а герой фильма – последний человек, которому предстоит предстоит умереть. Герою 118 лет и нам предстоит провести с ним последние дни и часы. Своего рода альтер-эго зрителя – репортер, который пришел в клинику брать интервью у умирающего и просит его рассказать историю своей жизни.

Очень скоро оказывается, что всё не так просто и потенциальный покойник в каком-то смысле «живее всех живых». Хотя бы тем, что не представляет собой жестко структурированной идентичности. Просыпаясь после короткой, но регулярной дремоты во время интервью, Немо (так зовут героя) каждый раз продолжает совершенно другую историю, не обращая внимания на репортера, окончательно запутавшегося в биографических ответвлениях. Перед нами предстает рассказ как минимум о трех жизнях с вложенными друг в друга событийными «матрешками».

Добавим сюда еще и психиатра, который проводит сеанс психотерапии, погружая героя в гипнотический сон. Кто и откуда выныривает в очередной раз, продолжая повествование, удается понять далеко не сразу, но к концу фильма это уже не имеет значения. Недаром режиссер во время съемок записывал финальные сцены на карточках, а потом тасовал их и наугад извлекал содержание очередного эпизода. Так что зрителя уже не удивляет, когда после смерти героя он начинает жить «в обратную сторону» – после всего, что он увидел за два с лишним часа, финал вполне закономерный. А ведь всего несколько десятилетий назад Марселю Карне приходилось в специальных титрах объяснять зрителю его фильма «День начинается», что такое флэшбэк, чтобы его картину не освистали. И ничего, зрители привыкли. Вот так приемы монтажа формируют наше восприятие действительности...

Любопытно, что разного рода фантастические допущения в современном кинематографе все больше и больше начинают приобретать отчетливый эзотерический привкус, с экрана просто веет сандалом и иланг-илангом, каким бы европейским не выглядел декор.

Сам режиссер мелькнул в стремительном камео, сыграв безработного бразильца, который, сварив яйцо, вызвал на другом континенте очередной судьбоносный переворот в жизни героев фильма. По образованию Дормаль – профессиональный клоун, он честно развлекает

публику и когда рассказывает истории любви, и когда рассуждает на киноязыке о Большом взрыве или принципе энтропии. Чего в этом фильме нет – так это звериной серьезности, что, кстати говоря, весьма способствует дальнейшему усвоению публикой эзотерических идей, ставших неожиданно современными и актуальными.

«Социальная сеть»

Фильм Дэвида Финчера, в отличие от картин Нолана и Дормаля, вполне реалистический, более того, основан на фактах биографии создателя сети Facebook Марка Цукерберга – прошлого вполне недавнего. Тем фантастичнее выглядят те события, о которых он повествует.

Фантастика заключается, во-первых, в быстром и сказочном обогащении главного героя. Голливудская сказка о внезапных миллионерах, оказывается, вполне реалистична – воплоти идею, пусть даже не совсем свою, и ты уже обеспечен на всю оставшуюся жизнь. Во-вторых, и это куда более интересно, фантастичен сам быт наших современников. Чудо Интернета, позволяющего общаться на немыслимых расстояниях, ставит под вопрос сам принцип этого нового общения.

Предыдущий фильм режиссера – «Загадочная история Бенджамина Батона» – показывал историю человека, который живет от старости до младенчества. «Социальная сеть» – не столько байопик Цукерберга, сколько рассказ о нас, миллионах юзеров, которых можно привлечь в сеть, словно рыбий косяк. Сеть, правда, вытаскивают, и судьба рыб однозначно предопределена. Новейшие же сети предоставляют в меру комфортное пребывание в виртуальном мире сколько угодно долгое время. Очевидно, это запрос новой эпохи и гениальность Цукерберга состоит в том, что он уловил это требование.

Повод был банален – расставание с любимой девушкой. Амбициозность персонажа, которому закрыт путь в элитные студенческие клубы, находит отдушину в новом Интернет-проекте, который делает его знаменитым и богатым. Но личный результат близок к нулю – герой сидит перед мерцающим экраном и обновляет страницу бросившей его девушки, пытаясь попасть к ней «в друзья».

Этические вопросы, которыми переполнен фильм Финчера, кажется, не вполне осознаются пользователями социальных сетей. Или ответы на них уже найдены? Что такое социальная сеть – пожиратель времени, ячейка гражданского общества или информационный портал? Судя по фильму Финчера, режиссер отнюдь не оптимистичен в отношении социальных сетей – недаром большинство сцен фильма снято в тусклом освещении, лица героев погружены в темные синие и зеленые световые волны. Казалось бы, самореализация и счастье должны иметь между собой знак равенства. Финчер лишает нас этой иллюзии, недаром этот режиссер («Зодиак», «Семь», «Бойцовский клуб») всегда отличался особой безжалостностью.

Редколлегия журнала:

Анна Сафронова
Алексей Александров
Алексей Голицын
Алексей Слаповский
Олег Рогов

Подписано в печать ___ февраля 2011 г.
Журнал отпечатан в типографии
Адрес типографии:

Заказ №
Цена свободная

Рукописи принимаются по адресу:
E-mail: safronova-volga21@yandex.ru

Электронная версия журнала:
http://magazines.russ.ru/volga/

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.